

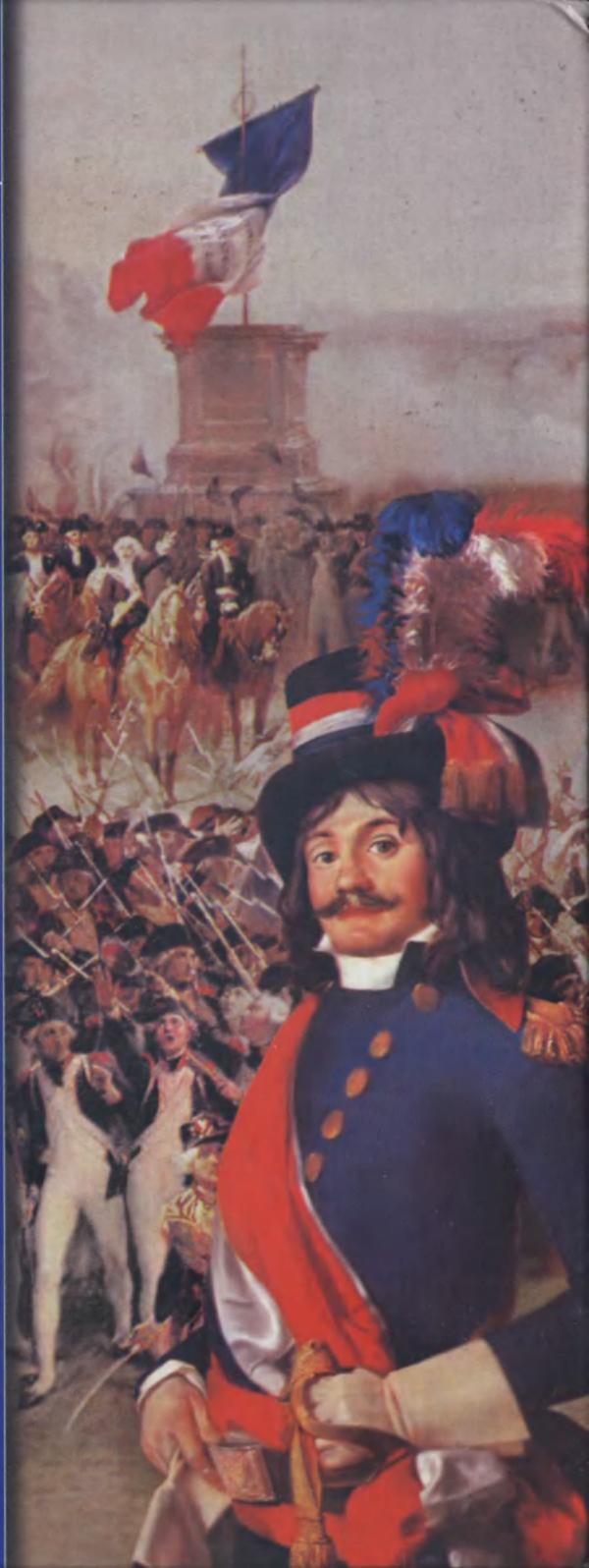


Жорж Ленотр

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ПАРИЖА ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ









ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ПОВСЕДНЕВНАЯ

Жорж Ленотр

Georges Lenotre
PARIS RÉVOLUTIONNAIRE



МОСКВА

ЖИЗНЬ ПАРИЖА ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



УДК 94 (092)(44) "16"

ББК 63.3 (4Фра) 511

Л 46

*Перевод с французского
Н. А. ТЭФФИ, Е. А. ЛОХВИЦКОЙ*

*Научная редакция и вступительная статья
заслуженного деятеля науки России
А. П. ЛЕВАНДОВСКОГО*

*Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА*

ISBN 5-235-02936-4

© Левандовский А. П.,
вступительная статья, 2006
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2006



Говорят, будто новое — хорошо забытое старое.

Недавно я вспомнил об этом, прочитав на книге о Версале, изданной «Молодой гвардией»*, имя автора: «Жорж Ленотр». И вот опять новая книга с той же мыслью о новом и старом.

Жорж Ленотр... Кому и о чем говорит это имя сегодня? Пожалуй, только специалист-искусствовед вспомнит, что во времена Людовика XIV был такой декоратор-садовод, обустроивший парк Версаля. Правда, звали его не Жорж, а Андре...

Это конечно же не тот Ленотр. А тот, который писал о Версале и еще о многом другом, был не только не Андре, но и не Жорж, и даже не Ленотр, поскольку его подлинное имя было Теодор Госселен, а «Жорж Ленотр» — псевдоним, который он взял в честь того самого садовода, своего дальнего родственника, заслужив с годами не меньшую известность.

Луи Леон Теодор Госселен родился в 1857 году в Лотарингии, в городке Пепинвилле близ Меца. Рано обнаружив тягу к перу, он начал литературную деятельность с публицистики и в 80-е годы уже сотрудничал в парижской прессе, в частности, в таких известных газетах, как «Тан» и «Фигаро». Но очень скоро определилась та сфера интересов молодого публициста, которая со-

* *Ленотр Ж.* Повседневная жизнь Версаля при королях. М., 2003.

хранилась до конца его жизни — история. Страстная любовь к историческому документу, умение его разыскать, препарировать и на основании этого воссоздать картину прошлого сделали Ленотра, по его собственному выражению, «репортером истории». Полем его деятельности стала история родной страны и в особенности Великая французская революция, которой посвящено большинство его книг. Книги эти пользовались огромным успехом, число их переизданий в иных случаях измерялось десятками. В чем же заключалась причина этого феномена?

Ленотр оказался одним из родоначальников того довольно распространенного жанра, который обычно называют «малой историей» (*petite histoire*). Суть этого жанра, всегда имевшего широкую читательскую аудиторию, в свое время определил Проспер Мериме, заметивший как-то, что в истории он признает только анекдоты. Конечно, это гипербола, но какая-то доля истины в ней есть. Анекдот остается анекдотом и к подлинной документированной истории отношения не имеет, но в нем обычно присутствует «изюминка», до которой так лакомы французы (да и не только французы), способная занять, развлечь и увлечь читателя. Если «большая» история определяет генеральные линии в развитии общества, такие как экономика, социальная структура, международные отношения, войны, революции и тому подобные «крупные» проблемы, то «малая» выясняет детали, освещает подробности быта и семейных отношений исторических персонажей, находит необычные повороты и ракурсы, проясняет загадочные обстоятельства, связанные с теми или иными событиями. Вот на подобном подходе к прошлому и специализировался Ленотр, но не как фантазер-беллетрист, а как строгий историк-документалист, отвечающий своей репутацией за каждый приведенный факт. Он обладал поистине уникальной способностью проникать в любую щель, оставленную историей в пространстве и времени, и оттуда, изнутри, вести свой «репортаж», мастерски выделяя главное и умело соединяя частное с целым. Если к этому добавить превосходный литературный стиль, тонкость и

ясность анализа и большую общую эрудицию, то причина неизменных успехов «репортера истории» станет совершенно ясна.

В 1910 году вышло собрание сочинений Ленотра в 12 томах, что не остановило его новых разработок, статей и книг. В 1962—1963 годах, уже посмертно, Ленотр оказался одним из главных соавторов престижного многотомника «Звездные часы Французской революции»*. Он умер в Париже в 1935 году, овеянный всеобщей любовью и славой, став за два года до смерти «бессмертным» — иначе говоря, членом Французской академии.

В России в конце XIX и начале XX века Ленотр был почти так же популярен, как и у себя на родине. Отрывки из его книг, статьи и рецензии регулярно печатались в толстых журналах, а книги, едва выйдя во Франции, тут же выписывались и покупались русской публикой. Язык не мог служить барьером, поскольку русская интеллигенция, как правило, знала французский язык не хуже родного. К тому же приступали и к переводам, начав с «Революционной Франции». Позднее был подготовлен перевод на русский язык еще одной книги, но обстоятельства, о которых ниже, помешали ее выходу в России**.

Октябрь 1917 года подвел черту. Советская Россия приняла французского историка недружелюбно, а затем и вовсе превратила в *persona non grata*. Здесь была двойная причина: во-первых, Ленотр занимался «мелочами», недостойными советской историографии, а во-вторых (и это главное), его «концепция» не совпадала с канонами марксизма-ленинизма. Сочинения Ленотра не были подвергнуты официальному запрету, их выдавали в Ленинской библиотеке, их можно было приобрести у букинистов, но вокруг них установилась плотная завеса молчания. Достаточно отметить, что даже такие фундаментальные издания, как академическая

* *Lenotre G. et Castelot A. Les grandes heures de la Revolution Française. T. 1—6. Paris, 1962—1963.*

** «Робеспьер и Богородица»; она была издана по-русски в независимой Латвии в 1930-е годы.

история Французской революции* или вышедший уже на грани горбачевской перестройки юбилейный сборник**, не упомянули имени Ленотра ни в тексте, ни в обширных библиографических указателях.

Впрочем, учащуюся молодежь 40—50-х годов отнюдь не смущали подобные выпады. Напротив, мы, студенты и аспиранты, повсюду разыскивали работы Ленотра, зачитывались ими, обменивались впечатлениями. Я на свою жалкую стипендию умудрился приобрести и «Революционный Париж», и «Марию Антуанетту», и «Гильотину», и «Барона де Батца» и другие книги Ленотра; они и сегодня украшают одну из моих книжных полок, напоминая о той роли, которую они сыграли в формировании моего интереса к Великой французской революции. Однако с течением времени тяга к Ленотру, как и можно было ожидать, стала уменьшаться и постепенно иссякла. Старые книги, зачитанные до дыр, ветшали и приходили в негодность, новых не прибавлялось, зато появились новые кумиры — Матьез, Собуль, Тюлар, и старик Ленотр стал забываться; учащейся молодежи конца прошлого века он уже неизвестен.

Прорыв совершила «Молодая гвардия», когда в 2003 году рискнула выпустить одну из поздних работ Ленотра «Версаль при королях». Это был смелый шаг, и он полностью себя оправдал. И вот сделан шаг второй — вслед за «Версалем» — «Париж» и вслед за королями — Революция. Трудно было сделать более удачный выбор. «Революционный Париж»*** — первая и едва ли не самая знаковая из работ Ленотра. Строго говоря, ее появление и сделало автора знаменитым, превратив Теодора Госселена в Жоржа Ленотра. Достаточно сказать, что первый тираж «Парижа» разошелся с молниеносной быстротой, а затем, в сравнительно короткое вре-

* Французская буржуазная революция 1789—1794 / Под ред. В. Волгина и Е. Тарле. М.-Л., 1941.

** Великая Французская революция и Россия / Под ред. А. Нарочницкого и др. М., 1989.

*** *Lenotr G. Paris revolutionnaire*. Paris (разн. годы изд.).

мя книга была переиздана 26 раз и увенчана академической премией. Она стала издаваться и переиздаваться за рубежом, обойдя чуть ли не весь мир. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. В «Революционном Париже» нашли отражение интереснейшие факты и аспекты Великой революции, к которым приплюсовались те уникальные особенности Ленотра, о которых говорилось выше.

К революции в целом Ленотр относится резко отрицательно, сосредоточивая свое и наше внимание исключительно на ее теневых сторонах. Это касается прежде всего якобинской диктатуры; впрочем, не жалует он и термидорианскую контрреволюцию, полагая, что «если побежденные термидора не внушают симпатий, то победители еще меньше заслуживают их». Но не этим замечательна книга Ленотра, поскольку вовсе не «развенчивание» революции является ее ведущей задачей. Самое главное в «Революционном Париже» — конечно же топографические изыскания автора.

«Хронология и география представляют собой два глаза истории», — замечает он, но при этом «история революции крива на один глаз». Иначе говоря, отвечая на вопрос «когда?», она не в силах ответить на вопрос «где?». Вот этот-то, по его мнению, перманентный дефект произведений о Революции Ленотр берется исправить и делает это с полной отдачей. Читая «Революционный Париж», мы узнаем в подробностях и деталях, где жили и действовали участники драмы, где заседали Учредительное собрание и Конвент, где происходили убийства священников, как были устроены тюрьма Консьержери и Революционный трибунал, где находились клубы якобинцев и кордельеров, и многое, многое другое. По-существу, перед нами разворачивается вся панорама Парижа эпохи Революции. В этом аспекте труд Ленотра воистину уникален и не знает аналогов.

Но это далеко не всё. Отвечая на вопрос «где?», автор «Революционного Парижа» не забывает и про вопрос «кто?» — люди занимают его никак не меньше, чем улицы, парки и дома. И здесь у него опять-таки совершенно особый подход. Это, в частности, отчетливо видно

на страницах, посвященных трем ведущим деятелям Революции — Робеспьеру, Дантону и Марату. Литература об этих «гигантах Революции» поистине безбрежна*. При этом историки, писавшие о них, четко делятся в зависимости от своих политических и социальных взглядов на «робеспьеристов», «дантонистов» и «маратистов», и каждый ставит на «генеральную» роль в Революции именно своего героя**. Автор «Революционного Парижа» находится вне этих группировок***. Верный своему принципу «малой истории», он не ставит целью показ этих троих в их планетарном значении — они занимают его как люди среди людей, в их домашней обстановке, родственных связях, увлечениях и привязанностях. Подобный подход интересен в первую очередь в чисто человеческом отношении, однако он во многом помогает уяснению проблем Революции в более широком плане. В целом же напрашивается следующий общий вывод. Можно соглашаться или не соглашаться с отдельными аспектами изысканий Ленотра, но историк, игнорирующий приводимые им данные, безусловно обедняет свое представление о Революции и об Истории с большой буквы.

В заключение — несколько слов о переводе. В основу настоящего издания лег перевод, выполненный для издательства «Сфинкс» в 1895 году Н. А. Тэффи и Е. А. Лохвицкой. Думается, писательницу и поэтессу Надежду Александровну Тэффи (Лохвицкую) нет нужды представлять русскому читателю; Елена Александровна Лохвицкая, ее сестра, также была в свое время довольно известной писательницей. Поэтому с литературной точки зрения перевод находится на достойном уровне. Однако обе переводчицы — не историки, и не всё в

* Издательство «Молодая гвардия» внесло свой вклад, опубликовав в серии «ЖЗЛ» следующие книги: «Робеспьер» (А. Левандовский, 1959 и 1965); «Дантон» (Ц. Фридлянд, 1934; А. Левандовский, 1964); «Марат» (А. Ольшевский, 1938; А. Манфред, 1962). Ряд закончил Н. Молчанов, написавший к юбилею Революции о всех троих («Монтаньяры», 1989).

** Широко известна полемика между «дантонистом» А. Оларом и «робеспьеристом» А. Матъезом (см.: *Матъез А.* Новое о Дантоне. М.—Л., 1928).

*** Хотя и не может скрыть своей личной симпатии к Дантону.

подлиннике они поняли адекватно. К тому же сделанный более ста лет назад, в старой орфографии, перевод содержит немало устаревших терминов и формулировок. Это заставило редакцию тщательно пересмотреть весь текст и сделать необходимые поправки. Все примечания автора отнесены в конец книги, остальные примечания сделаны редакцией.

Анатолий Левандовский

Посвящаю Викторьену Сарду, посоветовавшему написать эту книгу и помогавшему мне в моих поисках

Мне всегда нравился обычай наших предков: выпуская в свет книгу, они посредством введения или предисловия извещали читателя о цели своего труда. Если я заимствую теперь от них этот обычай, то делаю это, чтобы не быть заподозренным в намерении написать, вслед за многими другими, историю Французской революции.

Такого намерения у меня не было, и я стремился совсем к другой цели.

Изучая мемуары и журналы эпохи революции, просматривая документы в архивах, читая труды наших современников, посвященные этой богатой трагическими эпизодами эпохе, я часто был поражен тем, как мало места отведено в этих рассказах описаниям, обстановке, вещам. Говорят, что хронология и география представляют собой два глаза истории. В этом смысле история революции крива на один глаз, так как ее топографией никто не занимался. Многие не знают даже приблизительно, где находились клубы якобинцев и фельянов, тюрьма Ла-Форс, Манеж, Революционный трибунал, и даже ученые, в том числе люди, сделавшие своей специальностью изучение революции, не могут в точности сказать, что представляли собой в 1793 году Тюильри, Аббатство, Консьержери, Ратуша... От Парижа тех времен уцелело так мало!

Сколько раз, перечитывая страницы Мишле и Ламартина, посвященные мрачным дням террора, я старался на основании их рассказов представить себе зал, где заседал Конвент, тюрьмы, комитеты! Объемистым трудам, написанным ими, я предпочел бы самый маленький набросок, сделанный с натуры. Я задавал себе вопрос: «Как это происходило?» — вопрос современного читателя, избалованного подробностями и точными описаниями, столь распространенными в наше время. Если потомство будет интересоваться нашими великими людьми, оно будет знать во всех подробностях их привычки и вкусы, их манеру жить, одеваться, говорить и молчать. Ничего подобного не было во времена террора: газетные листки не содержали тогда ничего, кроме политики. Публика с жадностью глотала эту новую для себя пищу и никак не могла ею насытиться.

И вот мне захотелось стать этим репортером, которого не хватало Парижу в дни революции: я попытался проникнуть в клубы, в Национальное собрание, в тюрьмы, в жилища видных деятелей той эпохи и собрать там все, чем пренебрегала история.

Делая критический разбор своей книги «Жирондисты», Ламартин заметил: «Большая часть интереса этой работы заключается в следующем: люди занимают в ней гораздо больше места, чем вещи. Я воплотил все события в действующих лицах; это всегда вызывает интерес, потому что люди живут, а вещи мертвы. У людей есть сердце, а у вещей его нет; вещи — понятие отвлеченное, а люди — реальность». Я не сомневаюсь в этом, но, по многим причинам, из которых главную легко угадать, поступаю наоборот. В этой книге вещи займут гораздо больше места, чем люди; я стремился найти отражение актеров в декорациях, среди которых они играли свои роли. Конечно, этот способ не настолько интересен, но зато, наверное, он ближе к правде.

Эта книга не имеет никакой другой цели, кроме попытки показать топографию Парижа, какой она была сто лет тому назад; это кропотливая и часто неблагодарная работа. Чтобы исполнить ее, мне пришлось проявить много терпения и той робкой страсти, которой был одержим оригинал, описываемый Лабрюйе-

ром, который знал, что «Нимрод* был левшой, а Сезострис** владел левой рукой столь же хорошо, как и правой», и помнил число ступенек Вавилонской башни. Ну что ж! Я тоже могу рассказать, какого цвета было одеяло у Робеспьера, и знаю имя горничной гражданки Дантон. Я открою читателям, что ел бы Марат вечером за ужином, если бы Шарлотта Корде не избавила его навеки от всяких материальных забот, и не скрою, какой тканью было обито кресло президента Конвента.

Мне скажут, что это значит писать историю мелочей, собирать ничтожные пустяки. Я был такого же мнения о своей работе, когда несмело начинал ее много лет тому назад. Теперь я убежден, что читатели, если только они потрудятся прочесть эти страницы, признают, как признал когда-то я сам, что для истории нет ничего бесполезного и что эта любовь к точности, переходящая в своего рода манию при исследовании ничтожнейших подробностей, дала мне возможность внести немаловажные поправки в рассказы великих историков революции. К тому же, если бы мне удалось лишь набросать верный очерк того, чем были в 1793 году памятники великой драмы истории Парижа, то и тогда я бы недаром потерял время, так как до сих пор никто еще не пытался предпринять подобной работы.

Я не имею возможности перечислить здесь все двери, в которые мне пришлось стучаться, и назвать всех лиц, явившихся моими сотрудниками в этом подвиге терпения. Но я хочу, по крайней мере, выразить свою благодарность Викторьену Сарду, который любезно предоставил в мое распоряжение свои драгоценные коллекции и свое неистощимое знание людей и вещей прошлого; господам Раффе и Бушо, чья эрудиция облегчила мне работу в Кабинете эстампов; Жюлю Кузену, почетному хранителю библиотеки города Парижа, и Люсьену Фоку, его преемнику, руководившему мной среди сокровищ музея Карнавале; г-ну Дюпре, городскому архитектору, от которого я получил много интересных сведений относительно монастыря корделье-

* Библейский персонаж, строитель Вавилонской башни.

** Легендарный египетский фараон, упоминаемый Геродотом.

ров и жилища Марата; г-ну Вори, владеющему ныне домом, где жил Робеспьер; господам Делаге и де Жувенелю, оказавшим мне содействие в воссоздании этих древних разрушенных или перестроенных домов; и еще многим. Надеюсь, что они примут выраженную им здесь благодарность и извинят, что я так безыскусно распорядился материалом, из которого человек более умелый создал бы нечто несравненно лучшее.

Жорж Ленотр, ноябрь 1894 года

У РОБЕСПЬЕРА

1. Аррас и Версаль

Узенькая и пустынная провинциальная улица, широкие плиты мостовой, места-ми заросшие зеленью, мещанские дома с плотно закрытыми ставнями. Такова теперь улица Рапортер в Аррасе. Такой же была она и сто лет назад; это один из тех уголков старых городов, которые, кажется, не могут изменяться и, подобно египетским мумиям, не поддаются ни натиску прогресса, ни постепенному изменению нравов.

Однажды, в начале мая 1789 года, улица Рапортер потеряла свой обычный вид: на ней происходило нечто особенное. Хозяйки показались у полуоткрытых дверей; из-за ставней выглядывали лица любопытных; на углу площади Комедии несколько буржуа ходили взад и вперед, стараясь найти какой-нибудь предлог, объясняющий свое ожидание. Около углового дома улицы¹ стояла пустая тачка: это-то и волновало весь квартал.

Все глаза беспокойно следили за носильщиком², который, выйдя из дома, водрузил на тачку старый чемодан из лакированной кожи; потом увидели, как на узком крыльце, куда вела лестница в три ступеньки, показалась женщина в черном. За ней шел худой остроносый человек в очках. Окинув улицу мрачным взором, он увидел, что за ним следят, и, поцеловав даму в черном, спустился с крыльца и направился к площади

немного неестественным торжественным шагом. Носильщик повез за ним тачку, и шум ее колес по неровной мостовой пробудил эхо в молчании улицы.

«Что случилось?» — спросил прохожий у женщины, стоявшей на пороге.

«Это господин Робеспьер, старший адвокат, живущий вон в том доме, отправляется к дилижансу, чтобы ехать в Париж. Он избран депутатом Генеральных штатов*».

Эта новость повторялась всеми на улице Рапортер с одного конца ее до другого. Депутат в полном сознании своей важности шел не поворачивая головы; трудно было сказать, являлось ли это спокойствие следствием застенчивости или пренебрежения к людям, но он производил впечатление человека с огромным честолюбием. Дойдя до края площади, Робеспьер оглянулся: дама в черном, стоя на крыльце, махала ему платком; он помахал ей в ответ и направился к дому лудильщика Лефевра, во дворе которого помещалось бюро общественных экипажей³.

Молодой адвокат, которого избиратели третьего сословия выбрали своим представителем в Генеральных штатах, пользовался большой известностью в Аррасе, и все же нельзя сказать, что его любили. Тогда, как и теперь, провинция была во власти известных предрассудков, и сама личность молодого депутата не отвечала некоторым требованиям почтенных провинциалов. Во-первых, хорошо осведомленные люди утверждали, что он — незаконный ребенок⁴, другие приписывали его необычайной для северной Франции фамилии двусмысленное происхождение. Если верить им, то у Дамьена, покушавшегося на покойного короля Людовика XV**, было два брата: одного, как и цареубийцу, звали Робер, другого — Пьер. Получив приказ переменить фамилию, братья Дамьена соединили свои имена Робер и Пьер и, изменив для благозвучия соединитель-

* Генеральные штаты — сословно-представительное учреждение, занятое прежде всего утверждением налогов. Они были созваны после долгого перерыва королем Людовиком XVI в мае 1789 года в обстановке общего кризиса в стране.

** Гравер Робер Франсуа Дамьен, покушавшийся на Людовика XV, был казнен в Париже 28 марта 1757 года.

ную букву, получили фамилию Робеспьер, которую и приняли оба. Вскоре один из них исчез, и о нем никто ничего больше не слышал; думают, что он последовал за своими родителями в изгнание. Отец и мать Дамьена были высланы из пределов королевства, дом их разрушен, а мебель сожжена рукой палача. Другой брат поселился в Аррасе, где прожил несколько лет под новой фамилией, выдавая себя за простого поверенного в делах. Поручив своего сына милосердию епископа де Консье, он уехал за границу, и его путь навсегда остался неизвестным.

Пересказ этой легенды не значит, что мы ей верим. Два брата убийцы, стараясь создать себе новую фамилию, чтобы не носить проклятого имени, соединяют свои имена и являются родоначальниками фамилии Робеспьера — все это слишком романтично, чтобы быть правдоподобным⁵. Но если этот рассказ и неверен, то тем не менее он циркулировал в Аррасе и, без сомнения, оказал свое влияние на судьбу и характер молодого адвоката. Стоит напомнить, что одной из первых его работ была обращенная к академии города Меца речь, в которой он обрушивался на несправедливый предрассудок, распространявший на всю семью позор судебного приговора, произнесенного над одним из ее членов⁶. Что касается странного исчезновения отца Робеспьера, то оно так и осталось неразгаданным. Говорили, что после смерти жены он обезумел от горя, впал в отчаяние и, бросив своих четверых детей, из которых старшему — будущему члену Конвента — было всего семь лет, объехал сначала Англию, затем Германию и умер спустя некоторое время в Мюнхене. Но это объяснение, в сущности, ничего не объясняет. Этот человек, глава семьи, в цвете лет оставляющий без всяких средств четверых детей и бросающийся за границу искать успокоения своему горю, может быть назван любящим мужем, но уж конечно не образцовым отцом. Но каждое горе заслуживает уважения и заключает в себе тайну; если мы еще раз потревожили это воспоминание, то потому лишь, что отъезд отца имел печальное влияние на детство Робеспьера. Он сделался не по годам серьезным; в десять лет, казалось, он понимал

уже, что может рассчитывать лишь на собственные силы, и, будучи совсем еще ребенком, стал размышлять о горестях жизни и смотреть на себя как на хозяина своей судьбы.

Очень рано в нем уже видны черты трибуна. Его отдали в школу, где он получал все награды и восхищался риториками Древнего мира. Задумчивый и мрачный, он держится в стороне от одноклассников. В двенадцать лет его отправили в Париж, в школу Людовика Великого: там он подружился с учеником, которого звали Камилл Демулен. Этим двум мальчикам, которых постоянно видели вместе под сводами монастырей, где они гуляли вдвоем — серьезные, избегавшие игр с товарищами, мечтавшие о будущем, — суждено было несколько лет спустя вести друг с другом страшную игру, ставкой в которой были их головы. Когда Людовик XVI посетил старинную школу, носящую имя его предка, директор поручил приветствовать его... ученику Робеспьеру! Многие из тех, кто видел в этот день маленького ритора, взволнованно произносящего молодому королю свое приветствие и свои латинские стихи, должны были вспомнить эту первую встречу восемнадцать лет спустя, когда ученик, ставший хозяином Франции, послал на эшафот лишённого трона короля.

Окончив школьное образование⁷, молодой Робеспьер вернулся к себе в провинцию, имея вместо состояния лишь диплом адвоката. Накануне его отъезда парижане видели, как он садился в «кукушку», идущую в Крепи-ан-Валуа: он ехал один, как на богомолье, поклониться старому Жан Жаку Руссо в его убежище в Эрменонвиле. Он был принят философом, доживавшим в уединении последние дни своей беспокойной жизни. Никто никогда не узнал, о чем говорили эти двое, один из которых был близок к апофеозу, другой — безвестен и смущен; один создавал философские теории, которые другому предстояло воплощать на практике. Без сомнения, молодой человек ушел с этого таинственного свидания еще более преданный своим утопиям, вооруженный софизмами для борьбы и несущий в душе семя религии природы и культа Верховного существа, которые он впоследствии пытался ввести во Франции.

Но прежде чем вступить в борьбу, он должен был пройти через испытание провинциальной жизнью; трудно вообразить себе этот лишенный гибкости, узкий вследствие своей прямоты ум, принужденный сгибаться перед требованиями и переносить сплетни маленького городка. Его считали неловким, педантичным, застенчивым, чересчур серьезным и до предела скрытным.

Первые шаги Робеспьера на арене адвокатской деятельности возбудили насмешки среди краснобаев Арраса: его красноречие, впоследствии потрясшее весь мир, было признано бездарным. Говорят даже, что один из его коллег, провинциальный остряк, находя манеры молодого адвоката, лауреата парижского факультета, донельзя высокомерными, адресовал ему эпиграмму, насмешившую до слез любителей остроумия:

Можно получить награды в университете
И остаться при этом неизвестным в свете.

Он же, исполненный презрения, высоко смотрел на всех этих непонятных ему людей. Во время своих одиноких прогулок он продолжал мечтать о разрушении старого мира, и сквозь туман будущего ему грезилась прекрасная заря нового общества.

Между тем он старательно играл свою роль: его холодность и безукоризненно-корректные манеры выглядели изящными, и «общество» наконец признало его. Он даже вошел в моду; многим стали нравиться его мрачный вид и отрывистая речь. В нем нашли черты мизантропа и признали их «восхитительными». Несколько милых дам задались целью приручить этого дикаря с мечтательным взором, и я думаю, что одной из них, вероятно, наименее сдержанной, он посвятил этот иронический и немного презрительный мадригал:

Верь мне, молодая и прекрасная Офелия,
Что бы ни говорили свет и твое зеркало.
Будь счастлива тем, что ты прекрасна,
Но всегда оставайся скромной.
Не уповай на могущество своих чар,
Тебя полкобят куда сильней,
Если ты будешь бояться, что тебя не любят.

Тогда в Аррасе, как и теперь, существовало общество молодых людей, соединенных дружбой и любовью к поэзии, розам и вину. Они собирались каждый год в июне под сенью бирючин и акаций, чтобы отмечать праздник роз, поэтому их прозвали «розатами». Робеспьер был избран в их кружок. Следуя принятому обычаю, новому члену поднесли розу, которую он трижды понюхал и вдел в петлицу. Затем залпом выпил стакан розового вина в честь царицы цветов, расцеловал своих новых товарищей и получил от них диплом в стихах, на которые ответил на том же «языке богов»:

Я вижу шипы среди роз
В букете, который вы мне поднесли,
И когда вы меня приветствуете,
Я чувствую, что ваши стихи
Убивают мою прозу;
Вы мне сказали столько приятного,
Что я совсем пристыжен.

Подобные развлечения не могли утолить жажду этой бурной души. Он задыхался в провинции, и скоро представился случай вырваться из нее: король созвал Генеральные штаты. Робеспьер выставил туда свою кандидатуру и был избран. Он поручил своей сестре Шарлотте старый дом на углу улицы Рапортер, в котором они вместе жили, одолжил десять луидоров и дорожный чемодан⁸ и уехал восвояси.

Если Аррас казался слишком тесной ареной его честолюбию, то он, в свою очередь, почувствовал себя ничтожеством, когда приехал в числе шестисот депутатов в Версаль^{*}. Он остановился вместе со своими коллегами из Артуа в гостинице «Лисица», на улице Святой Елизаветы⁹. Коллеги эти, четыре добрых земледельца, совершенно растерялись в своем новом положении и не отходили от него ни на шаг. Он приложил все старания, чтобы заставить говорить о себе, но сцена была так велика, актеры так шумны, действие так бурно, что он долго оставался незамеченным.

^{*} Генеральные штаты начали заседать 5 мая 1789 года в Версале. 17 июня по предложению депутатов от третьего сословия они объявили себя Национальным собранием, а 9 июля — Учредительным собранием.

Теперь, перед предстоящим подвигом, он чувствовал себя еще меньше и ничтожнее, чем раньше. В минуту откровенности он сознался секретарю Собрания Мирабо, что трепещет при одной мысли о выступлении и теряет голос, когда начинает говорить. Прежде всего, он испытывал тот стыд, который чувствуют бедняки, когда им приходится иметь дело с богатыми людьми.

Известность, которой он добивался в первую очередь, также не приходила, несмотря на все его усилия. Однажды, дрожа от страха, угнетенный насмешками правых, он поднялся на трибуну, чтобы протестовать против деспотической и устаревшей формы постановлений Совета: «Людовик, милостью Божией... Наше совершенное знание... Наше соизволение». «Нужна, — говорил он, — простая и благородная форма, возвещающая национальные права и вселяющая в сердца уважение к закону, вроде следующей: народ, вот закон, который хотят тебе дать!» Тогда один гасконец из правых, удивленный этим торжественным и поэтическим оборотом речи, воскликнул: «Эй, вставайте, это же духовная песнь!» Собрание покатило со смеху, и Робеспьер, озлобленный и красный, вернулся на свое место, сопровождаемый ироническими рукоплесканиями.

Осенью 1789 года Робеспьер вместе с Собранием переселился в Париж*. Дом на улице Сентонж, в котором он жил около двух лет (с октября 1789 года до июля 1791 года), значился тогда под № 8, а теперь — под № 64. Это одно из высоких, темных жилищ буржуа, с высокими этажами и железными перилами, какие строили в XVII веке. В это время в качестве друга или секретаря с ним жил один молодой человек по имени Поль Вилье, который в 1803 году выпустил книгу под заглавием «Записки ссыльного», представляющую собой собрание анекдотов. Несколько страниц в ней он посвятил человеку, жизнь которого разделял в течение некоторого времени. Вилье говорит, что Робеспьер в эту эпоху своей жизни был так беден, что ему пришлось одолжить черную одежду у человека, бывшего гораздо выше его

* В октябре 1789 года по требованию народа Учредительное собрание перенесло свои заседания из Версаля в Париж.

ростом, чтобы в течение трех дней носить траур по Бенджамину Франклину, объявленный Собранием на заседании 11 июня 1790 года по предложению Мирабо.

Это утверждение Вилье, вероятно, неточно. Мы имеем любопытный перечень всех вещей, увезенных с собою Робеспьером, когда он уезжал из Арраса, чтобы использовать свой мандат депутата Генеральных штатов. В нем упомянуты, между прочим, черный суконный фрак и такие же брюки. На деле его гардероб состоял из следующих предметов:

«Черный суконный фрак;

бархатный фрак с черным узором, купленный у старьевщика в Париже и перекрашенный;

атласная куртка, довольно новая;

куртка из “Ра де Сен-Мор”, потеряя;

брюки черного бархата;

брюки черного сукна;

брюки из саржи. Все трое очень потертые;

две щетки для чистки платья и две сапожные щетки;

шесть рубашек, шесть воротников, шесть носовых платков;

три пары шелковых чулок, из них одна почти новая;

две пары башмаков. Из них одна новая;

мешочек для пудры с пуховкой;

маленькая шляпа, чтобы носить под мышкой;

адвокатский костюм;

коробка с шелком, нитками, шерстью, иголками» и т. п.

К тому же Робеспьер как депутат получал 18 ливров в день. Всю эту сумму он делил на три части и треть аккуратно отсылал своей сестре Шарлотте, оставшейся в Аррасе и жившей там все время существования Учредительного собрания. Другая треть, если верить Пьеру Вилье, шла одной дорогой Робеспьеру особе, боготворившей его; остальное он тратил на свои личные надобности.

2. Дом Дюпле

В «Записках ссыльного» ценно главным образом не то, что в них можно прочесть, а то, о чем можно догадываться. Замкнутость, на которую был осужден своей

бедностью и гордостью депутат Арраса, и одиночество, в котором он жил в своей холодной квартире на улице Сентонж, бросают более яркий свет на его психологию, чем все его речи. Честолюбец, в одиночестве лелеющий свои мечты, страдающий от безвестности и считающий свои дарования заслуживающими неизмеримо высшего положения, типичный якобинец с узким и злопамятным умом — вот каким был этот маленький радикальный адвокат. Неподкупный по убеждениям, чуждый добродушного цинизма Дантона, он чувствовал себя в Париже провинциалом и думал с отчаянием, что ему никогда не удастся покорить этот город. Он не изведал ни одной радости столичной жизни — обедал за тридцать су и очень редко бывал в театре, хотя и любил его.

Так жил он в продолжение двух лет и, вероятно, несмотря на некоторую популярность, начал уже сомневаться в своем будущем, когда неожиданное событие внезапно изменило его судьбу. 17 июля после прискорбного недоразумения, названного «Бойней на Марсовом поле»*, в Париже распространился слух, что двор собирается схватить и заключить в тюрьму всех видных деятелей «народной партии». Госпожа Роллан не скрывает, что она сильно тревожилась за мужа и друзей; Дантон, Камилл Демулен, Фрерон, мясник Лежандр решили из предосторожности не возвращаться в свои жилища. Шарлотта Робеспьер рассказывает, как ее брат, возвращаясь в этот самый вечер с Марсова поля, был окружен толпой, которая узнала и приветствовала его в ту минуту, когда он завернул за угол улицы Сент-Оноре близ церкви Успения. В то время как он пытался избежать этих оваций, к нему подошел, выйдя из своей лавки, какой-то гражданин и предложил зайти на время к нему в дом и переждать, пока толпа успокоится и разойдется. Робеспьер принял предложение и последовал за любезным гражданином, которого звали Дюпле.

Случайности и ситуации, создаваемые жизнью, далеко превосходят самые смелые создания романистов —

* Имеется в виду расстрел народной демонстрации на Марсовом поле по приказу монархически настроенных городских властей.

это наблюдение отнюдь не отличается новизной. Я нахожу нечто поразительно трагичное в факте встречи этих двух людей. Дюпле, добрый буржуа, мирный коммерсант, счастливый отец семейства, взяв за руку Робеспьера, вводит в свое жилище его и вместе с ним несчастье и рок, которые жестоко обрушились на злополучного купца и всю его семью менее чем через три года после этой встречи... Я нахожу в этом эпическое и таинственное величие, достойное легенд древности, где мы видим, как злые божества толкают отмеченных роком людей к неизбежной развязке.

Какому чувству повиновался Дюпле, предлагая свое гостеприимство депутату из Арраса? Говорят, что он встречал Робеспьера на собраниях Клуба якобинцев и, оценив его преданность делу свободы, стал питать к Неподкупному нечто вроде благоговения. Таким образом, представляется совершенно естественным, что он пригласил его в свой дом. Точнее, это казалось бы естественным, если бы происходило в счастливые времена древности, когда нравы были просты и гостеприимство считалось обязанностью каждого. Но в Париже 1791 года это совершенно не было принято — эта эпоха близко подходит к нашей в смысле обычаев и предассудков. Морис Дюпле был столяром по профессии и достиг некоторого благосостояния, но у него были четыре дочери и сын, и он жил экономно, стремясь обеспечить будущность своих детей; его образование было скудно. Конечно, он ненавидел «тиранов», как этого требовало его время, поскольку записался в Клуб якобинцев; но при этом он не был ни философом, могущим отречься от предрассудков, ни энтузиастом, способным безгранично увлекаться; вот почему его поступок 17 июля остается для нас загадкой.

Во всяком случае, верно то, что Робеспьер провел ночь у Дюпле. Когда на другой день он хотел возвратиться в свою квартиру на улице Сентонж, жена и дочери столяра стали упрашивать его остаться. Они проявили столько красноречия, так заклинали его поселиться у них, что он, бывший до тех пор дикарем и мизантропом, дал себя убедить и остался жить в этой еще накануне совершенно неизвестной ему семье. Сто-

ляр послал на улицу Сентонж за черным сундуком и несколькими книгами, составлявшими весь багаж депутата, а дочери его тем временем торопливо обустроивали маленькую спальню и кабинетик, которые ему предназначались.

Дом, в котором жил Дюпле в 1791 году, принадлежал монастырю. Он был построен за несколько лет до революции общиной женского монастыря Зачатия, на участке, соприкасавшемся со стеной монастыря¹⁰. Дюпле снял его в апреле 1779 года на девять лет за годовую плату в 1800 ливров основной суммы и 244 ливра процентов. Контракт был возобновлен в 1788 году. В следующем году, вследствие конфискации церковных имуществ, недвижимость перешла в собственность нации.

Это была скромная одноэтажная постройка, ее составлял «маленький узкий жилой корпус, выходящий на улицу Сент-Оноре. Вход через ворота. В подвале помещается лавка. Первый этаж выходит четырьмя окнами на улицу, над ним помещается крытый черепицей чердак с двумя водосточными трубами. Другой корпус в виде флигеля, выходящего на запад, также в один этаж и крытого черепицей; затем третий корпус, состоящий из подвала, первого этажа и чердака, также крытого черепицей, который замыкает собою двор. На дворе, заключенном между этими тремя строениями, с каждой стороны помещено по навесу, из которых один большой, в виде пристройки, выходит на запад»¹¹ и т. д. Так говорилось в точном до мелочей контракте, засвидетельствованном Дюпле у королевского нотариуса Шорона. В маленьком флигеле столяр и поместил Робеспьера: там было три комнатки с окнами, выходящими на узкий двор. Они помещались как раз над навесом, где работали столяры. Туда вела лестница, по которой можно было пройти и во флигель, и в главный корпус, выходящий на улицу. Позже, чтобы оградить своего гостя от неожиданных посещений и возможного покушения, Дюпле изменил этот способ сообщения, соорудив другую деревянную лестницу, внутреннюю и лучше защищенную. Она размещалась с другой стороны флигеля, и, чтобы дойти до нее, надо было пройти или сквозь навес, или через

столовую, находившуюся в нижнем этаже внутреннего здания.

Поднявшись по этой лестнице, можно было выйти к двери налево, сохранившейся до сих пор. Дверь эта вела в узкую комнатку, уборную или прихожую: сразу за ней шла комната Робеспьера. Там стояли только ореховая кровать, крытая голубым с белыми цветами материалом, бывшим раньше платьем госпожи Дюпле, стол и четыре соломенных стула: комната эта служила одновременно и спальней, и рабочим кабинетом. Бумаги, доклады, рукописи речей Неподкупного, исписанные его неровным, старательным, убористым почерком с массой помарок, были аккуратно расставлены на еловых полках у стены. Там же стояло несколько любимых книг; почти всегда на столе лежал раскрытый том сочинений Руссо или Расина.

За этой комнатой шли еще две. В одной из них жил юный сын Дюпле, тот самый, которого Робеспьер называл «наш маленький патриот». В другой в 1792 году разместился племянник столяра Симон Дюпле, служивший раньше волонтером в артиллерийской батарее, которому ядром оторвало левую ногу в сражении при Вальми. Его называли «Дюпле с деревянной ногой»; он был не лишен образования и служил иногда секретарем Робеспьеру, который пользовался его услугами для исполнения легких письменных работ.

Здесь Робеспьер прожил три года — «среди болванов и сплетниц», как говорил Дантон. Обожатели трибуна распространяли восхищение, которое он им внушал, и на его хозяев, изображая семью Дюпле собранием мудрецов и героев, достойных жить в золотом веке. По их словам, Дюпле был просвещенным и суровым патриотом, госпожа Дюпле являлась достойной подругой этого добродетельного человека, а их дочери были настоящими ангелами красоты и невинности. У всех Дюпле были великие души, чистые сердца, блестящий ум. Может быть, их рисуют слишком льстивыми красками, и было бы интересно восстановить истинную физиономию этой семьи, которая по необъяснимой случайности внезапно вошла в историю. Без лишних прикрас их лица хотя и потеряют

часть своего ореола, но станут зато более живыми и правдоподобными.

Морис Дюпле, родившийся в Сен-Дидье-ля-Сов, был типичным разбогатевшим буржуа. В прежние времена, как и теперь, парижский буржуа отличался обычно высоким ростом и склонностью к полноте. У него простое приветливое лицо, которому он стремится придать выражение известного достоинства; он носит коротенькие бакенбарды, слегка закругленные на линии рта, старательно выбрит, одет чисто, но без малейшего поползновения следить за прихотями капризной моды. Такова была, вероятно, и наружность господина Дюпле. Ликвидировав свое дело и получая ежегодный доход в 15 тысяч ливров, он от скуки стал интересоваться политикой. Каждый буржуа влюблен в свободу: чтобы сохранить это драгоценное благо, он готов заключить в тюрьму весь мир и сам охотно подчиняется всевозможным лишениям, будучи готов во имя свободы носить любые цепи и приносить всевозможные жертвы. Таков же был и Дюпле, но более всего его, как и все третье сословие, мучило желание быть «чем-нибудь»*. Вероятно, этим и объясняется его поступок 18 июля 1791 года: не смея и мечтать о том, чтобы самому играть видную роль, он удовольствовался тем, что сделался лицом, близким к герою, и стал хозяином «дома Робеспьера». Этого было достаточно для его честолюбия.

Госпожа Дюпле представляется нам, судя по редким намекам историков, доброй и достойной женщиной, восхищавшейся своим мужем. Наверное, даже в минуты интимности она называла его «господин Дюпле». Четыре дочери, Элеонора, Софи, Виктория и Елизавета, получили хорошее воспитание в монастыре Зачатия. Хотя Дюпле по своему развитию и стоял «выше суеверий», но все же он считал, что религия необходима «для детей и простого народа». Это было общепринятое мнение, и он разделял его. Софи в 1789 году вышла замуж за адвоката из Иссуара в Оверни по фамилии

* Автор имеет в виду знаменитую фразу из памфлета депутата Сьейеса, написанного в 1789 году: «Что такое третье сословие? Ничто. Чего оно хочет? Стать чем-нибудь».

Оза. Таким образом, в доме на улице Сент-Оноре в день приезда туда Робеспьера оставалось всего три барышни Дюпле.

Я воображаю, как они были взволнованы внезапной переменой в их однообразной семейной жизни! Все три были в том возрасте, когда девушка имеет право в каждом холостом человеке видеть возможного мужа. Не обвиняя их в предосудительном кокетстве, можно смело предположить, что 18 июля 1791 года, перед тем как выйти завтракать в столовую, где они должны были застать вчерашнего гостя, они дольше обыкновенного смотрелись в зеркало. Были ли они красивы? Судя по оставшимся после них портретам, я могу с уверенностью сказать «нет». Если Елизавета, возможно, была милостивой, то черты лица Элеоноры были грубы, губы толсты, а общий вид не отличался изяществом¹². И все же случилось то, что должно было случиться. Для этой дочери мелкого буржуа Робеспьер имел неотразимое обаяние: его звание общественного деятеля, его нарождающаяся репутация, лесть, которой окружала его кучка друзей, — все это пробуждало в Элеоноре чувство, похожее на любовь. Любила ли она его действительно? Без сомнения — с минуты его смерти, но до тех пор в ее любви можно сомневаться, так как ничто не доказывает ее. Можно думать, что ею владело лишь гордое желание чувствовать себя избранницей человека, одно имя которого наводило трепет на всю Францию; чувство, напоминающее смешанную с опаской радость укротителя, подчиняющего себе хищного зверя. Любил ли он ее? Лично я так не думаю, поскольку что тогда мешало ему на ней жениться? Впрочем, у этого странного человека все покрыто тайной. Он был молчалив и хранил свои мечты и свои впечатления для себя одного.

К тому же все это лишь предположения, и рамки нашего труда слишком узки для того, чтобы мы пытались проникнуть в глубокий мрак этой страшной психологии. Во всяком случае, известно, что в то время Элеонора считалась невестой или, по словам других, любовницей Робеспьера, хотя ничто не подтверждает справедливости ни одной из этих догадок. «Госпожа Робеспьер» — так называли ее в шутку молодые подруги

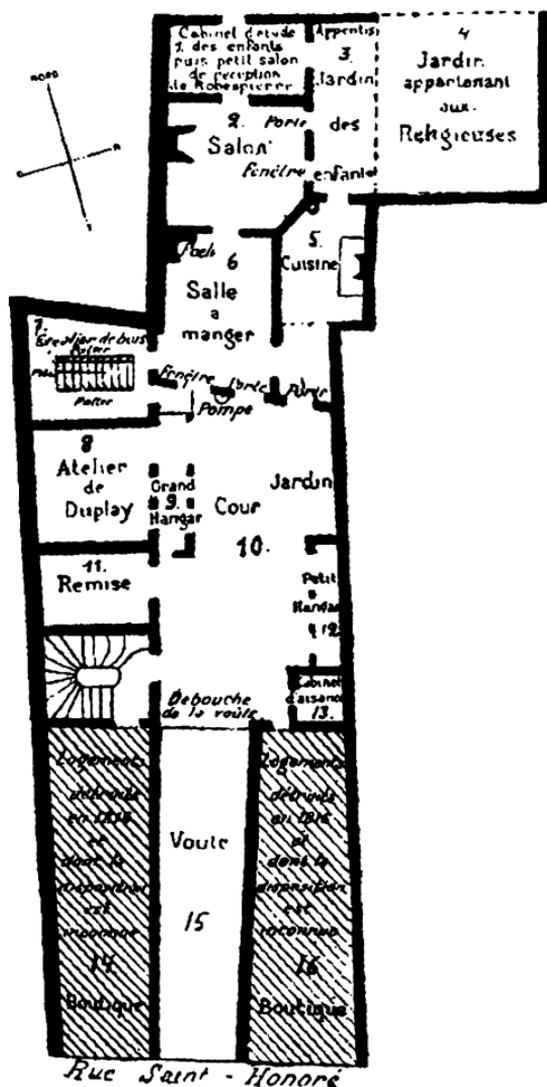
по курсам живописи, где она усердно занималась все время террора. Два раза в течение каждой декады она направлялась к Лувру, проходя через почти безлюдный сад Тюильри. Она шла на курсы Реньо, живописца, который в то время оспаривал у великого Давида* «скипетр таланта».

Мастерская художника, подарившего нам такой шедевр, как «Воспитание Ахилла», помещалась в галерее Лувра, которая выходила на набережную над музеем; входили в нее через узкий проход с улицы Бруа-Манто. «Элеонора считала, что ее любят, тогда как ее только боялись, — говорит мадемуазель Гемери, одна из учениц Реньо, в оставленных ей интересных заметках¹³. — Кроме четырех-пяти учениц, все старались ей угодить, советовались с ней, угадывали ее желания. Эти ухаживания, рачительные ей, до странности противоречили аристократической гордости некоторых из нас. Всякие разговоры об общественных делах были строго воспрещены нам господином Реньо. Но невозможно было в точности следовать этому совету; сердца молодых девушек, особенно художниц, обладали удвоенной чувствительностью».

Далее Гемери продолжает:

«Все телеги, в которых ехали на казнь несчастные жертвы Революционного трибунала, проезжали по набережной под окнами мастерской. В день казни Шарлотты Корде молодые художницы усыпали лепестками роз этот путь, эту “*via dolorosa*”, по которому должно было проследовать шествие. После смерти Марии Антуанетты они в знак траура и искупления в течение девяти дней носили букетики скабиоз и водосбора. Мы проливали слезы при виде этих жертв, с наших губ срывались резкие слова и крики негодования по адресу убийц, но это всегда было в отсутствие Элеоноры, часто приходившей на курсы позднее других, хотя она и была одной из самых прилежных, учениц.

* *Жак Луи Давид* (1748—1826) — выдающийся художник, один из основателей классицизма, прославился в эпоху революции и правления Наполеона. Он был организатором народных празднеств и членом Комитета общественной безопасности.



Первый этаж дома Дюпле:

1 — детская классная комната, впоследствии приемная Робеспьера; 2 — гостиная; 3 — детский сад; 4 — сад монахинь; 5 — кухня; 6 — столовая; 7 — деревянная лестница; 8 — ателье Дюпле; 9 — двор; 10 — сад; 11 — каретный сарай; 12 — малый сарай; 13 — отхожее место; 14, 16 — квартиры, разрушенные в 1816 году, точное расположение которых неизвестно; 15 — прихожая.

Когда неожиданно появлялась она, глубочайшее молчание сменяло самые оживленные толки. Элеонора с озабоченным лицом садилась перед своим мольбертом и молча принималась за работу. Вскоре ее окружали, забрасывая вопросами о ее здоровье. Меня возмущала эта жалкая лесть, которую, казалось, презирала и сама Элеонора. Ведь только что я слышала, с каким отвращением отзывались они об этой девушке, как критиковали ее крайне скромную одежду, представлявшую резкий контраст с нашими элегантными костюмами и античными туниками.

...Однажды Вальер явилась в мастерскую с красными глазами и расстроенным лицом. Она подбежала ко мне, поцеловала в щеку и стала прощаться, говоря, что должна умереть. Я в испуге стала ее расспрашивать. Рыдая, она рассказала мне, что революционный комитет ее секции послал ее родителям приказание, чтобы она ехала на колеснице, так как ее выбрали для изображения богини на "Празднике юности". Не исполнив это предписание, семья ее рискует быть объявленной подозрительной и посаженной в тюрьму. Все наши подруги разделяли отчаяние Вальер. Родители ее объявили, что предпочитают видеть ее мертвой, чем изображающей богиню, и Вальер была убеждена, что скоро умрет. Тысячи проектов, один другого экстравагантнее, изобретались нами, чтобы отвратить роковой конец. Гильбер предложила ей изуродовать себя, как это сделала дочь одного буржуа в Моноске. В 1516 году Франциск I по дороге в Италию проезжал через Моноск. Ключи от этого города вручила ему дочь буржуа, у которого он остановился. Молодая девушка понравилась королю, и он не скрыл этого от нее. Но она была столь же добродетельна, как и прекрасна. Чтобы спасти свою честь, она велела насыпать серы в жаровню с углями и, подставив свое лицо под выходящий оттуда дым, обезобразила себя так, что стала неузнаваемой. Этот героический поступок рассмешил нас, несмотря на все наше горе. Другая подруга предложила ей просто спрятаться.

Явилась Элеонора, и я рассказала ей причину нашего волнения. Я знала, что она любит Вальер — ее слезы

подтвердили это. “Я удивляюсь, — сказала она, — что они не подумали об этом раньше, ведь она такая красавица! Я знаю только одно средство, могущее спасти вас от исполнения этого бессмысленного приказа. Вальер, скажите вашей матери, чтобы она изобразила восторг от выбора комитета; пусть она пойдет к президенту спросить, какой костюм вы должны надеть. Прикажите сшить этот костюм в вашем магазине. Показывайте его всем вашим соседям, притворяйтесь, что вы радуетесь этой чести; пусть ваши мастерицы поют ‘Марсельезу’. Потом, утром в последний день декады, примите рвотное снадобье; когда кортеж заедет за вами, легко будет доказать, что вы больны. А затем будьте спокойны: я обещаю, что больше вам докучать не буду”.

Все прошло так, как говорила Элеонора. Наша прелестная подруга пролежала два-три дня в постели, не будучи больной. Революционный комитет был обманут этой хитростью, и честной девушке не пришлось предстать пред нескромными взорами безнравственных мифологов-республиканцев».

Я нахожу чрезвычайно трагичной историю Элеоноры Дюпле. Эта девушка могла бы быть счастливой женой, мирной матерью семейства, так как, по-видимому, она была доброй и честной. Вместо этого она в течение неполных трех лет перенесла столько страданий, что их хватило на всю ее жизнь. Порой Элеонору Дюпле изображают особой, «стоящей выше слабостей своего пола». Этому не следует верить: ее делает интересной и трогательной именно то, что она была женщиной, не лучше и не хуже других, что она, как и другие, испытала горести, радости, печали, честолюбие, любовь и заботы, из которых состоит всякая человеческая жизнь. Ее портят, делая из нее героиню: добродетельная Корнелия никого не прельщает.

Сестра ее Елизавета была счастливее: она 26 августа 1793 года вышла замуж за Филиппа Леба. Этот молодой 28-летний член Конвента с сентября 1792 года постоянно посещал дом Дюпле и пленился там «ослепительной свежестью и блеском» Елизаветы, которой было в то время немного более двадцати лет. Г-н Амель в трогательных выражениях описал любовную идилию

этой молодой четы, и не стоит рассказывать ее вторично. Что до Виктории Дюпле, то она не вышла замуж и у нее нет истории.

3. За кулисами апофеоза

Если мы сообщили все эти подробности и постарались воспроизвести облик семьи Дюпле, среди которой Робеспьер прожил большую часть своей общественной жизни, то лишь потому, что именно с того дня, как он поселился на улице Сент-Оноре, его популярность быстро возрастает, а его личность выдвигается на первый план. Чему следует приписать эту перемену? У него и до тех пор хватало уверенности в своих дарованиях, но его мрачному и подозрительному характеру, чтобы достичь апогея своего развития, были необходимы лесть и поклонение. В семействе Дюпле он не испытывал в них недостатка. Через три дня он сделался там непогрешимым оракулом. Он знал, что его слушают, восхищаются им, благословляют его: благодаря этому самомнение его еще больше возрастало.

Этому несомненному превращению способствовало другое, уже совершенно материальное обстоятельство. Его меблированная комната на улице Сентонж не привлекала к себе никакого внимания, и никто не навещал его там. У Дюпле он получил возможность принимать близких себе людей, поклонников, последователей. Четверги Дюпле, на которых прежде дремали за игрой в лото немногочисленные родственники, превратились в тайные политические собрания. На них, прислонившись к решетке камина, Максимильен произносил великолепные речи, обращенные к потомству. Дюпле очень гордился той значительностью, которую все это придавало его дому, а маленький адвокат из Арраса был, вероятно, втайне польщен тем, что у него есть, наконец, относительно комфортабельный «свой дом» в том самом Париже, куда он явился никому не известным бедняком.

Достоверно известно только то, что Робеспьер внезапно возвысился. Восхищение, которое чувствовали к

нему якобинцы, считавшие его напыщенные, пестрешшие цитатами речи перлами ораторского таланта, охватило сначала весь Париж, а затем и всю Францию. Если бы это не происходило в эпоху, когда все было необычным и странным, когда потрясены были все устои жизни, невозможно было бы объяснить, каким образом человек скромных дарований, не имеющий никакого общественного положения — так как с ноября 1791 года по сентябрь 1792-го Робеспьер уже не был депутатом¹⁴, — мог достигнуть такой известности.

Мы видим, как в январе 1792 года экс-капуцин Шабо хвалится тем, что окрестил ребенка, которого родители захотели назвать Робеспьером. Затем богатый владелец мелочной лавки на улице Бетизи по имени Дешан просит жильца Дюпле быть «крестным отцом» его ребенка, которого он «хочет воспитать под покровительством человека, являющегося образцом всех добродетелей, человека, имя которого будет почитаться во все времена, настоящие и будущие». Потом английская миллионерша мисс Чэпмен возымела странную мысль убедить Робеспьера принять от нее в дар значительную сумму. Когда он отказался, она писала ему: *«Не презирайте англичан, не относитесь с таким унижительным пренебрежением к стремлению англичанки помочь делу, общему для всех народов»*. В то же время другая женщина, госпожа де Шалабр¹⁵, увлеклась молодым трибуном и умоляла его украсить своим присутствием ее салон; Робеспьер согласился, и между ним и его поклонницей завязалась самая интимная переписка.

Позже он почти ежедневно стал получать послания от женщин. Одно из них заслуживает, чтобы мы его поместили здесь: «Мой дорогой Робеспьер, с начала революции я влюбилась в тебя, но я была связана узами и умела побеждать свою страсть. Теперь я свободна, так как потеряла мужа во время Вандейской войны, и хочу открыться тебе перед лицом Верховного Существа. Я льщу себя надеждой, мой дорогой Робеспьер, что ты не останешься нечувствительным к признанию, которое я делаю тебе. Нелегко женщине делать подобное признание, но бумага переносит все, и издалека таких слов стыдишься меньше, чем находясь рядом. Ты мое Вер-

ховное существо, и, кроме тебя, у меня нет бога на земле. Я смотрю на тебя как на своего ангела-хранителя и хочу жить, повинувшись лишь твоим законам: они так хороши, что я умоляю тебя, если ты, как я, свободен, соединить меня с тобою на всю жизнь. Как приданое я предлагаю тебе все качества доброй республиканки, 40 000 франков годового дохода и юное существо—двадцатидвухлетнюю вдову. Если это предложение подходит тебе, умоляю тебя мне ответить. Мой адрес: вдове Жакен, до востребования, в Нант. Если я прошу тебя писать до востребования, то это потому, что я боюсь, как бы моя мать не выбрала меня за мое безумие. Если я буду настолько счастлива, что получу от тебя благоприятный ответ, я ей его покажу. С той минуты я больше ничего не буду скрывать. Прощай, мой возлюбленный. Подумай о маленькой жительнице Нанта и об этом несчастном городе, который потрясен военной бурей. Так как благодаря своим достоинствам ты имеешь большое влияние на Собрание, употреби усилия, чтобы спасти нас от поразившего нас удара. Ответь мне, умоляю тебя, в противном случае я буду надоедать тебе своими письмами. Еще раз прощай и думай о несчастной, которая живет для тебя одного. Не накладывай печати Конвента. Пиши мне, как частное лицо!»¹⁶

Это письмо вместе с многими другими было найдено в папках, которые стояли на еловых полках, сделанных по желанию Робеспьера, вероятно, самим Дюпле, в маленькой комнатке трибуна. Они попали в опись, сделанную после 9 термидора Куртуа и его коллегами по Конвенту, когда они явились в опустевший дом на улице Сент-Оноре, чтобы найти там материалы для знаменитого донесения, прочитанного в Собрании во время заседания 16 января III года.

Вследствие необъяснимого, ребяческого самолюбия Робеспьер сохранял эти льстивые послания, приходившие из всех уголков Франции и носившие, безусловно, комический характер. Куртуа упомянул о некоторых из них. «Я жажду, — пишет 14 мессидора гражданин из Аннеси, — насытить мои взоры и мое сердце твоими чертами. Пусть душа моя, наэлектризованная всеми твоими республиканскими добродетеля-

ми, унесет с собою частицу того огня, каким воспламеняешь ты всех добрых республиканцев. Твои писания дышат им, и я ими насыщаюсь»¹⁷. Два санкюлота из Сен-Кале слагают литании: «О Робеспьер, Столп республики, Покровитель патриотов, Нетленный гений, Просвещенный монтаньяр, все видящий, все предугадывающий, все раскрывающий, коего нельзя ни обмануть, ни соблазнить» — и т. д.¹⁸

Члены генерального совета коммуны Мариона, наивные люди, желая добиться освобождения своего священника, пишут Максимилиену, что они только что пропели «Te Deum», по окончании которого к небу вознеслись клики «Да здравствуют Робеспьер!», «Да здравствует Республика!». Обращаясь к «Неподкупному», они употребляют старинные формы, принятые раньше для обращения к тиранам. «Генеральный совет и вся коммуна припадают к вашим стопам, надеясь, что вы соизволите согласиться, чтобы у нее остался ее пастырь. Мы неустанно молим небо о сохранении вашей особы... Благоволите разрешить нам по-прежнему звонить в колокол, чтобы собирать добрый народ, и удостойте успокоить своим ответом нашего священника гражданина Артиго».

Другое послание выражается еще категоричнее: «Венец и триумф заслужены вами, эти почести будут возданы вам, в то время как гражданский ладан будет куриться перед алтарем, который мы вам воздвигнем, и, пока человечество будет дорожить свободой, оно не перестанет благоговеть перед этим алтарем». Третье письмо и вовсе делает из него божество: «Уважение, которое я питаю к тебе со времени Учредительного собрания, велит мне поместить тебя на небе, рядом с созвездием Андромеды, в одном проекте астрологического монумента».

Робеспьер старательно сохранял все эти глупости. С какую целью? Вероятно, в часы послеобеденного отдыха, сидя за столом в кругу семьи, он читал своим восхищенным хозяевам эту бессвязную болтовню, глубоко радуясь тому восторгу, который она внушала им. Дюпле особенно высоко ценил честь, выпавшую на его долю в тот день, когда в его доме поселился тот, перед

которым преклонялась вся Франция. Он чувствовал к своему герою нежное благоговение. Он старался защитить его от злых или нескромных людей. Мы упоминали, как, стремясь уничтожить слишком легкое сообщение между двором дома и комнатой Робеспьера, он сделал маленькую внутреннюю лестницу, на которую можно было попасть, лишь пройдя через прекрасно охраняемый навес. Но эта предосторожность все еще казалась ему недостаточной. Он велел приделать к двери, которая вела на эту лестницу из мастерской, тяжелые засовы и снабдить ее решеткой.

Впрочем, эти меры предосторожности не были излишними. Однажды вечером в мае 1794 года, около девяти часов, совсем юная девушка — ей едва минуло двадцать лет — проникла под навес дома Дюпле, неся в руках маленькую корзиночку. Она обратилась к рабочим во дворе и сказала, что ей надо поговорить с Робеспьером: ей ответили, что его нет дома. Тогда она страшно рассердилась и закричала, что законодатель не имеет права таким образом отказывать в приеме. Ее возбуждение показалось странным; девушку задержали и обыскали. В ее корзиночке были спрятаны два ножа: не было сомнения, что это новая Шарлотта Корде. Действительно, она созналась, что ненавидит тиранов, и в предвидении своего ареста оставила у соседнего трактирщика узелок с бельем, которое понадобится ей в тюрьме, куда ее посадят. Это, конечно, и произошло. Все знают печальный конец бедной Сесили Рено: эту историю рассказывали многие. Мы возьмем из нее лишь одну подробность, отвечающую задачам нашей книги. Когда друзья Робеспьера, окрестные якобинцы, первыми узнали о покушении, жертвой которого он *мог бы* сделаться, они толпой бросились к Дюпле, чтобы лично убедиться, что их бог еще жив. Вскоре дом был наводнен людьми, маленькая столовая наполнилась шумной, взволнованной толпой... А Робеспьер, сидя за столом, невозмутимо заканчивал свой ужин: перед ним стояла тарелка, наполненная апельсиновыми корками. Апельсины были его любимыми фруктами: он съедал их помногу и гордился умением чистить их быстро и искусно. В тот вечер, опустив глаза, прикрытые

очками, которые он никогда не снимал, он с недовольным видом предоставил другим кричать об убийстве и выражать негодование. В течение всего вечера он не произнес ни слова.

В затруднительных обстоятельствах молчание и тайна были его великой силой. Другой силой было шпионство. Он считался мастером этого дела и воспитал немало отменных учеников. Доносы, которые посылались ему лично шпионами Комитета общественной безопасности, отличались устрашающей точностью. За всеми людьми, делами, знакомствами, сношениями и жизнью которых он почему-либо интересовался, следили ежеминутно, и они не могли сделать ни одного шага, который остался бы ему неизвестным.

«4 мессидора II года Республики».

...Гражданин Лежандр был вчера третьего числа текущего месяца под аркадами Театра республики на улице Закона около десяти часов утра; у него был с генералом Парени длинный разговор, продолжавшийся около получаса. Они расстались часов в 11. Гражданин Лежандр прошел через сад Равенства и отправился в хранилище национальных драгоценностей, где пробыл около получаса. Оттуда он вернулся в Тюильри, где оставался до часа, и вошел затем в Конвент, где пробыл до конца заседания. Пока он был в Тюильри, было заметно, что он чем-то недоволен; он ходил в разные стороны и т. д.

10 мессидора.

Гражданин Тальен 6 мессидора оставался в Клубе якобинцев до конца заседания. Он дожидался своего “человека с большой палкой” на Оноре, стоя у ворот. Было заметно, что он ждал с большим нетерпением. Наконец тот пришел; нет никакого сомнения, что он был на трибунах. Они пошли назад по улице Оноре, прошли улицу Закона, бараки и галереи справа от дома Равенства; сели в нижней части сада, выпили каждый по стакану чая с сиропом и вернулись в галереи сада,

* Приведенные ниже документы относятся ко времени зарождения антиробеспьеровского (термидорианского) заговора в июне—июле 1794 года.

все время разговаривая вполголоса и держа друг друга под руку. В 11 часов они прошли через двор дворца и вышли на площадь Равенства; собеседник Тальена поклонился ему, позвал фиакр, и они признались во взаимной дружбе, сказав: «До завтра, друг мой». Мы подошли к экипажу и услышали, как Тальен велел извозчику везти его на улицу Жемчужины. Другой человек удалился пешком по улице Шартр. Мы бежали за ним до моста, называвшегося раньше Королевским, но не смогли его догнать; предполагаем, что он вошел в одну из аллей в секции Тюильри, где он живет. Вчера вечером он был одет в красную с белым куртку в широкую полосу, черные брюки, жилет, круглую шляпу; у него коротко подстриженные белокурые волосы, и ростом он почти с гражданина Тальена»...

13 мессидора.

«Б. Д. Л. вошел в Конвент 11 числа текущего месяца в половине первого, ушел оттуда по окончании заседания и был в доме № 55 на улице Оноре с несколькими гражданами. Через два часа ушел оттуда и отправился на улицу Отцов в дом № 143, пробыл там десять минут, вышел на улицу, поговорил с двумя молодыми гражданами — одному из них с виду лет 15, другому лет 10. Потом поговорил с одной гражданкой, с которой была маленькая девочка, и продолжил свой путь на улицу Руль. Там он вошел в нотный магазин, первый, если идти с улицы Оноре. Там он пробыл около двух часов; мы заметили, что туда вошло еще несколько граждан. Он ушел оттуда под руку с другим гражданином. Они расстались у Лувра. Он пошел в сад Равенства, где разговаривал с четырьмя гражданами. Поговорив с ними, он присоединился к компании, состоявшей из шести человек, в числе них находились две гражданки. Поговорив довольно долго с этими последними, он отошел от этого общества вместе с гражданином, которому на вид было лет сорок пять. Волосы его были острижены в кружок, как у бывших священников. Они гуляли взад и вперед по аллее, со стороны Фельянов, несколько раз вступали в разговоры с различными гражданами и раскланивались с другими. Расстался он с вышеупомянутым гражданином лишь в девять часов и продолжал,

уже в одиночестве, гулять по той же аллее. Зашел в уборную, вышел оттуда, сел у дерева на склоне террасы Фельянов, где оставался очень долго. Там было так много прохожих, что мы потеряли его из виду. Это было в половине одиннадцатого.

Вчера, 12 числа текущего месяца, этот гражданин сидел в аллее Фельянов в обществе трех граждан. Четверть часа спустя они встали, и мы заметили, что эти граждане все время обращались к нему и что он говорил больше всех. Проговорив очень долго стоя, они удалились по аллее Фельянов. Б. Д. Л. шел под руку с другим гражданином, и они вошли в дом № 55 на улице Оноре. Там они пробыли около двух часов и вышли оттуда в половине пятого. Он пошел на улицу Отцов, в дом № 143, пробыл там десять минут и, выйдя оттуда, вернулся к себе домой, откуда, по нашим наблюдениям, он в этот день больше не выходил. Тогда было девять часов вечера.

14 мессидора.

...Нас бы не удивило, если бы господин Рамбулье, отправленный в полицию гражданином Т. и только что отрешенный от своей должности, оказался из числа тех, кого этот депутат держит при себе для своей охраны, а также для того, чтобы узнать, не следят ли за ним... Совершенно невозможно следить за названным депутатом на той улице, где он живет, ввиду того, что она очень короткая и прямая. Там нет никакого места, где бы можно было сесть, кроме нескольких каменных скамей у ворот. А как только жильцы названной улицы замечают кого-нибудь, кто часто проходит мимо, они начинают смотреть в окна или посылают слуг к дверям, так что наблюдателю невозможно дежурить поблизости от его жилища.

Г.»¹⁹.

У Ньютона спрашивали, как ему удалось открыть законы мирового движения. «Постоянно думая о нем», — отвечал знаменитый ученый. Точно так же Робеспьеру удалось если не достичь державной власти, то, по крайней мере, прикоснуться к ней лишь путем неустанных мыслей о ней, ежеминутного труда, собирания и обдумывания тысячи ничтожнейших мелочей. День, когда

он был ближе всего к этой власти, был тем, в который справляли праздник в честь Верховного Существа*. Это было его создание, его плод, причем на этот раз он проявил дальновидность и сумел найти то, что понравилось Франции. В качестве президента Конвента он должен был произнести речь перед всем собравшимся народом и идти во главе процессии: он действительно заменил короля! Бедной Элеоноре Дюпле накануне этой церемонии, вероятно, снилось, что она спит на королевской кровати. Этой безумной грезе суждено было сбыться, но для другой героини. Невероятное счастье ждало другую женщину, такую же неизвестную и еще более несчастную, которая томилась в то время в Кармской тюрьме**.

С утра небо было на диво ясным и Париж ликовал. Розы, собранные за двадцать верст в округе, были принесены к месту события; каждое окно украшали гирлянды и знамена. В глубину дома Дюпле с улицы Сент-Оноре доносились топот идущей толпы и радостный шум праздничных приготовлений.

Максимильен сидит, глубоко задумавшись, в скромной комнате, где обрели приют его мечты. Браун, его верная собака, дремлет под столом, у которого сидит трибун... На кровати лежат приготовленные васильковый фрак, китайчатые штаны, широкий шелковый пояс национальных сине-бело-красных цветов и шляпа, украшенная трехцветным султаном. Робеспьер вспоминает о своем домике в Аррасе, о мрачном детстве, о первых шагах в этом огромном городе, где сегодня его имя у всех на устах. Он думает о том, что Франция, пресыщенная кровью, измученная террором, утомленная революцией, ждет от него одного лишь слова, слова жалости и примирения, чтобы провозгласить его властелином. Он думает о речи, которую он произнесет — ее переписанный текст лежит здесь же, на столе. Он думает, что он — властитель Парижа, что по его желанию здесь воцарится тишина или будет свирепствовать буря.

* 20 перриалья II года Республики (8 июня 1794 года).

** Речь идет о Жозефине Богарне, будущей супруге Наполеона и императрице Франции.

Несколько раз в течение этого века судьба Франции зависела от одной речи. От одного слова, так или иначе сказанного, могла измениться история целого государства! И очень редко люди, бывшие хозяевами положения, умели найти эту фразу, это слово, отвечающее тайному желанию нации. Во всяком случае, Робеспьеру — а сейчас нас интересует только он, — в этот день плохо послужило его вдохновение.

Облачившись в парадный костюм, он спустился в столовую, чтобы показаться друзьям. Все семейство было в сборе. Женщины — в светлых платьях, отец и сын Дюпле в праздничных костюмах. Элеонора вручила тому, кого тщеславно считала своим женихом, чудный букет из колосьев и полевых цветов; Робеспьер должен был нести его во время церемонии. В лихорадочном нетерпении он ушел, не дождавшись завтрака.

Известно, как прошел праздник Верховного Существа: начатый среди всеобщего ликования и светлых надежд, он внезапно изменил настроение под влиянием одного неудачного слова Робеспьера и окончился полным провалом*. Когда Максимилиен вернулся вечером на улицу Сент-Оноре, измученный усталостью и жарой, осыпанный оскорблениями и угрозами, он слишком поздно понял, какую ошибку совершил. На вопросы девиц, на пышные тирады столяра он отвечал недовольным молчанием. Затем, чувствуя на себе гнетущую тяжесть ненависти и страха, возбужденных его речью, он грустно проговорил: «Недолго вам осталось меня видеть!»

После этого он прошел к себе в комнату и заперся там.

К этому страшному предвидению будущего, к этому похмелью жизни политика внезапно присоединились мелкие семейные дразги. Его сестра Шарлотта с их младшим братом Огюстеном также поселилась теперь в доме Дюпле. Столяр отдал в их распоряжение большой, выходящий на улицу корпус дома, в котором были две обширные комнаты. Сначала все шло хорошо, хотя мадемуазель Робеспьер видела, не без некоторой есте-

* На обратном пути с Марсова поля Робеспьер услышал насмешки и прямые угрозы своих врагов, будущих термидорианцев.

ственной для женщины ревности, какие нежные чувства питал Максимильен к госпоже Дюпле и ее дочерям. В Аррасе она привыкла быть полной госпожой в доме брата и теперь не могла спокойно мириться с чужим влиянием на него. Ей удалось внести разлад, скорее, впрочем, кажущийся, чем реальный, в отношения Робеспьера и его хозяев. Торжествуя, она покинула дом на улице Сент-Оноре, увезла оттуда своих братьев и поселилась с ними поблизости, на улице Сен-Флорантен*.

Но госпожа Дюпле не признала себя побежденной. Под предлогом нездоровья Максимильена она навестила его. Она постаралась убедить его, что единственной причиной его недомогания была печаль от разлуки со своей новой семьей, хотя это и было нелюбезно в отношении Шарлотты. Она преувеличивала свое беспокойство и уверяла, что человек, которого она любит как сына, нуждается в ее уходе и что в новом помещении о нем не будут заботиться так самоотверженно, как это сделали бы в доме его приемных родителей. Словом, через несколько дней она, торжествуя, вернула Робеспьера в дом столяра. Шарлотта не могла этого простить. А Неподкупный, казалось, утратил всю свою энергию: он проводил время в долгих прогулках по Елисейским Полям, по Монсо и еще далее, по лесу Монморанси. Он бродил там один, со своей собакой, собирая у заборов большие букеты полевых цветов.

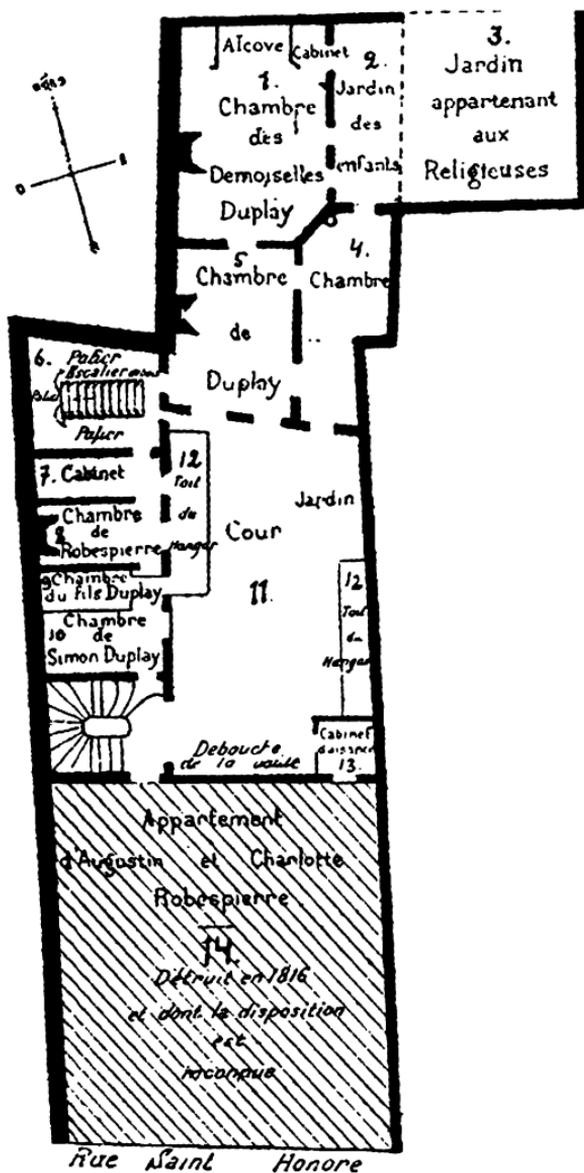
Недели, предшествовавшие Термидору, были тягостны ему и его хозяевам. Один Дюпле чувствовал себя вполне счастливым: он достиг своей мечты и стал чем-то! Благодаря прекрасным связям, он получил назначение судьи при Революционном трибунале и воображал, что ему действительно позволят судить. Кроме того, он снова занялся делами и выхлопотал себе подряд на исполнение столярных работ в Тюильри: внимательно просматривая счета Конвента, мы видим, что он получил довольно крупные суммы. Но, главное, он приобрел положение среди политиков и дружбу

* Этот эпизод относится к более раннему времени (до праздника 20 прериаля).

видных деятелей. Тем, кто восхищается его благодушием и добротою, можно напомнить о письме, полученном им из Люна от Колло д'Эрбуа. Да, Дюпле стал теперь достаточно важной персоной для того, чтобы члены Конвента не пренебрегали перепиской с ним. Письмо это, очевидно, было написано не с целью раздосадовать его:

«Мы воодушевили вновь республиканское правосудие, то есть правосудие быстрое и ужасное, как воля народа. Оно должно, как молния, обрушиться на изменников и оставить от них лишь пепел. Разрушая непокорный, покрывший себя позором город, мы тем самым укрепляем все остальные города. Уничтожая негодяев, мы тем самым защищаем жизнь целых поколений свободных людей. Вот каковы наши принципы. Мы разрушаем, что можем, не жалея ни мин, ни пушечных снарядов, но ты понимаешь, что среди населения в полтораста тысяч человек этот способ действия встречает много препятствий. Под ударом народного топора пало двадцать голов заговорщиков, но это не устрашило их... Мы создали комиссию, быструю, как совесть истинного республиканца, судящего изменников: шестьдесят четыре заговорщика были расстреляны вчера, на том самом месте, откуда они стреляли в патриотов. Сегодня казнят еще двести тридцать... Этот великий пример подействует на колеблющиеся города. Там встречаются люди, одержимые ложной и нелепой чувствительностью: наши же чувства целиком принадлежат Отечеству!»²⁰

Таким образом, дом Дюпле, прежде тихий и оживленный лишь играми детей и смехом молодых девушек, сделался своего рода революционным центром и, казалось, привлекал к себе взоры и мысли всех. Жители квартала, проходя мимо, бросали беглый взгляд на темный навес. Заключение, в ожидании смерти, из глубины темниц призывали на него небесный огонь. В самых отдаленных провинциях Франции его образ являлся во сне проконсулам, и они спрашивали себя: «Как-то думает об этом повелитель?» Для всей Франции этот дом был устрашающим, ненавистным, проклятым местом, откуда исходил террор.



Второй этаж дома Дюпле:

1 — комната барышень Дюпле; 2 — детский сад; 3 — сад монахинь; 4 — комната; 5 — комната Дюпле; 6 — площадка лестницы; 7 — кабинет; 8 — комната Робеспьера; 9 — комната сына Дюпле; 10 — комната Симона Дюпле; 11 — двор с садом; 12 — навес сарая; 13 — отхожее место; 14 — апартаменты Огюстена и Шарлотты Робеспьер.

4. Развязка

Я возбуждал, вероятно, удивление швейцара и жильцов дома № 398 по улице Сент-Оноре, часто заглядывая в это мрачное и ничем не примечательное с виду здание. Пройдя через его ворота, я попадал в маленький, узкий дворик, куда никогда не заглядывало солнце. Налево до сих пор можно видеть дверь, которая вела в апартаменты Шарлотты и младшего брата Робеспьера. С той же восточной стороны стоит флигель, где жил Максимилиен. Теперь это здание надстроено на несколько этажей. Вот уже видны широкие и низкие окна его маленькой квартирki²¹. Правого флигеля, где находится теперь швейцарская, тогда вовсе не существовало. Его построили на месте навеса, под которым столяр хранил дерево, в 1811 году, когда дом был куплен ювелиром Рульи.

Дом Дюпле в глубине двора существует до сих пор*, но также надстроен на четыре этажа. При этом два нижних этажа остались без изменений. Правда, первая комната, бывшая раньше столовой, превратилась в своего рода коридор, разделенный перегородками, по которому беспрестанно пробегают рабочие из соседней булочной. Но лишь только войдешь в садик барышень Дюпле, покрытый теперь стеклянной кровлей, как появляется возможность разглядеть бывший салон, превращенный в склад муки. В общих чертах он совершенно не изменился.

Впечатление от созерцания предметов может быть разным: есть люди, которых старая стена восхищает куда больше, чем новый дворец. Развалина, мимо которой все проходят равнодушно, имеет чарующую прелесть для человека, стремящегося разбудить спящие в ней воспоминания и возродить прошлое. Вот почему я так часто приходил в эту комнату, бывшую когда-то салоном Дюпле.

Стены, потолок, пол — все здесь бело, все покрыто матовым и бархатистым белым налетом разлетающейся

* Не только во времена Ленотра, но и в наши дни. См.: *Левандовский А. П.* Дом Робеспьера. В кн.: *Белый слон Карла Великого*. М., 1993.

ся муки. При мягком свете горящих ламп здесь появляются белые, нежно очерченные тени. Углы, своды, карнизы кажутся округлыми и бархатистыми, как в снежных гротах, которые проводники показывают туристам в ледниках Шамони. Эта обстановка кажется созданной для привидений, и какие призраки являются здесь нашему воображению! Здесь, в этом простенке, висел прекрасный портрет Робеспьера, написанного во весь рост Жераром*. У этого камина напротив окна загадочный трибун часто стоял, погруженный в свои мечты; сидя вокруг своей матери, здесь шили барышни Дюпле; в расставленных по комнате тяжелых креслах, крытых красным утрехтским бархатом, сидели Камилл Демулен, Кутон, Сен-Жюст, Давид, Леба, Прюдон, Мерлен де Тионвилль, Колло д'Эрбуа, Ларевельер-Лепо. Эти белые стены видели всех этих людей, слышали их речи о свободе, родине, счастье человечества; здесь стоял клавесин, на котором играл Буонарроти, и все слушали его, затаив дыхание. Робеспьер часто раскрывал книгу и читал какой-нибудь отрывок Корнеля или Расина. Леба играл на скрипке или пел романсы... И, если внезапно воцарялось молчание, это значило, что издали с улицы донесся монотонный голос разносчиков, продававших *«Полный список заговорщиков, получивших выигрыш на лотерее гильотины»*.

Что касается Дюпле, то он млел от гордости: сознавая всю важность своей роли, он ревниво и преданно заботился о своем госте и чувствовал свою ответственность за него перед человечеством. До сих пор в углу дома на улице Сент-Оноре есть старая дверь, сделанная из прочного дерева; в ней проделана узкая калитка, закрытая железной решеткой с массивными задвижками. Рассматривая ее, можно заметить с внутренней стороны громадный замок, снабженный предохранительным засовом. Это был вход в жилище Робеспьера. Лестница на второй этаж была уничтожена в 1811 году, когда здесь устроили печь для булочной, помещающейся в соседнем доме²². Налево, вслед за маленькой

* Франсуа Жерар (1779—1837) — французский художник школы Давида. Написанный им портрет Робеспьера утрачен.

уборной, шла комната Неподкупного; направо был вход в спальню супругов Дюпле, а за ней располагалась комната их дочерей. Обе эти комнаты сохранились в том виде, в каком они были в эпоху революции. Те же двери, те же зеркала в рамах стиля Людовика XVI, та же мебель, тот же паркет. В комнате барышень Дюпле сохранились следы элегантности. Окно ее выходит в бывший сад, а в глубине помещается альков работы отца семейства с двумя поставцами по бокам. Здесь Элеонора, без сомнения, часто мечтала о счастье. В этом алькове она засыпала, вспоминая речи своего жениха и воображая себя королевой Франции! Вероятно, сюда, в эту уединенную комнату, забились бедные девушки в день, когда телега повезла на эшафот Робеспьера и его друзей. Отсюда они прислушивались к реву беснующейся толпы, остановившей кортеж и окропившей кровью зарезанного быка дом, где жил тиран. Невольно поддаешься печальному настроению, когда рассматриваешь этот альков, в котором, несмотря на всю его ветхость и покрывающую его пыль, сохранилось что-то кокетливое и юное. Вспоминается душная ночь термидора, последовавшая за казнью; видишь Елизавету и Элеонору, одних в опустевшем доме²³; отец их в тюрьме Плесси, мать — в Сент-Пелажи. Представляешь себе, как сестры, обнявшись, бросились на кровать, стараясь заглушить свои рыдания и оплакивая одна мужа, а другая жениха... Какие драмы видел этот старый дом!

Мать больше не вернулась в него. Предполагают, хотя ни один документ не подтверждает этого, что во время волнения, охватившего тюрьмы при вести о падении Робеспьера, заключенные, узнав, что госпожа Дюпле была домохозяйкой павшего диктатора, ворвались в одиночную камеру тюрьмы, где она содержалась, набросились на нее, задушили и повесили на оконном крюке. Достоверно известно лишь то, что она погибла во время этого волнения, но пала ли она жертвой убийства, или самоубийства, мы не знаем²⁴.

Несколько дней спустя ювелир Рульи, открывая ставни своего магазина, заметил, что дверь дома осталась закрытой; задами пробрался он во двор и постучался в квартиру Дюпле. Обе сестры исчезли. Через па-

ру недель после этого молодая, одетая прачкой женщина с шестимесячным ребенком на руках явилась в меблированный дом, где проживал Сен-Жюст²⁵, и спросила дочь хозяина дома, чтобы поговорить с нею по секрету. Эта прачка была не кто иная, как Елизавета Дюпле, вдова Леба. Она переменила имя и зарабатывала на хлеб себе и своему ребенку, стирая белье на речных барках, служивших прачечными. У нее не осталось от мужа ни наследства, ни даже его портрета: она молча боготворила его память. Но она знала, что незадолго до катастрофы эта молодая девушка набросала пастелью портрет Сен-Жюста, и она сторала желанием приобрести этот портрет, чтобы он напоминал ей о верном и любимейшем друге Леба. Художница, сама впадшая в нищету, попросила за портрет десять луидоров. У гражданки Леба такой суммы не было. Она спасла от секвестра лишь один сундук, где лежали ее венчальное платье и голубой фрак Леба, который был на нем в день их свадьбы. Она предложила в уплату за портрет эти реликвии — все, что она имела. Обмен состоялся: следующей ночью бедная вдова принесла свои платья и получила желанное сокровище.

Ламартин рассказал эту трогательную историю, и мы заимствуем ее у него, хотя и знаем, с какой осторожностью надо относиться к большинству его сообщений. Его книга «Жирондисты», в сущности, не что иное, как дивная поэма, в которой истину очень часто заменяет вдохновение. Но в том, что касается семейства Дюпле, он в виде исключения является одним из самых верных и самых точных историков, и вот почему: перед тем как была пущена в продажу «История жирондистов», в «Насьональ» были помещены некоторые отрывки из этой книги. Они появились в виде фельетонов под заглавием «Отрывки из частной жизни Робеспьера». Появление этих страниц дало повод к законным сетованиям со стороны господина Филиппа Леба, сотрудника Института и сына члена Конвента. Он написал своему знаменитому коллеге, выразив сожаление, что, прежде чем напечатать эти страницы, Ламартин не дал их прочесть ему и его матери, госпоже Леба, которая была еще жива. Ламартин послал корректуру

своей книги г-ну Леба, который исправил страницы, касающиеся частной жизни Робеспьера и Дюпле, и в его редакции мы и читаем их теперь. Следовательно, в этом пункте «История жирондистов», за исключением некоторых противоречий²⁶, заслуживает полного доверия. Ламартин не только принял к сведению поправки Филиппа Леба, но сделал больше: он попросил Беранже представить его самой госпоже Леба, родной дочери Дюпле, побывал у нее, и рассказ об этом свидании представляет собою одну из прекраснейших страниц его книги. «Я нашел госпожу Леба, — пишет он, — подобной женщинам Библии после разрушения Вавилона. Удалившись от общения с живыми людьми, она в своей маленькой квартирке на улице Турнон беседует со своими воспоминаниями, окруженная фамильными портретами... Портретами своих сестер, из которых самая красивая должна была выйти замуж за Робеспьера, самого Робеспьера, любившего щеголять в нарядных костюмах, представляя контраст с санюлотом в куртке, деревянных башмаках и красном колпаке — символом народной нищеты и равенства, воспетых якобинцами. Чудный портрет во весь рост Сен-Жюста, этого Барбару террористов и Антиноя якобинцев*, красовался в золоченой раме у стены, в простенке между пологом кровати и дверью, и служил напоминанием о том культе, которым молодая девушка окружала память самого обольстительного из последователей трибуна смерти.

...Молодая девушка стала женщиной, матерью, вдовой; она сделалась старше годами и лицом, бесследно исчезла бывшая красота, но в ней незаметно ни одной черты старческой дряхлости. Постоянная, глубокая, хоть и успокоенная с годами печаль сообщила ее резким чертам какую-то особую окаменелость. Вся она как бы застыла, сосредоточившись на одной идее и одном чувстве — идее абстрактной, чувстве твердом, но не мрачном.

* *Жак Барбару* — один из лидеров жирондистов, славившийся своей красотой. *Антиной* — любимец римского императора Адриана, поклонявшегося его красоте.

Она встретила меня доверчиво... Она допустила меня в свое уединение и разрешила мне перелистывать страницы за страницей все сохранившиеся в ее удивительной памяти неистощимые и живые воспоминания о подробностях частной и общественной жизни Робеспьера. Сен-Жюст также занимает большое место в ее воспоминаниях. Мне представляется, что до своего брака с Леба юная дочь подрядчика Дюпле, домохозяина Робеспьера, мечтала сделаться женою молодого и прекрасного проконсула, фанатического приверженца этого Магомета с антресолей*, когда революция закончится, наконец, той сентиментальной идиллией, которую Сен-Жюст и его учитель думали насадить на месте искорененного неравенства и разрушенных эшафотов... Каждый раз, когда наш разговор касался Сен-Жюста, голос госпожи Леба становился мягче, выражение лица — нежнее, и взор ее, загораясь энтузиазмом, поднимался от портрета к потолку, как бы посылая немой упрек небу, разрушившему некую сладкую надежду²⁷, одним ударом топора отделив эту голову ангела-истребителя от плеч двадцатисемилетнего борца».

Элеонора Дюпле также пережила революцию на сорок лет. Она удалилась в уединение, в каком-то ужасе скрывая свою жизнь и культ того, из кого сделали главное пугало революции и кого она сильнее полюбила мертвым, чем живым. Она смотрела на себя как на его вдову и всю жизнь носила траур. Напротив, Шарлотта Робеспьер, легкомысленная и беспечная, сделала из своего имени доходное, но отнюдь не почтенное употребление. Посаженная в тюрьму на несколько дней после Девятого термидора, она вскоре была выпущена на свободу и не постыдилась принять из рук термидорианцев пенсию в 6 тысяч франков, которую постепенно уменьшили до полутора тысяч. Пенсию эту ей выплачивали все сменявшие друг друга правительства до ее смерти в 1834 году. Эта выплата режимом Реставрации пенсии сестре Робеспьера дала пищу многим романтическим догадкам. Впрочем, Шарлотта не жила уединен-

* Напомним, что прежде антресолями назывались жилые помещения, надстроенные над первым этажом дома.

но — она завела много знакомств и, кажется, осталась в хороших отношениях с семьей Леба. По крайней мере, такой вывод можно сделать из воспоминаний, сохранившихся о ней у одного нашего современника, г-на Жюля Симона.

В одной из своих статей, напечатанных в «Тан», он пишет: «Однажды, завтракая у своего профессора истории, господина Филиппа Леба, я увидел, что в салон вошла хорошо сохранившаяся старая дева, одетая приблизительно так, как одевались во времена Директории. Туалет ее не был роскошен, но отличался изысканной опрятностью. Госпожа Леба (бывшая девица Дюпле) и ее сын относились к ней с глубочайшим почтением, почти как к коронованной особе. Во время завтрака она говорила мало, была вежлива и держала себя гордо. “Как она вам понравилась?” — спросил Леба, когда мы остались вдвоем в его кабинете. — “Но кто она?” — “Как? Я вам не сказал? Это сестра Робеспьера”. Я был в то время учеником младших классов школы».

Что же касается Мориса Дюпле, который приглашением к себе Робеспьера навлек на свою семью столько трагических событий, то его жизнь прошла более бурно. Если он не вкусил власти, то, по крайней мере, испытал радость известности: судья в Революционном трибунале, домохозяин могущественнейшего из членов Конвента, тесть влиятельного депутата, он имел большое значение. Немногие касающиеся его воспоминания, написанные восторженными апологетами Робеспьера, чрезмерно льстят ему и все, в большей или меньшей степени, не заслуживают доверия. В действительности это был добрый буржуа, соблюдавший свои интересы, озабоченный своими делами, немного педантичный, честный, гордый той ролью, которую ему приходилось играть. Несчастье его заключалось в том, что он так старательно вошел в эту роль, что не смог вовремя сбросить с себя этой туники Несса, ставшей роковой! Конечно, Девятого термидора его посадили в тюрьму и после судили вместе с Фуке-Тенвилем и судьями Революционного трибунала. Нет никакого сомнения, что если бы ужасный закон Прериала был еще в силе, Дюпле пришлось бы близко познакомиться с палачом,

но террор уже шел на убыль. Теперь судьи давали себе труд вникать в дело и находили время для допроса подсудимых. Столяр был оправдан. Вероятно, хотя бы в этот день он не слишком сожалел о гибели своего предполагаемого зятя и о крушении его политических теорий...

Но он лишь наполовину воспользовался этим уроком. Твердо решив больше себя не компрометировать, он так и не смог победить в себе желания быть чем-то. Он продолжал принимать оставшихся в живых друзей своего жилья, по крайней мере тех из них, незначительность которых позволяла им не скрываться. Он часто видался с Дарте, с бывшим маркизом д'Антонелем, с соседом Дидье, открывшим слесарную мастерскую на улице Оноре, и с Буонарроти, этим потомком Микеланджело, оживлявшим в доброе время до Термидора четверги госпожи Дюпле своей игрой на клавесине. Они говорили о политике, оплакивали реакцию и слабость, в которую впала Республика, но, конечно, не было с ними тех, которые раньше придавали своими дивными речами стройные формы их небесным мечтам.

Участвовали ли Дюпле и его кружок в заговоре Бабёфа? Это очень вероятно, хотя и отрицалось многими. Во всяком случае, однажды, когда рыночные носильщики были заняты разгрузкой зерна у бывшей церкви Успения, обращенной в продовольственные магазины, на улице случился переполох. Оказалось, что полицейские арестовали Бабёфа при выходе из дома. Какого именно дома? Это так и осталось неизвестным. Раздались крики «шпионы!». Собравшаяся толпа кинулась на полицейских, Бабёф опрокинул двоих из них и бежал. Он скрылся у некоего каретника по имени Х., жившего близ дома Дюпле, в здании, также принадлежавшем монастырю Зачатия. Жена каретника починила платье Бабёфа, разорванное во время свалки, а слесарь Дидье взялся ночью помочь бегству заговорщика. Через несколько дней Дидье, оба Дюпле, Бабёф, Буонарроти, Антонель, Дарте и еще тридцать человек были арестованы в качестве участников «Заговора равных» и три

* «Заговор во имя равенства» 1795 года, лидером которого был Грахх Бабёф.

месяца спустя предстали перед Вандомским верховным судом.

Оба Дюпле, отец и девятнадцатилетний сын, были оправданы. Но протокол судебного процесса сообщает о них удивительные известия. Гражданин Шарль Жан Тьебо, привратник дома Зачатия, утверждал, например, что дочери Дюпле были дружны с Дидье, что они довольно часто приходили к нему по вечерам и оставались там очень поздно, до половины двенадцатого и до двенадцати часов ночи²⁸. Дюпле, со своей стороны, говорит, что познакомился с Буонарроти лишь во время тюремного заключения после Девятого термидора, что, без сомнения, неверно. К тому же у Бабёфа были найдены бумаги, указывающие на то, что Дюпле служил посредником между ним и его сообщниками в городе Аррасе. В случае, если бы заговор удался, Дюпле должен был занять должность муниципального чиновника Парижской коммуны, а его сын — повторим, девятнадцати лет, — получил бы ни много ни мало пост министра финансов! Правда, ввиду того, что Гракх Бабёф в своем проекте конституции отменял деньги, этот пост должен был обратиться в простую синекуру. После казни Бабёфа Дюпле замкнулся в частной жизни и притих. Утверждают, что Дюпле разорили жертвы, приносимые им народному делу. Я думаю, что это преувеличено. Революция причинила ему, как и всем коммерсантам, значительные убытки, но он не впал в нужду, если смог в IV году приобрести дом, который нанимал раньше. Он заплатил за него 38 тысяч франков.

Мне неизвестно, по каким причинам ему пришлось покинуть этот дом, и я не мог найти указаний на то, где он проживал до своей смерти, последовавшей в 1820 году. В наши дни в темном уголке кладбища Пер-Лашез, по дороге к Стене коммунаров, расстрелянных в мае 1871 года, у самой ограды лежит скромная плита, вся серая от дождей. Имя Дюпле, несколько раз повторяющееся на ней, совершенно не привлекает внимания посетителей. А между тем здесь покоится семья, тесно связанная с великой драмой революции. Матери здесь нет — она, как известно, исчезла в тюрьме, куда ее заключили. Но вот имя Мориса Дюпле, родившегося в

Сен-Дидье-ля-Сов (департамент Верхней Луары) 23 декабря 1730 года и умершего в Париже 30 июня 1820 года. Вот его дочь Элеонора, возлюбленная невеста Робеспьера, умершая 64 лет от роду 26 июля 1832 года; вот сын Жак-Мишель, смотритель богаделен, родившийся в 1778 году и умерший в 1847-м.

Только теперь, заканчивая это воспроизведение интимной жизни хозяев Робеспьера, я замечаю, что внес в свой труд много мелочей, способных растрогать читателя. И отнюдь не потому, что герой, который, поселившись у Дюпле, принес с собой проклятие в его дом, внушает мне чувство высокого энтузиазма. Но если побежденные Термидора не внушают симпатий, то победители заслуживают их еще менее. Кроме того, изучая исторических персонажей в их частной жизни, начинаешь замечать, что под маской, наспех намалеванной для потомства, скрывается человек, что вокруг него и ради него жили и страдали другие люди, что они плакали и умирали. Эти интимные драмы куда интереснее официальной трагедии истории, потому что они искренни, и сердце, каким бы оно ни было черствым, всегда играет в них первую роль.

ТЮИЛЬРИ

1. Двор в октябре 1789 года

Трудно представить себе человека в более затруднительном положении, чем то, в котором очутился господин Мик, архитектор-смотритель замка Тюильри, 6 октября 1789 года. К нему неожиданно примчался курьер из Версаля с известием, что сюда прибудет король* и надо подготовить дворец к приему его и всех служащих двора.

Этот старый замок времен Екатерины Медичи в том виде, в каком он был в начале революции, совершенно не походил на резиденцию короля. Он был незаметен со стороны площади Карусели — до такой степени скрывала его от глаз прохожих беспорядочная куча всевозможных построек. Тут были и гостиницы, и казармы, и каретные сараи, и гауптвахта, и бараки. Из-за высокой стены, окружавшей главный двор, виднелись лишь высокие крыши трех павильонов — Часов, Флоры и Марсана.

С той стороны, где теперь проходит улица Риволи, на месте нынешней решетки шла длинная, довольно высокая стена, тянувшаяся почти на всем протяжении террасы Фельянов**. Пространство, занятое в наши дни мосто-

* В результате похода парижской бедноты на Версаль 5 октября 1789 года Людовик XVI с семьей вынужден был переехать в Париж. Вслед за королем туда перебралось и Учредительное собрание.

** Фельяны (фейяны) — монашеский орден, выделившийся в 1572 году из ордена цистерцианцев и утвердившийся во Франции с 1588 года.

вой улицы Риволи, тогда представляло собой широкую, поросшую травой аллею, местами обсаженную деревьями. Оно служило «ристалищем», то есть местом, где объезжали лошадей. Оно заканчивалось на высоте павильона Марсана группой безликих построек, носивших название «королевских конюшен», в которые входили со стороны улицы Риволи, почти напротив церкви Святого Рока. На месте правильных арок, составляющих в наши дни первый этаж домов улицы Риволи, тянулась непрерывная линия стен, ограждавших сады дворцов, которые выходили на улицу Сент-Оноре.

Три больших монастыря занимали своими строениями и садами пространство, заключенное теперь между улицами Двадцать девятого июля и Сен-Флорантен. Это были монастыри Фельянов, Капуцинов* и Успения; вход во все три монастыря был с улицы Сент-Оноре, а их обширные фруктовые сады простирались до самой террасы Фельянов, от которой их отделяли лишь стены. Со стороны площади Людовика XV высокие террасы и подъемный мост, переброшенный через ров, делали сад Тюильри неприступным, а со стороны набережной стена, отделявшая террасу от воды, образовала такой же крутой и длинный вал до самого павильона Флоры. Таким образом, можно было бродить вокруг этих бесконечных оград, не видя ничего, кроме вершин деревьев или крыши замка. А войти в сад можно было лишь через узкий проход, проделанный между строениями фельянов и капуцинов, или через переулочек, выходивший на улицу Сент-Оноре и называвшийся улицей Дофина.

Замок, в котором двор не жил со времени детства Людовика XV, мало-помалу наполнился требовательными жильцами, с которыми нелегко было ладить. Это были пенсионеры короля, артисты, вельможи, высокопоставленные дамы, инвалиды, труппы комедиантов — словом, самые различные представители всех классов общества; дворец представлял собой целый шести-

* Капуцины — нищенствующий монашеский орден, основанный в Италии в 1525 году. Свое название получил от остроконечных капюшонов (по-итальянски сарруссино), которые носили его члены.

этажный город, шумный, кишачий людьми, которые обращались с предоставленным им королевским жилищем, как с завоеванным краем.

Впрочем, на это завоевание обитатели дворца потратили восемьдесят лет хитрости и терпения. Сначала нескольким дворцовым чиновникам, служебные обязанности которых требовали пребывания в Париже и которые не были настолько богаты, чтобы иметь там достойное их ранга помещение, разрешили занять пустующие апартаменты во втором этаже дворца. Затем, когда Лувр оказался переполненным артистами, которых король великодушно приютил в своем дворце, излишек их переместили в Тюильри.

Вскоре чиновники и артисты, находя свое помещение слишком тесным, пустили в ход интриги, чтобы одному разрешили занять лишнюю комнату, другому — за свой счет соорудить лестницу в погреб. Один жаловался, что у него нет кухни, и умолял разрешить ему занять для этой надобности салон, соприкасавшийся с его квартирой. Другой выпрашивал позволения прорезать в крыше окна, чтобы осветить свою мастерскую. Дошло до того, что, когда в начале царствования Людовика XVI балы Оперы слегка оживили парижскую жизнь и некоторым приближенным к королеве дамам понадобилось поселиться в Париже, им пришлось отвести единственные свободные комнаты замка — то есть парадные апартаменты, сохранявшиеся до тех пор для королевской семьи, и галереи первого этажа.

Каждый из обитателей желал иметь здесь все удобства частной квартиры. Прodelали проходы, прорубили двери, на верхних этажах устроили антресоли. В галереях Людовика XIV построили лестницы, провели коридоры, устроили чуланы и прачечные. Папки архивов переполнены обращенными к заведующему дворцом прошениями, на которые никогда не было отказа; захватчики соперничали в изобретательности, как будто стремясь как можно больше обезобразить и унижить старый дворец... Официальный рапорт, помеченный 1783 годом, указывает, что королевские апартаменты до того раздроблены перегородками, «что в сущности

их больше не существует и они не могут служить даже минутным местопребыванием королевского семейства»²⁹. Когда королева приезжала в Париж, она останавливалась на первом этаже здания на площади Людовика XV, где хранилась дворцовая мебель.

Впрочем, Тюильри не представлял собой завидного местопребывания. Там жили скученно, один на другом, и многим, чтобы попасть к себе, приходилось проходить через кухню или столовую соседа. Летом там задыхались от зноя, так как узкие переходы были лишены воздуха. Наоборот, зимой там мерзли, потому что в большинстве квартир не было каминов. Граф де Полиньяк писал 14 сентября 1785 года: «Я съехал из Тюильри; я погибал там от холода; тамошние служители — славные люди, но не хотят ничего делать»³⁰. Кроме того, дворец грозил рухнуть. Некоторые путем долгих упрасиваний добивались необходимой починки в тех частях дворца, где они жили, но то, что принадлежало королю, то есть никому, приходило в упадок. Граф д'Анжевилье писал 8 января 1776 года: «Главный раздатчик милостыни только что предупредил меня, что часовня Тюильри становится опасной от падающих кусков штукатурки; священник, несколько дней тому назад служивший там обедню, от страха чуть не убежал из алтаря»³¹. В следующем году башенные часы центрального павильона перестали показывать время. Лепот предложил изготовить *в кредит* новые часы, подобные часам Военной школы; стоимость их достигала 160 тысяч ливров³², что было слишком дорого. Ему ответили, что предпочитают починить прежние часы... но так и не починили.

Странное население, наполнявшее дворец со всеми его пристройками, обратило его мало-помалу в целый отдельный город. Часовня служила ему приходской церковью; пустые уголки дворца заняла масса маленьких лавчонок, необходимых для ежедневных надобностей. В самом замке в 1789 году помещалось три театра: старинный «Зал машин», где в 1770 году нашла приют Французская комедия и где господин Легро дирижировал на духовных концертах; Театр принца, основанный парикмахером королевы Леонардом Отье, и «Олимп

пийский концерт», посещаемый преимущественно низшими служащими и прислугой³³. На террасах помещались уборные актеров, под большим вестибюлем — будки, на лестнице — бараки, и даже на крышах были сады.

Вот почему господин Мик, архитектор-смотритель Тюильри, думал, что сойдет с ума, когда ему приказали в течение одного дня привести замок в такой вид, чтобы в него могло въехать королевское семейство вместе со всем двором. Торжествующая революция принудила их вернуться из Версаля в Париж.

В промежуток времени меньший, чем требуется для того, чтобы описать это эпическое выселение, все обитатели были изгнаны из дворца. Раздавались крики, плач, упреки, угрозы, мольбы; одних заставили замолчать, других успокоили, некоторым обещали вознаграждение и даже выплатили его: в ноябре 1789 года госпожа де Ламарк получила 120 тысяч ливров «как вознаграждение за деньги, израсходованные ею на помещение, которое она занимала в Тюильри». Мы нашли в архивах подтверждение этого факта, и, конечно, он не был единственным. Другим дали надежду, что они получат квартиры в зданиях Королевских конюшен или в Карусели, но ко всем одинаково были беспощадны: они должны были немедленно очистить дворец. В то время как носильщики нагружали на возы пожитки обитателей, столяры снимали перегородки, маляры замазывали стены, полотеры натирали паркет, обойщики вешали драпировки.

Впрочем, прошло не менее семи часов, пока печальное шествие королевской семьи добралось из Версаля в Париж. Апартаменты еще не были готовы, но все же временно в них можно было разместиться. Король занял большие, выходящие в сад покои второго этажа. Королева поместилась на первом этаже, тоже со стороны сада. Принцесса Елизавета заняла часть первого этажа, выходящую на двор, а дофина поместили в павильон Флоры, открытый со всех сторон. Двери его комнаты так плохо закрывались, что пришлось забаррикадировать их той мебелью, которая в небольшом количестве здесь нашлась. Что касается многочислен-

ного персонала, сопровождавшего королевскую семью, — дворян, телохранителей, офицеров, слуг всех рангов, — то они поделили между собою остальную часть замка. На дверях наскоро написали мелом имена главных служащих, и каждый мог таким образом узнать, где он может переночевать.

Этот порядок размещения просуществовал недолго. Людовик XVI, желая, чтобы дети жили поближе к нему, отдал часть своих апартаментов дофину и королевской принцессе, своей дочери. Королева осталась на первом этаже³⁴, и были сооружены особые лесенки, чтобы король и королева могли свободно проходить из своих апартаментов в комнаты дофина и принцессы (мемуары госпожи Турзель). Огромная толпа непрестанно сновала по террасам и дворам замка. Толпа эта вела себя до такой степени бесцеремонно, что однажды принцесса Елизавета увидала, как в ее комнату через окно ворвалось несколько человек. Она умоляла короля дать ей другое помещение, и ей отвели большие и удобные апартаменты в павильоне Флоры. Принцессы, дочери Людовика XV, заняли покои павильона Марсана, а принц переселился в Люксембург, который был тогда самым удобным из дворцов Парижа.

В наши дни трудно представить себе, какой громадный персонал сопровождал тогда двор в его переселениях. В национальном архиве сохранился список помещений, наскоро выстроенных в Тюильри 6 октября 1789 года. Разумеется, там разместились только самые необходимые служащие, но и это была целая армия. Этот список занимает целую тетрадь, и я нашел в нем любопытные подробности, например «мальчиков, состоящих при дамах принцессы», или «служанок, состоящих при печке королевы для согревания принцессы». Там также встречаются интересные названия всевозможных личных услуг: «кравчие короля», «поджариватели королевского жаркого», «состоящие при кубке короля», «мороженщики короля», «сливочники короля», «булочники короля», «королевские истопники». Я нашел в списке также булочника-немца, состоящего в числе слуг королевы, из чего можно заключить,

что Мария Антуанетта ввела в Париже в моду венские булки. В особенности поражает несметное количество врачей, сопровождавших двор: первый хирург, второй хирург, первый и второй врачи, первый и второй аптекари и еще хирурги, врачи и аптекари по нумерации; столько же их было и у королевы, и у королевских детей; затем шли врачи принцессы Елизаветы, других принцесс... потом парикмахеры, столовые слуги, контролеры столовых слуг, главные конюшие двора и столько еще других!³⁵

Всем им надо было дать помещение; правда, кроме самого замка, на громадной территории Тюильри находились еще несколько домов, выходявших на Карусель и улицу Сент-Оноре; эти постройки образовали странный лабиринт улиц, дворов, проходов. Там были двор Колодца, двор Марсана, двор Мануфактуры, двор старого Манежа; местоположение их трудно указать теперь в точности. Квартыры устроили в Малой Карусели, в доме главного оруженосца и во дворце Лавальер, а также в помещении «построек и лавок» господина Котта, на улице Карусель, в отеле Лонгвиль, в одном доме на улице Сен-Никез и в другом доме, стоявшем в глухом переулке Дуайене. Наняли даже квартиры на улице Дюшантр, где разместились горничные королевы, сняли дом господина Руледи на улице Сент-Оноре, чтобы поселить там секретарей помощников королевского стольника; первого камердинера короля поместили на улице Дофина у господина Шансене, капелланы нашли себе пристанище в монастыре Капуцинов близ Вандомской площади, и, наконец, главного хранителя посуды и старшего полотера устроили в доме, принадлежащем господину д'Эпе, откуда для этого пришлось выселить жившего там слесаря³⁶.

Подробности этого устройства могут показаться не стоящими внимания, и в самом деле, быть может, история не без основания пренебрегает ими. Но в то же время они являются наивными показателями того непонимания новых идей и новой ситуации, которыми проникнуты все распоряжения двора, и в этом смысле не лишены интереса. Это множество бесполезных и дорогостоящих слуг, эта система, при кото-

рой для оказания мельчайших услуг учреждались целые массы должностей, создала тысячи паразитов, истощавших и душивших королевскую власть. Именно от них и погибала она, не сознавая причин своей гибели, и до конца считала их необходимыми для своего существования.

Этот факт казался еще более поразительным при сравнении его с новым практическим духом соперничавшей с двором власти — Национального собрания. Парижане, в течение почти целого века не видевшие двора и успевшие забыть его обычаи, с глубоким изумлением увидели эту армию, которую королевская семья тащила за собой. Сами названия должностей этих тысяч слуг казались смешными и устаревшими народу, только что совершившему революцию. Выставляя напоказ эти отрепья эпохи феодализма, двор крайне неосторожно обнаружил живучесть того прошлого, которое считалось похороненным.

2. Манеж

Собрание, пользовавшееся и до того громадной популярностью, теперь еще больше выигрывало по сравнению с двором. Оно объявило себя неразлучным с королем и решило обосноваться в Париже. Это переселение, в отличие от королевского, совершилось просто и беспрепятственно. 18 октября Собрание заседало в Версале, а уже 19-го оно продолжало свою работу в Париже, в епископальном зале, предоставленном архиепископом в распоряжение депутатов. Поток речей, неустанно изливавшийся на Францию со времени созыва Генеральных штатов, не был, таким образом, прерван даже ненадолго. Впрочем, дом архиепископа был избран лишь как временное помещение; перед тем как покинуть Версаль, Собрание послало в Париж комиссию из шести членов³⁷, поручив ей подыскать в столице помещение, удобное для заседаний. Это было далеко не легким делом. Нельзя было и думать о Тюильри, так как там еле-еле смог разместиться двор; Лувр был занят академиями, квартирами артистов, королевской типогра-

фией, Пале-Рояль служил резиденцией герцогу Орлеанскому, Люксембург отстоял слишком далеко от центра города. Вечером 10 октября 1789 года президент Парламента зачитал письмо членов комиссии, уполномоченных найти для Собрания приют в Париже. «Они объехали, — говорится в этом письме, — самые большие здания столицы, но ни одно не показалось им более подходящим, чем Манеж Тюильри. Туда можно поставить те же скамьи³⁸, но галереи, предназначенные для зрителей, не могут вместить свыше пяти или шести сотен человек. Бюро будут размещены в здании Фельянов, а комитеты в доме Канцелярии на Вандомской площади. Члены комиссии пока не могут определить сумму, которую потребует это новое размещение³⁹.

Во время детства Людовика XV у края «ристалища» был выстроен обширный манеж, соприкасавшийся с одной стороны со стеной монастыря Фельянов, а с другой — со стеной террасы. Он предназначался для обучения молодого короля верховой езде. При закладке фундамента этой постройки были срыты остатки акведука, построенного в 1564 году Екатериной Медичи и предназначенного для доставки в Тюильри воды из источников Сен-Клу⁴⁰. С постройкой Манежа исчезла также часть живописного грота из раковин, построенного в этом месте Гастоном Орлеанским для украшения сада⁴¹.

В 1743 году Людовик XV вернулся в Версаль. Так как Манеж был больше ему не нужен, его отдали во владение королевского конюшего, господина де Ля Гериньера, который устроил там школу верховой езды и хлопотал разрешение пристроить к этому зданию конюшни, каретные сараи, седельные склады и кладовые, которых там не доставало⁴². Несколько лет спустя Ля Гериньер уступил свое заведение господину де Круасси, потребовав с него уплаты за постройки, возведенные им вокруг Манежа, которые он оценивал в 8 тысяч ливров.

Школа верховой езды переходила, таким образом, по очереди к нескольким лицам, причем каждый покупатель платил продавцу такую же сумму. Манеж сделался частной собственностью, на которую королевская

казна не имела никаких прав и которая переходила из рук в руки все за те же 8 тысяч ливров. В 1777 году господин Виллемот купил ее за эту сумму у некоего Дайяна; он владел ей и в 1789 году и считал себя полным ее собственником, когда Национальное собрание напомнило ему, что он не имеет никаких прав на имущество, принадлежащее королевской казне.

Господина Виллемота выселили, несмотря на его горячие протесты⁴³, и Манеж принялись обустроить соответственно его новому назначению. Это было необходимо, поскольку Собрание не помещалось в епископском дворце. Депутатов было около восьмисот человек, и многие из них не могли даже сесть. Зал был слишком узок, слишком длинен, там совершенно нельзя было двигаться и едва возможно дышать. Члены Собрания, помещавшиеся у окон, которые приходилось держать открытыми, страдали от сквозняка, а те, которые сидели поодаль, задыхались.

Несколько раз, казалось, трещали стропила, поддерживающие галерею, которая шла вокруг всей залы, и это пугало и производило суматоху. Во время заседания в понедельник, 19 октября, с разных сторон раздавались голоса, требовавшие другого помещения. Наконец, в следующий понедельник, 26-го, случилось несчастье, которого опасались: под тяжестью зрителей рухнули подпорки галерей. Люди, доски, обломки — все это посыпалось на депутатов, помещавшихся под галереями. Один из них, Виар, представитель Лотарингии, оказался тяжело ранен, а трое других получили ушибы. Но все же Учредительное собрание продолжало заседать в здании архиепископства еще десять дней после этого несчастного случая. Лишь в субботу, 7 ноября, президент прочел Собранию письмо архитектора Пари, извещавшего, что новый зал будет готов для заседаний через день, в понедельник. Это сообщение всех обрадовало.

Во время тех девятнадцати дней, что Собрание заседало в доме архиепископства, оно сделало большое дело — постановило, что имущество, принадлежащее церкви, должно быть передано в распоряжение нации. Знаменательно, что это постановление было принято 2 ноября, в день церковного праздника, по предложе-

нию епископа (Талейрана), под председательством адвоката церкви (Камюса) и в жилище высшего церковного сановника Франции.

Это важное решение, давшее в распоряжение национальной казны около 150 миллионов годового дохода, должно было иметь громадные последствия, и Собрание немедленно извлекло из него пользу для себя. Благодаря этому постановлению оно могло расширить помещение Манежа, заняв ставшие национальной собственностью монастыри Фельянов и Капуцинов и поместив в зданиях этих двух орденов большое количество своих учреждений, для которых не нашлось места в Манеже. Мы уже говорили, что оба монастыря выходили на улицу Сент-Оноре: Капуцинский монастырь⁴⁴ имел вид длинного стандартного, лишённого всякого стиля здания с голыми стенами и узкими окнами; наоборот, высокие двери монастыря Фельянов⁴⁵, построенного в 1676 году Франсуа Мансаром*, открывались прямо на Вандомскую площадь. Они были украшены четырьмя колоннами коринфского стиля, между которыми шел барельеф работы Жана Гужона**, который изображал Генриха III, принимающего отца Жана де Ля Баррьера, реформатора ордена. Эта превосходно украшенная стена заканчивалась фронтоном, на котором были изваяны щиты с гербами Франции. Пройдя через двери, посетители входили в широкий красивый двор, левая сторона которого была занята порталом монастырской церкви, возведенным в 1601—1608 годах в том оригинальном промежуточном стиле, который сменил Ренессанс и стал переходом к торжественным колоннадам XVII века⁴⁶.

Монастыри отделялись друг от друга лишь одним, довольно длинным проходом, который начинался в глубине двора Фельянов и скользил между стенами обителей достаточно широкой, но извилистой лентой

* *Франсуа Мансар* (1598—1666) — выдающийся французский архитектор, построивший ряд престижных зданий в Париже и других городах.

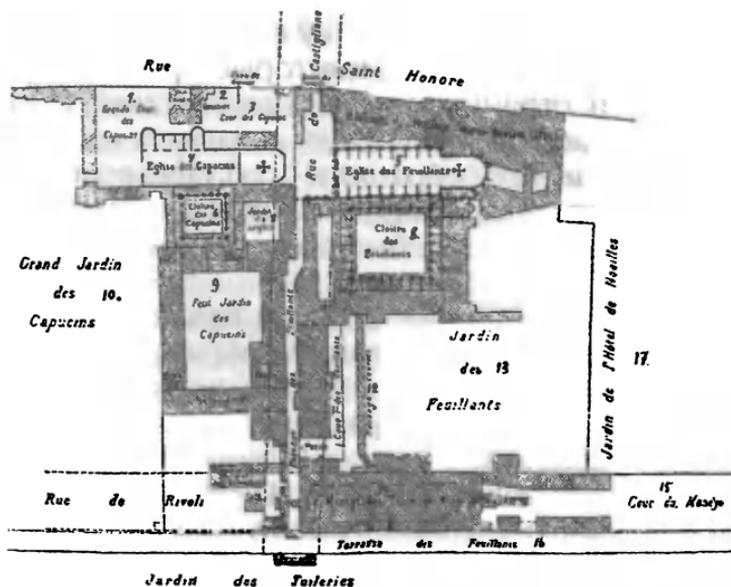
** *Жан Гужон* (1510—1566) — известный французский архитектор эпохи Возрождения.

до решетки, выходящей позади Манежа на террасу сада Тюильри. В конце этого прохода, в 1790 году еще виднелись остатки сделанного из раковин грота Гастона Орлеанского, обращенного в нечто вроде часовни. Этот переулочек был собственностью фельянов, устроивших его ради удобства сообщения и имевших право держать ворота открытыми или закрытыми по своему желанию⁴⁷. В то же время королевская казна взялась поддерживать его за свой счет во время малолетия Людовика XV, который часто ходил слушать обедню в церковь фельянов; с того времени этот переулочек сделался самым употребительным входом в сад Тюильри.

Со времен Людовика XIII публика допускалась в сад беспрепятственно. Когда в 1789 году двор поселился в замке, были установлены некоторые признанные необходимыми ограничения для посетителей сада: до двенадцати часов дня туда стали допускать только членов Национального собрания и особ, снабженных карточками, «образцы которых имеются в сторожевых будках»⁴⁸. С полудня сад был по-прежнему открыт для всех.

Таковы были в общих чертах в начальный период революции окрестности здания, избранного для заседаний Собрания, здания, в котором около четырех лет должен был помещаться законодательный корпус. Многие из депутатов Законодательного собрания, желая находиться вблизи от зала Манежа, поселились в квартале Тюильри: Ламурет и Кутон жили в 1792 году на улице Сент-Оноре, дом 343; Альбит, Базир и Жан Дебри также поселились на этой улице; Биго де Преаме снял квартиру на улице Дофина, в доме, выходящем непосредственно на двор Манежа. Очень многие расположились в отелях, на Мельничном пригорке, на улицах Святой Анны и Воробьиной. Фоше устроился в меблированных комнатах на улице Шабане; Карно и Карно-Фелен, оба из Па-де-Кале, сняли на Малой Карусели помещение в гостинице «Аррас»; Луве жил в доме 13 на набережной Вольтера; Верниго — в гостинице «Амир» на улице Орлеан-Сент-Оноре; Бриссо — на улице Гетри, а Лекинью в «Гостинице Королевы» на улице де Бон.

Почти у всех депутатов, большей частью небогатых, были в городе лишь самые скромные квартирки, настоящим же их жилищем было Собрание, где заседания открывались обычно в девять часов утра и происходили два раза в день. Кроме того, большая работа шла в комиссиях, которых насчитывалось целых тридцать.



Монастыри Капуцинов и Фельянов:

1 — большой двор капуцинов; 2 — кладбище; 3 — двор; 4 — церковь капуцинов; 5—6 — церковь и монастырь капуцинов; 7 — сад; 8 — монастырь фельянов; 9 — маленький сад капуцинов; 10 — большой сад капуцинов; 11 — проход фельянов; 12 — садовая ограда; 13 — сад фельянов; 14 — Манеж; 15 — двор Манежа.

Чтобы разместить громадную массу своих канцелярий, Собрание постепенно завладело строениями фельянов и капуцинов, монастыри которых были в большинстве оставлены монахами уже в начале 1790 года. Собственно, в здании самого Манежа могли поместиться лишь пять канцелярий, а все остальные были размещены в обоих монастырях. В саду Капуцинов даже выстроили деревянные бараки, чтобы поместить там различные учреждения. Архив Собрания занял прекрасную библиотеку фельянов; Сокровищницу патриотических пожертвований поместили в квартире проповедника; географическое бюро — в жилых помещениях; типографии — в трапезной и смежных с ней комнатах⁴⁹. Смотрители зала жили в маленьком саду Капуцинов, близ прохода. Комитеты рассмотрения счетов, гражданского и уголовного законодательства, ассигнаций и монет, государственных долгов, народного образования и так далее занимали антресоли, первый и второй этажи дома Капуцинов. Комиссары-смотрители получили помещение в нижнем этаже главного здания фельянов; Комитет раздела и Национальный комитет поместились в самом монастыре; комитеты морской, коммерции и декретов — в двух дортуарах первого этажа, а флигель послушников отдан был Комитету петиций.

Все эти здания соединялись с залом Манежа посредством дощатых переходов, обтянутых полосатым тиком и похожих на палатки, какими по традиции до сих пор декорируют памятники в дни официальных торжеств. Такого рода крытый переход шел из церкви обители по всему саду Фельянов до двери, проделанной в стене Манежа приблизительно на середине здания. По этому пути чаще всего являлись в зал заседаний; но официальный вход, парадные двери, выходил на «ристалище». С этой стороны находился узкий двор, за которым размещались низкие здания, предназначенные для монастырской гостиницы, гауптвахты главного штаба, гауптвахты для офицеров и национальных гвардейцев. Проход, заставленный рогатками и предназначенный только для пешеходов, шел мимо квартиры сторожа, пристроенной у стены террасы сада Тюиль-

ри. Над главным входом Собрания простирался широкий навес-маркиза, под сенью которого туда подъезжали экипажи.

В зал входили через вестибюль, где помещались две комнаты, служившие бюро; за вестибюлем располагался коридор, устроенный в галерее вокруг всего здания и имевший несколько выходов в зал Собрания. Зал этот был примерно в десять раз больше в ширину, чем в длину; скамьи для депутатов располагались ступенями в семь рядов в форме эллипса. Посередине оставалось пустое пространство, в шутку названное «плешью». На середине длины зала возвышалась кафедра президента — простой стол, покрытый зеленым сукном, на эстраде, у которой за круглым столом сидели избранные Собранием секретари. Напротив, со стороны Фельянов, находилась трибуна оратора.

Известно, что по обычаю, установившемуся с первых дней работы Генеральных штатов, депутаты избрали себе места согласно своим убеждениям направо или налево от кафедры президента. Но в самом начале 1792 года, надеясь улучшить плохую акустику зала, кафедру перенесли на место ораторской трибуны, а трибуну поставили на место, занятое раньше бюро. Это произвело настоящую революцию в Парламенте, так как «правые» очутились на левых скамьях и наоборот. В продолжение некоторого времени эта перемена вносила путаницу в прения и отчеты. Поэтому мало-помалу термины «правые» и «левые» были заменены живописными наименованиями «Гора», «Равнина» и «Болото».

В обоих концах зала на высоте второго этажа были устроены две большие трибуны для публики⁵⁰. Привилегированные зрители занимали ряд лож, расположенных под этими трибунами; здесь были ложа президента, ложа заменяющих депутатов, ложа Парижской коммуны, ложа депутатов других городов, ложа архитектора Собрания и т. д. Кабинет президента занимал две комнаты первого этажа, выходившие окнами в сад Фельянов. С этой же стороны в саду монастыря были возведены два дощатых павильона, где продавались напитки и кофе. Там же, в первом этаже над главным вестибюлем, устроен был ресторан для членов Собрания.

Теперь постараемся представить себе, каков был в 1792 году зал, где заседало Учредительное собрание и где начало свои заседания Законодательное собрание. С утра здесь все оживляется. Сменяется караул: идущий на смену проходит с улицы Дофина, мимо «ристалища», и выстраивается около Манежа, перед гауптвахтой; часовые обмениваются паролем, и ночной караул уходит на место своей стоянки. Двери открываются, и тогда в громадном улье из зданий Капуцинов, Фельянов, Манежа и прилегающих к ним пристроек начинается гул, стихающий лишь поздно вечером. Собираются депутаты, одни с улицы Сент-Оноре и двора Фельянов, другие со стороны «ристалища»; они идут в комитеты, в бюро, в архив, в кабинет президента; они без усталости циркулируют по дощатым переходам, соединяющим все отделы, где непрерывно слышен звонкий гул шагов.

Близ помещения сторожа собирается толпа любопытных, пришедших посмотреть на заседание. Ее сдерживают расставленные здесь загородки. Извозчики беспрестанно подвозят просителей: могущественных некогда аббатов и бывших пенсионеров короля, хлопотущих о возобновлении пособия. Незадолго до девяти часов открывают загородки, толпа бросается к четырем лестницам, ведущим на трибуны, и они мгновенно оказываются заполненными. В зале еще пусто: по «плеши», обширному прямоугольнику, где стоят лишь две большие фаянсовые печи, формой напоминающие разрушенную Бастилию, расхаживают несколько приставов в черных штанах и с серебряными цепями на шее. Мало-помалу крытые зеленым сукном депутатские скамьи заполняются. Докладывают, что явился президент и он поднимается на свою эстраду. Раздается звонок колокольчика, и заседание открывается.

Эти заседания протекают очень бурно: часто в продолжение их бывает много шума и мало дела. Ораторы сменяют друг друга на трибуне, но их еле можно слышать — так длинен зал и шумна публика. По «плеши» расхаживают четыре пристава, тщательно завитых, в черных фраках и низких черных шляпах, с золочеными шпагами на боку. Ежеминутно раздаются их возгласы «Тише!», «По местам!». Депутаты, небрежно

одетые (многие в сапогах с отворотами для верховой езды), заполняют «плешь»: они приходят, уходят, щелкают тросточками по своим сапогам, кашляют, плюются на пол, громко разговаривают и издали выкрикивают вопросы. Напрасно президент звонит в свой колокольчик и, надрывая легкие, взывает: «Тише! Господа, займите ваши места!» Тщетно приставы хлопают в ладоши и тоже кричат: «Тише!» Господа депутаты обращают на них не больше внимания, чем шаловливые школьники, которые прекрасно знают, что старый учитель их не ударит⁵¹. Большую приманку представляет появление у решетки депутатов от департаментов или предместий и патриотов, выставляющих напоказ свои гражданские добродетели.

Однажды члены академического Общества письма поднесли Собранию в виде почетного дара портрет Жан Жака Руссо, сделанный пером, заявив при этом, что «присоединяют свои клятвы к клятвам всех французов и обещают при первом признаке опасности перековать на оружие инструменты своего искусства». В другой раз у решетки появляется аббат Бюрнетт, раздатчик милостыни национальной гвардии. Он подходит в сопровождении женщины, толкающей перед собой двух ошалевших детей. Третьего ребенка она несет на руках. Аббат Бюрнетт громогласно заявляет, что эта женщина — его жена, а ребенок, которого она держит на руках, — плод их любви. Напомнив Собранию о силе чувств, вложенных в людей самой природой, которой он не мог противостоять, проситель продолжает: «Однажды я встретил одного из своих коллег, не принесших присяги. “Несчастный! — сказал мне он. — Что вы сделали?” — “Ребенка, милостивый государь!” И я женился на этой женщине, несмотря на то, что она протестантка, и ее религия несколько не влияет на мою. Или смерть, или моя жена — вот лозунг, который мне внушает и всегда будет внушать природа!» Потом, уже менее торжественно, Бюрнетт продолжал: «Мы оба бедны, оба родились в деревне, и мы пришли умолять вас выплатить мне 330 ливров, которые я истратил во славу религии; я сожалею, что мое положение не позволяет мне принести их в жертву отечеству». Петиция отосла-

на в Комитет ликвидации; аббату устраивают овацию. Он торжественно проходит по всей «плеши», сопровождаемый аплодисментами Собрания и неся на руках «плод своей любви».

Через несколько дней является делегация от Сент-Антуанского предместья; говорящий от лица ее оратор заявляет, что «воинственные и дикие по природе жители их квартала любят лишь оружие и свободу». Затем у решетки появляется старец. Приставы поддерживают его... Трепет волнения пробегает по Собранию — это Латюд!* Он говорит, что уже восемь лет существует лишь на то, что берет займы, что живет в нищете, что сорок два года тюремного заключения сделали его неспособным к работе, и он умоляет, чтобы ему оказали временную помощь.

Потом чрезвычайный депутат от департамента Дрома подводит к решетке двух братьев-близнецов, уже прославившихся своим талантом. Эти два крестьянина, прежде простые пастухи, обтесывают в горах камни и высекают на них человеческие лица и пейзажи. Департамент ходатайствует, чтобы этих двух братьев поручили Давиду для окончания их художественного образования... Это предложение принято.

Но вот приставы Собрания открывают двери решетки, и в залу входят министры; хранитель печатей держит в руке конверт, запечатанный красным сургучом: это письмо короля. Несмотря на то что большинство левых депутатов изображают на лицах полное равнодушие, эта короткая церемония не лишена некоторой торжественности. Президент встает, принимает королевское послание и читает его Собранию. Таков этикет, установленный при вручении сообщений, исходящих от двора.

Когда король лично являлся в Манеж, как это бывало при открытии Законодательного собрания, принятии конституции или других важных событиях, его

* Анри де Латюд по ничтожному поводу был обречен на бессрочное заключение в Бастилии по воле маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XV. См.: *Левандовский А. П.* Жертва режима. В кн.: Белый слон Карла Великого. М., 1993.

кортеж следовал по улицам Карусель, д'Эшель и Сент-Оноре, экипажи и конвой останавливались во дворе Фельянов, и по описанному нами дощатому переходу Людовик XVI, окруженный своими министрами, проходил в зал и занимал кресло справа от президента. Он еще раз, несколько месяцев спустя, войдет в этот зал — но теперь уже павший, лишенный трона и обвиненный в тяжелейших преступлениях. Тогда мы вернемся к нему.

3. 10 августа

Но сначала нам необходимо перенестись во дворец Тюильри, где происходит агония королевской власти. В этот день с раннего утра толпа стекается к дворцу по улице Сен-Никез, по Малой Карусели, через калитку, выходящую на большую галерею вдоль набережной Сены. Толпа нарастает, как прилив, который в конце концов обрушивается на стены Тюильри.

Откуда собралась эта мятежная армия? Неизвестно. Кто ей платил? Кто вел ее? Мы этого не знаем. Иногда достаточно нескольких смутьянов, чтобы увлечь все население; достоверно лишь то, что не все, шедшие в этот день приступом на Тюильри, двинулись туда по доброй воле. Мы можем найти подтверждение этому в свидетельстве одного парижанина по имени Филипп Морис, в то время еще очень юного — ему было шестнадцать лет, — служившего писцом у нотариуса Дени де Вильера, контора которого помещалась на углу улиц Святых Отцов и Гренель⁵². 10 августа в девять часов утра Морис, услышав шум на улице, решил пойти на разведку. Он явился на площадь Красного Креста в ту минуту, когда через нее проходили санкюлоты предместья Сен-Марсо, направлявшиеся в Тюильри. «Эти молодцы, — рассказывает он⁵³, — решили увеличивать свои силы, забирая с собой всех встречных зевак и ротозеев. Они забрали и меня и принудили идти с ними, хотя у меня не было никакого оружия. На мне не было даже шляпы, так как я думал дойти только до кафе на углу площади Красного Креста и улицы Гре-

нель, в двух шагах от конторы нотариуса, где я работал. Вот каким образом я вынужден был стать одним из актеров, или, вернее, зрителей совершившихся в этот день событий.

Мы остановились на мосту Пон-Рояль, отчасти потому, что это был пункт, назначенный той компании, к которой присоединился и я, отчасти же оттого, что все улицы, ведущие к Карусели, были переполнены. Мы простояли там все время осады, начавшейся еще до нашего прихода... Признаюсь по чести, что грохот пушек, к которому примешивались, с одной стороны, вопли окружавших меня людей, с другой — крики несчастных, раненных пулями, которыми осыпали нас швейцарцы, укрывшиеся в комнатах и за каминами замка, произвели на меня, в первый раз в жизни присутствовавшего при подобном зрелище, такое впечатление, что у меня в глазах стало двоиться, или вернее, я вовсе перестал видеть до той минуты, пока победные крики не известили нас, что все было кончено».

Да, все было кончено! Народ торжествовал, поскольку победа досталась ему легко.

Услыхав шум, бушевавший вокруг его дворца, «Людовик XVI прочел молитвы, исповедался у аббата Эбера и стал покорно ждать. Королева, дети и принцесса Елизавета бегали из комнаты в комнату, то к королю, запершемуся со священником, то в кабинет Совета, где собравшиеся министры обсуждали с Редерером способы спасения королевской семьи»⁵⁴.

«В восемь часов муниципальный чиновник* вошел в зал Совета, где находился король с семьей и министрами. Жоли, хранитель печатей, крикнул еще издали, лишь только увидел его: “Ну что, чего они требуют?” — “Свержения короля с престола”, — отвечал чиновник. “Пусть бы уж скорее Собрание утвердило это свержение!” — воскликнул Жоли. “Но что же будет тогда с королем?” — спросила королева чиновника. Он низко поклонился ей и не сказал ни слова в ответ».

Как видим, монархия не оказала никакого сопротивления. Чуть позже королевская семья решила идти в

* Это был Редерер.

Собрание и искать у него защиты и убежища. Это было грустное шествие. Король вел за руку дофина, принцесса Елизавета и совсем еще молоденькая королевская принцесса в сопровождении принцессы де Ламбаль и госпожи де Турзель перешли через сад и направились к Манежу. Многие уже изображали этот крестный путь, и описание его не входит в рамки этой книги. «Я вернусь к вам», — гордо сказала королева, обращаясь к тем, кого она вынуждена была покинуть. «Как быстро опадают листья в этом году!» — печально заметил король, волоча ноги по сухим листьям, облетавшим со старых каштанов.

А вдали слышался глухой шум — он шел со стороны Карусели, где колонна Сент-Антуанского предместья двигалась по улице Сент-Оноре, и с ней ехали телега с порохом и другая телега, нагруженная пушечными ядрами. Уход короля придал храбрости осаждавшим, которые до тех пор еще колебались, и они мгновенно ворвались в ворота. Толпа народа наполнила двор. При виде этого нашествия защитники Тюильри растерялись: у них не было командира, и никто не руководил их действиями. С четверть часа чернь уже наводняла дворец, а ни с той, ни с другой стороны не было еще произведено ни одного выстрела.

Наконец прибыли марсельцы. Командующий ими Фуркье по прозвищу Американец выстроил их вокруг двора перед зданием. Народ кричал: «Долой швейцарцев!» — их заметили в окнах и внизу лестницы. Швейцарцы и национальные гренадеры вместо ответа делают руками и шляпами знаки, приказывающие толпе удалиться.

Далее мы опять передаем слово Филиппу Морису:

«Пока обе стороны обменивались издали оскорбительными жестами и криками, несколько наиболее смелых патриотов подошли к ступеням парадной лестницы, под аркады галереи. При помощи пик с крюками на конце они схватили двух часовых-швейцарцев и под общий хохот обезоружили их. Швейцарцы этого поста под командой капитанов Зюслера и Кастельберга выстроились частью на ступенях галереи, частью на крыльце часовни и дали залп по людям, схватившим

двух их товарищей. Звук этого выстрела послужил сигналом к общему побоищу. Ядра и пули засвистели над дворцом, и завязался бой. Швейцарцы, дворяне, гренадеры, все бывшие в замке люди стреляли сверху и снизу в толпу, отвечавшую пушечными и ружейными залпами. Первый залп со стороны дворца оказался губительным: марсельцы и брестцы понесли большие потери.

В течение часа беспорядочного сражения нельзя было определить, на чьей стороне победа. Но вскоре стало ясно, что побеждают патриоты, более многочисленные, чем слуги короля. Одни швейцарцы еще держались, но их атаковали одновременно и во дворе, и со стороны сада. Потеряв уже большое количество товарищей, эти храбрые солдаты отступили и в числе двухсот человек сгруппировались у галереи, бывшей центром атаки. Они неустанно стреляли, пока не истощился запас патронов. И они все погибли там, уложив более четырехсот патриотов. Когда галерея осталась без защитников, битва была выиграна.

Народ, овладев лестницей, бросился внутрь дворца. Всего за несколько минут толпа наводнила покой и перебила всех швейцарцев, которых встретила на пути. Патриоты рыскали повсюду: они осматривали крыши, коридоры, кладовые, потайные ходы, даже шкафы и убивали всех несчастных, спрятавшихся в этих углах и закоулках. Других выбрасывали живыми в окна и, несмотря на их мольбы, закалывали пиками на террасе и мостовой двора. Около сотни их успели бежать через двор Марсана, но на улице д'Эшель их задержали и убили, нанося удары саблями и пиками. Их обезображенные, обнаженные и изуродованные трупы были свалены кучами, вперемешку с соломой, и оставались выставленными напоказ до следующего дня.

Более сотни слуг Людовика и его семьи, кончая сторожами, швейцарами, мальчишками для услуг, подверглись той же участи. Кровь потоками лилась в покоях и потайных комнатах. Избежали гибели лишь очень немногие из слуг и несколько военных, переодетых в костюмы патриотов или спрятавшихся в трубы ками-

нов, где им пришлось просидеть три дня, чтобы спастись от бешенства победителей»⁵⁵.

Только тогда — увы, слишком поздно! — был получен приказ короля прекратить огонь. Дворец был во власти восставших: чернь, опьяненная победой, которую она приписывала исключительно своей доблести, видит, что последние защитники замка обратились в бегство. Она бросается на лестницу и устремляется в апартаменты первого этажа.

Некоторые историки обходят молчанием разыгравшиеся там сцены, другие, напротив, раздувают их. Роялисты, описывая их, надевают красные очки; другие прикрывают глаза дымчатыми стеклами, затемняящими зрение. Что же касается нас, то мы имеем одну цель: узнать, как все происходило в действительности. Нам известны рассказы лишь двух очевидцев, которым мы можем доверять вполне. Один из них принадлежит все тому же Филиппу Морису, скромному писцу из конторы нотариуса. Он меньше всего интересовался политикой, но случай сделал его участником великих событий, и он в качестве зрителя поделился с нами своими впечатлениями и воспоминаниями. Автор другого рассказа, Мерсье, либерал и республиканец, всем сердцем был на стороне инсургентов, но, как искренний и честный человек, подробно и точно рассказал о событиях революции. Его положение позволяло ему видеть все. Он бегал по всему городу в поисках интересных событий, хвастаясь, что пишет книгу «Новый Париж» *своими ногами* и говорит лишь о том, чему сам был свидетелем... И вот что они оба видели в Тюильри в день 10 августа 1792 года.

Когда битва была выиграна, замок сделался добычей мародеров, съехавшихся туда в течение нескольких дней из разных департаментов. Естественно, они прежде всего устремились в кухни, расположенные в подвальных этажах павильона Флоры. Вначале там разыгралась ужасная сцена — эти тигры схватили несчастного поваренка, не успевшего убежать, затолкали его в котел и поставили в горящую печь. Потом они набросились на съестные припасы. Каждый завладевал тем, что было под рукою; один тащил вертел с дичью, дру-

гой — камбалу, третий — рейнского карпа величиной с себя самого. Погреба, где хранилась вина и ликеры, представляли собой неопишное зрелище. Пол там устилал толстый слой разбитых бутылок, на котором валялись мертвецки пьяные победители вперемешку с трупами побежденных. Мужчины и женщины, захлебываясь в бешеном восторге, собирались целыми сотнями под вестибюлем южной лестницы⁵⁶ и плясали среди потоков вина и крови.

А во дворе, перед дверью, мегеры-санкюлотки жарили в ящиках для угля, вытщенных во время пожара из кордегардии, оторванные конечности убитых при штурме швейцарцев, отплясывая вокруг этих страшных печей дикую сарабанду. Столбы дыма вздымались к небу, а вдали, над Каруселью, под лучами жаркого августовского солнца вился легкий снежный пух — он сыпался из одеял и перин, вспоротых саблями на окнах галереи.

На лестницах стоял гул от шагов грабителей. Они поднимались и спускались, толкая друг друга, носились по коридорам, забирались во все комнаты. Они взломали письменные столы короля, королевы, принцессы Елизаветы, придворных дам. Ассигнации, золото, деньги, часы, драгоценные камни, футляры — сколько сокровищ им внезапно досталось! Ремесленники разгуливали по галерее, нацепив на себя часы с бриллиантовыми цепочками. Другие, профессиональные воры, спарывали галуны с одежды королевских слуг, запускали ловкие руки в ящики гардеробов, растаскивали ткани, белье, столовое серебро, свечи, книги из библиотеки — словом, все вещи, которые можно было унести с собою. Драгоценнейшую фарфоровую вазу разбили для того, чтобы взять ее ручки.

Филипп Морис видел, как разлетелись на тысячи осколков чудные часы, украшавшие консоль. Один слесарь или, по крайней мере, человек, одетый слесарем, приподнял стеклянный колпак, покрывавший эти часы, и долго смотрел на них жадными глазами. Затем, решив, что унести их будет нелегко, он в бешенстве поднял тяжелый кузнечный молот и одним взмахом расплющил колпак, часы и консоль.

Пока происходили подобные сцены, герои-вожаки, рисуясь, приказывали своим помощникам отнести в Собрание большие серебряные канделябры, стоявшие в часовне, серебряные блюда и кошелек, в котором было сто луидоров, чтобы снять с себя даже тень подозрения в расхищении.

Стекла звенели под ударами разбивавших их вдребезги пик. Добрались и до постели королевы, из которой бесстыдное опьянение сделало арену самых мерзких непристойностей. Женщины охотились за несколькими несчастными швейцарцами и слугами, избежавшими гибели и думавшими, что они нашли спасение, спрятавшись в камине или каком-нибудь укромном уголке. Как только они были найдены, их безжалостно убивали.

Мирные граждане, пришедшие в Тюильри из любопытства, желая убедиться, существует ли еще этот дворец, бродили по террасе сада. Их охватило странное оцепенение, и они медленно двигались по усыпанной осколками бутылок террасе. Они, казалось, остолбенели, пораженные тем, что здесь нашли. На каждом шагу им приходилось в ужасе отступать при виде трупов — окровавленных, изуродованных, с перерезанным горлом или распоротым животом, трупов, на лицах которых еще жило выражение ужаса. Более хладнокровные зрители обращали внимание на тучи мух, которых тепло и запах крови привлекли к разверстым ранам и вылезшим из орбит глазам мертвецов. Они показывали друг другу внизу террасы, у самой воды, труп одного из гайдуков, ездивших раньше на запятках кареты королевы. Ужасные мегеры сорвали с него одежду и изуродовали тело самым отвратительным и циничным образом.

В Карусели внимание любопытных было привлечено лежащей близ улицы д'Эшель грудой трупов: они были сложены в поленницу, как бревна на дровяном складе. Со всех концов Парижа стекались толпы любопытных. Теперь, узнав, что битва окончена, парижане хотели взглянуть на ее результаты: чувство патриотизма было удовлетворено, и в свои права вступало любопытство. И над всем этим гулом неслись, перекрывая его, глухие звуки большого органа часовни. Молодой

савояр, стоя на хорах, дул в одну из труб, играя «Dies irae»: казалось, это ангел-истребитель возвещает трубным звуком о Страшном суде⁵⁷.

В Манеже короля и его семью поместили в маленькой ложе за креслом президента. Король вошел в Собрание через двери, выходящие на проход Фельянов; пройдя через крыльцо, ведущее сегодня из сада на террасу напротив улицы Кастильоне, королевская семья покинула Тюильри с тем, чтобы больше туда не возвращаться. Ложа, куда поместили монарха и его близких, была величиной в девять-десять квадратных футов. Она находилась справа от кресла президента и отделялась от зала тонкими железными прутьями. Входили в нее из глубины коридора, проходя при этом через маленький кабинетик⁵⁸. Это было единственным местом, куда королевское семейство могло удаляться во время заседаний, и там оно провело целых три дня.

10 августа семья оставалась в Собрании с 9 часов утра до 10 вечера. В этом помещении с тонкими стенами слышны были все крики и шум мятежа. Сначала услышали ружейные выстрелы, за которыми последовала глубокая тишина. Затем, около половины девятого, раздался залп, от которого задрожали окна в зале... Думали, что ядра проносятся над Манежем... Началась паника, но ее скоро успокоили. Со стороны Фельянов неслись рев толпы: депутаты волновались, одни клялись умереть на своих местах, другие старались внести успокоение...

Людовик XVI держал в руке большой лорнет и наводил его то на президента, то на других членов Собрания. Королева была страшно бледна, но лицо ее ничем не выдавало волнения. Королевская принцесса держалась совершенно так же, как и она. Дофин вел себя соответственно своему возрасту; он, казалось, был изумлен, что находится здесь, и не понимал, почему и зачем его сюда привели. Что же касается принцессы Елизаветы, то она плакала навзрыд. Но ни ее слезы, ни трагическое положение этой несчастной семьи не могли смягчить черни, собравшейся на трибунах, и оттуда, как и с

* «День гнева» — начальные слова католической зауспокойной мессы, ставшие ее названием.

улиц, на королевское семейство сыпались насмешки, угрозы и оскорбления.

В десять часов вечера Людовика отвели в монастырь Фельянов, в помещение, занимаемое там архитектором Собрания. Там, на матрасах, брошенных на пол, король, его жена, дети и сестра смогли отдохнуть. Вместо ночного колпака Людовику служила салфетка, поскольку, уходя из Тюильри, они не успели захватить никаких туалетных принадлежностей. Принц де Пуа, герцог де Шуазель, господа де Бриге, де Огель и Обье стерегли королевское семейство в первой из четырех комнат, где оно было заключено.

На другой день (в субботу 11 августа) им опять пришлось вернуться в Собрание, в ложу писца. Заседание началось довольно мирно, но в полдень со двора Манежа в зал Собрания стали доноситься буйные крики; им в ответ раздались вопли из прохода Фельянов. Бешеное сборище требовало смерти швейцарцев, укрывшихся в монастыре. Депутат Камбон, инспектор зала, испуганный грозящей королю опасностью, предупредил его, что в случае прорыва толпы в зал со стороны прохода Фельянов король может через черный ход бежать во двор Манежа, где он окажется в относительной безопасности.

Когда настал вечер, королевскую семью снова отвели в помещение, прилегавшее к Комитету надзора, где они находились накануне. Народ потребовал замены лиц, составлявших стражу короля: толпа заметила, что они были слишком внимательны и услужливы. В итоге Комитет решил, что «эти господа» сегодня же вечером должны покинуть короля. Ему сказали, что этого требует как его собственная безопасность, так и безопасность его друзей. Прощаясь с ними, Людовик обнял их и велел им поцеловать его детей. Уходя, они выложили на стол все золото, бывшее в их кошельках, и спаслись по потайной лестнице. Им посчастливилось сделать это вовремя и не попасть в руки черни.

Утром 12-го король и его семья снова вернулись в ложу писца и весь вечер оставались на заседании; в эту конуру им подали обед⁵⁹. Вечером их отвели в то же помещение⁶⁰, что и накануне, но на этот раз они были там

одни — без стражи, свидетелей, друзей и слуг⁶¹. Наконец 13 августа этой агонии был положен конец: королевскую семью заключили в Тампль. Карета, в которую их посадили, выехала под вечер из высоких ворот Фельянов и под громкие крики «браво» и шум толпы направилась по Вандомской площади к бульварам.

Людовику XVI суждено было еще раз увидеть Манеж при обстоятельствах еще более трагических*. Кто бы мог 11 декабря узнать в нем короля, говорившего в этом зале как повелитель? Кто бы мог узнать его в сумерках этого дождливого дня, «все еще полного, но полнотой болезненной и бледной»? Он не брился три дня (накануне у него отобрали ножницы и бритву). Четыре месяца пробыл он в заключении, и теперь его движения были неуверенны и неловки, как движения выздоравливающего, в первый раз выходящего из комнаты. Близорукость его, усилившаяся от тюремного заключения, еще более вредила его походке.

Страшно сказать, хотя Шометт рассказывал об этом с грубой бесцеремонностью, — в Тюильри, откуда его предки повелевали миром, Людовик XVI испытал настоящий голод! «При выходе из Манежа после допроса его отвели в зал совещаний; так как было около пяти часов, мэр спросил у него, не хочет ли он чего-нибудь поесть. Он отказался. Но минутой спустя, увидав, что один гренадер вынул из кармана кусок хлеба и дал половину его Шометту, Людовик подошел к этому последнему, чтобы попросить у него кусочек. Шометт отстранился от него, говоря: «Скажите громко, чего вы хотите?» — «Я прошу у вас кусок вашего хлеба», — повторил Капет». «Охотно, — сказал Шометт, — возьмите часть этого завтрака спартанца. Если бы у меня были какие-нибудь овощи, я бы тоже отдал вам половину». Спустились во двор, Людовик сел в карету и съел только корку от своего хлеба. Не зная, куда ему девать мякиш, он обратился к сидевшему рядом с ним прокурору, и тот выбросил мякиш в окно. «Ах! — сказал Капет. —

* Суд над королем продолжался с 3 декабря 1792-го по 17 января 1793 года. 21 января Людовик XVI был казнен по приговору Конвента.

** Такую фамилию дали Людовику XVI после его низложения.

Не следует бросать так хлеб, в особенности когда его мало!” — “А почему вы знаете, что его мало?” — спросил Шометт. — “Потому что от хлеба, который я ем, немного припахивает глиной!” После некоторого молчания прокурор Коммуны сказал: “Моя бабушка всегда повторяла мне: мальчик, ты не должен выбрасывать хлеб, ведь ты не можешь сам сделать даже маленького его кусочка”. — “Господин Шометт, — заметил Людовик Капет, — по-видимому, бабушка ваша была очень мудрой женщиной”».

Этот *спартанец* Шометт, предлагающий королю половину овощей, которых у него не было, всегда казался мне необычайно комичным. Но много ли найдется в истории сцен, столь же трагических, как эта? *«Я прошу у вас кусок вашего хлеба»*. Эти слова, сказанные в Тюильри потомком Людовика XIV, способны пробудить жалость в самом равнодушном сердце.

4. Конвент в Тюильри

Лишь 12 августа замок был вполне очищен и двери его заперты. Трупы швейцарцев, подобранные в разных местах двора и сада, сложили на большие телеги, покрыли соломой и отвезли для погребения на участок, который Коммуна города Парижа только что приобрела у бывшего монастыря Вилль-Эвек. Таким образом состоялось открытие этого кладбища, которому суждено было полгода спустя принять останки короля. Оно было названо кладбищем Магдалины по имени церкви, находящейся поблизости.

Когда 13 августа Людовик XVI покинул здание Фельянов и был переведен в Тампль, а народу было внушено, что он может теперь почтить на лаврах, явилась мысль использовать пустые апартаменты дворца, но Законодательное собрание было в агонии и ничего не решало. Кроме того, среди публики ходили разные легенды; говорили о сокровищах, зарытых в подземельях, о складах оружия, запрятанных в погребах, о жертвах, брошенных в подземных темницах... Можно составить целый том или, вернее, сто томов, если собрать всю

ложь, которую во время революции преподносили парижанам. Каждый день газеты приносили сенсационные известия, вроде следующего: «Входящих во дворец (Тюильри) всюду сопровождает собака, которая с 10 августа не отстаёт от них и бросается на каждую дверь, как бы разыскивая своего хозяина»⁶².

Эта собака не произвела большого эффекта, и тогда придумали другое:

«С некоторых пор в Тюильри из-под апартаментов госпожи Турзель доносятся жалобные стоны: одна женщина, услышав их, упала в обморок. В этом месте делают раскопки, но пока ещё ничего не открыли»⁶³.

Кое-что открыл депутат Ролан: по доносу некоего слесаря по имени Гамен он нашёл *железный шкаф*^{*}; дело это достаточно известно, и мы не будем останавливаться на нём. Заметим лишь, что этот знаменитый шкаф был не чем иным, как простой дырой, скрытой за деревянной перегородкой маленького прохода, который вел к алькову короля. Когда раскрыли двери перегородки, то обнаружилась железная дверь величиной приблизительно в полтора фута, замыкавшаяся на ключ и находившаяся на высоте четырех футов над полом. За этой дверью скрывалось маленькое углубление в стене. Тот, кто устраивал этот тайник, не постарался придать ему какую бы то ни было форму: это была просто неровная шероховатая дыра глубиной в два фута; диаметр ее у входа был дюймов пятнадцать и затем постепенно сужался. Говорили, что лакей по имени Дюрей ночью выносил в салфетке мусор, образовавшийся при устройстве тайника, и бросал его в реку. Ему пришлось совершить шесть таких путешествий.

Тем временем Законодательное собрание, видя, что его ждет неминуемая смерть, решилось на самоубийство. 21 сентября** новые депутаты, прежде чем явиться в Манеж, собрались в большом зале швейцарцев⁶⁴, в

* В котором король хранил секретные документы.

** В этот день началась работа нового органа законодательной власти — Национального конвента из 760 депутатов. Позже 21 сентября было объявлено первым днем новой эры — праздником Республики.

первом этаже павильона Часов. Таким образом, Конвент вступил во владение бывшим королевским жилищем. 14 сентября министр внутренних дел послал в Собрание планы и сметы, составленные гражданином Виньоном и касающиеся построек и переделок, какие следовало сделать в Тюильри, в зале Машин, чтобы 1 ноября он был готов к приему Национального конвента. Мы не знаем, вследствие какой интриги Виньона, проект которого был принят, заменили архитектором Жизором. Во всяком случае, именно этот последний окончил работы, но отнюдь не к первому ноября. Конвент переехал сюда из Манежа лишь 9 мая 1793 года.

Первым делом из дворца вывезли все драгоценные произведения искусства, находившиеся в нем. По словам Русселя д'Эпиналя, в Тюильри нашли «денег, ассигнаций и золотых вещей на сумму приблизительно в 1 миллион 500 тысяч ливров; драгоценности были оценены в 3 840 158 ливров; фарфор и стенные часы в 900 тысяч; кружева — в 1 миллион; книги пяти библиотек, географические карты, гравюры — в 30 тысяч; упряжь, седла, экипажи, сани — в 1 миллион 500 тысяч; мебель — в 1 миллион 200 тысяч; белье — в 300 тысяч». Тот же хроникер утверждает, что в день 10 августа было украдено или расхищено вещей на сумму около одного миллиона и разбито приблизительно на такую же сумму. Из этого он заключает, что в замке было драгоценностей и денег на 12—13 миллионов ливров. Куда все это делось? Это тайна. Часть вещей была продана, но вскоре продажу прекратили под предлогом, что вещи, мебель и белье должны быть сохранены для нужд комитетов Конвента. Да и продажа была не из прибыльных: например, платья короля проданы были за цену просто смешную. Каждый костюм гладкого сукна с такими же панталонами пошел за 80—100 ливров; расшитые наряды уступались еще дешевле, так как находилось мало желающих их купить. За 110 ливров продали платье с вышивкой в виде павлиньих хвостов, стоившее 15 тысяч ливров, а за 120 ливров отдали чудный костюм, вышитый мелкими цветочками, за который король заплатил 30 тысяч ливров. Все расшитые платья скупил один любитель, оставшийся неиз-

вестным. Гардероб королевы и принцессы Елизаветы распродался не на много удачнее.

В это время Жизор принялся за работу. Я предполагаю, хотя мне не удалось с точностью это установить, что помощником Жизора был один только что окончивший учебу молодой человек по имени Персье*. Этот великий архитектор времен Наполеона и Луи Филиппа начал, если это верно, свою карьеру с разрушения того самого Тюильри, который ему впоследствии пришлось перестраивать заново.

Работа продвигалась медленно: не хватало денег. Жизор не пользовался авторитетом. Между ним и комиссарами-инспекторами Конвента шла ежедневная переписка; ему неизменно писали одно: «поторопитесь». Архитектор извиняется за промедление, жалуется на рабочих, теряющих время на прогулки по Карусели, чтобы поглазеть на телеги, везущие осужденных на гильотину⁶⁵. У нас имеются счета, по которым поденно платили каменщикам, и среди имен рабочих встречаются такие, о которых стоит упомянуть: *Любовник, Свобода, Готовый выжить, Кроткий, Беспечальный* и т. п. Еще одна подробность: накануне и в самый день 21 января 1793 года, как и в течение трех следующих дней, никаких работ не проводилось⁶⁶. Между тем задача была нелегкой. Надо было привести в надлежащий вид всю южную половину замка, совершенно перестроить северную половину, переделать крыши, каминь, стропила, убрать бараки, сгоревшие 10 августа, замостить двор, подготовить к новому назначению все дома Карусели.

Наконец в последних числах марта главные работы были закончены и во дворце разместился Комитет общественной обороны, но ему не хватало мебели, сильно убывшей от распродажи и непрерывного расхищения. Хранитель мебели, несмотря на все свои старания, смог удовлетворить всего восемь комитетов, а их было двадцать восемь! Забрали мебель из Версаля, Трианона, Фонтенбло. Список вытребованных вещей довольно

* Шарль Персье (1764—1838) — ведущий архитектор эпохи Первой империи, представитель стиля ампир.

курьезен: в нем упоминается о 49 креслах, 1439 стульях, 192 скамейках, 416 парах занавесей из бумажного полотна, 88 письменных столах, 96 приборах для отопления (таганы для углей и т. п.), 96 соломенных стульях. Комитеты потребовали также 600 пар подсвечников, тысячу стульев мягких и соломенных, 300 обычных и письменных столов, 50 подсвечников с абажурами, 200 пар щипцов для свечей, 100 маленьких письменных столиков, 100 пар белых полотняных занавесей, 4 дюжины кресел в форме кабриолета, крытых утрехтским бархатом, 50 ореховых письменных столов и т. п.⁶⁷

Это перечисление дает лишь слабое понятие о переселении громадного учреждения парламента, занимавшего Манеж и два больших монастыря Фельянов и Капуцинов. В ночь с 9 на 10 мая 1793 года целое полчище служащих и рабочих переносило из прежнего на новое место чудовищное количество бумаг, накопившихся с первых дней работы Генеральных штатов. Эта ночь заслуживала внимания художника — картина вышла бы живописная, но никто не подумал сделать хотя бы набросок. 9 мая, в конце дня, председатель известил, что следующее заседание будет происходить уже в новом зале, в Тюильри. Журналы того времени упоминают лишь о том, что на этом первом заседании один член собрания внес предложение о перемещении под стены дворца с площади Присоединения (Реюньон)⁶⁸ машины, служащей для исполнения приговоров Революционного трибунала. Предложение это было принято, но Собрание постановило, что муниципалитет города Парижа должен избрать другое место для совершения казней⁶⁹.

Кажется, какая-то тайна мешает нескромному любопытству историков проникнуть в этот древний замок, бывший жилищем наших королей и приютом наших революционеров. С трудом можно поверить, что не существует планов апартаментов Тюильри, по крайней мере в эпоху Конвента. Я тщетно пересматривал все изображения, хранящиеся в больших архивах Кабинета эстампов, Хранилища мебели, Городской библиотеки, Палаты депутатов, надеясь отыскать в архивах точные указания на принадлежность внутренних покоев

дворца, превращенного в здание парламента, но вскоре мне пришлось убедиться, что планы, составленные Жизором, никогда не были переданы в общественные хранилища. Что с ними стало? Уверяют, что много документов этого рода, оставшихся в замке, было сожжено в мае 1871 года. Говорят, что император собрал в комнате, смежной с его рабочим кабинетом, большое количество исторических планов Тюильри; он часто заглядывал в них, собираясь окончательно реставрировать дворец. Планы эти были там забыты и погибли вместе с многими другими ценностями во время пожара, зажженного по приказанию Коммуны. В результате за неимением общего плана, позволяющего восстановить расположение залов Национального конвента, мне пришлось собирать по мелочам данные, заключенные в бесконечных счетах подрядчиков, которым были поручены работы по переделке замка. Это был большой и неблагодарный труд, давший очень скромные результаты. Целые тома счетов гражданина Руайе, скульптора, гражданина Ганье, живописца и бумажного фабриканта, гражданина Лемаршана, столяра, гражданина Баллю, плотника, и гражданина Латайля, каменщика⁷⁰, дали мне каждый свою часть сведений, из которых я пытался составить одно целое. Получилось нечто несовершенное, но до сих пор это единственная попытка описания того, чем был дворец Тюильри в самую бурную эпоху своего существования. Я говорю это для того, чтобы заранее извиниться за некоторые мелочные подробности моего описания.

Архитектору Жизору, сменившему своего коллегу Виньона в деле перестройки замка, было предписано устроить все быстро и дешево. Декретом от 14 сентября 1792 года в его распоряжение было предоставлено 300 тысяч ливров. В январе 1793 года сумма эта была удвоена, и ему разрешили употреблять деньги, вырученные от продажи «материалов», предполагая, что они достигнут суммы 100 тысяч ливров. Надо заметить, что в числе этих материалов были дивные деревянные изделия, стальные рамы, мраморные скульптуры, карнизы из золоченой бронзы, сохранившиеся большей частью со времен Людовика XIV и еще украшавшие за-

лы в 1792 году. Апартаменты, как мы уже говорили, в 1789 году находились в самом плачевном состоянии. Когда над ними пронеслась буря 10 августа, они, без сомнения, пострадали еще больше, и все же их пышные декоративные украшения устояли. Революция, нагнав в жилище Людовика XVI, больше интересовалась личными комнатами, шкафами и предполагаемыми тайниками, чем большими приемными залами⁷¹. С другой стороны, на немногих сохранившихся гравюрах, изображающих внутренние покои Тюильри во время пребывания там Конвента, они представлены совершенно опустошенными, лишенными всяких украшений и оклеенными обоями; из этого мы вправе заключить, что архитектор продал с аукциона все украшения и художественное убранство бесчисленных салонов. Подобная профанация произошла и в Версале, когда Луи Филиппу пришлось в голову *реставрировать* дворец и заменить картинами по три франка за метр и сусальной позолотой тамошние чудеса декоративного искусства, которые также исчезли неведомо куда.

Опустошая таким образом залы Тюильри, революционеры одновременно занялись украшением его внешнего вида. Они снесли стену, ограждавшую главный двор со стороны Карусели, а также лавчонки и кордегардию, отчасти выгоревшую во время пожара 10 августа. Из Рамбуэе доставили пять решеток и окружили ими двор, называвшийся ранее Королевским⁷², засадив его молодыми кленовыми и каштановыми деревьями, взятыми из питомников Версаля. Внешний вид дворца остался без изменений; удовлетвоались тем, что крупными буквами надписали на фронтоне трех павильонов новые названия: *Единство* вместо Часов, *Свобода* вместо Марсана и *Равенство* вместо Флоры. Кроме того, на вершине павильона Единства водрузили большой фригийский колпак из ярко-красной саржи, надетый на железный каркас высотой шесть футов и окружностью восемь с половиной. Все это увенчивалось трехцветным знаменем длиной 33 фута, нашитым на раму⁷³.

Большие двери дворца, разрушенные ядрами мятежников 10 августа, были заменены двухстворчатой две-

рю из голландского дуба, украшенной восемью львиными головами⁷⁴. Через нее входили в вестибюль с колоннами, который надо было пройти, чтобы попасть в Национальный сад. Направо из этого вестибюля шла большая лестница, которую храбрые швейцарские солдаты оросили своей кровью. Широкие ступени этой эффектной лестницы доходили до середины второго этажа, затем она разделялась надвое и вела в большие апартаменты. На первой площадке, на уровне антресолей, находилась высокая дверь бывшей часовни, отделявшейся широкой оградой от маленького салона. Непосредственно за ним шел зал Свободы. В глубине этого зала, как раз напротив лестницы, была дверь, которая вела в зал заседаний. Таким образом, все эти комнаты находились выше первого этажа, так как они были на уровне первой площадки лестницы. Мы особенно на этом настаиваем, поскольку из этого видно, какой необычайной они были высоты. Окна их были высокими, как в церквях, свет падал сверху, и ни из одной из этих комнат нельзя было видеть сад или двор.

Перестройка этих комнат была самой скромной — удовольствовались тем, что отбили молотом гербовые лилии, украшавшие вперемешку с солнечными дисками железные перила лестницы. Гражданин Роже, скульптор, получил плату в 5 ливров за то, что «разрушил корону Франции и гербовые лилии в 4 дюйма высотой, сделал из них подставки и щиты и переделал находившийся на фризе королевский жезл в пику⁷⁵. В деле украшения лестницы ограничились этими мудрыми усилиями.

В часовне сохранился пол из белых и черных мраморных плит. Она освещалась двенадцатью окнами, шесть из которых выходили на Карусель и шесть в сад. От карниза потолка до верха окон, то есть приблизительно до высоты трех метров над уровнем пола, стены часовни были окрашены под гранит, а ниже, до самого пола — под порфир. Чтобы оживить однообразие этой экономной отделки, гражданин Дуайен, в то время уже известный художник, придумал поместить на этом темном фоне гипсовые венки из дубовых листьев. Четыре большие хрустальные люстры спускались с по-

толка. По углам поместили четыре фаянсовые печи, а вдоль стен расставили скамьи, крытые малиновым бархатом. Маленькая комната за часовней, служившая раньше ризницей, была отделана точно так же.

Пройдя вестибюль, входили в ту часть дворца, которая более ста лет была знаменитым Залом машин. Здесь все пришлось устраивать заново. Помещавшиеся здесь в течение XVIII века различные театры нуждались для своих машин в подземных постройках, так что, когда из зала убрали ложи, сцену и скамьи, то оказалось, что пол ее на 24 фута ниже уровня двора Карусели⁷⁶. По этому можно судить, какая предстояла здесь работа. У архитектора Жизора было два выхода: или поместить зал заседаний в этой медвежьей берлоге, куда надо было бы спускаться по темным лестницам, или же засыпать всю яму, что требовало громадного труда, а главное — времени и денег, которых у него не было. Жизор остановился на промежуточном способе. При помощи свай, укрепленных на широких каменных блоках, он настлал пол на всем протяжении Зала машин на уровне бывшей часовни; таким образом, вся северная часть замка, начиная с центрального павильона и кончая павильоном Марсана, оказалась на высоте антресолей первого этажа.

В этом обширном прямоугольнике, следовавшем за описанными нами часовней и вестибюлем, архитектор устроил зал Свободы и зал Собраний. Четыре окна первого из них выходили на Карусель, а посередине возвышалась статуя Свободы, видимая из всей анфилады комнат и с лестницы, начиная с самых первых ее ступеней. От этой статуи и произошло название зала. Богиня была изображена сидящей и опирающейся одной рукой на земной шар, а в другой руке она держала *«характерный для нее колтак»*. Пьедестал ее был окрашен в цвет порфира; на нем бронзовыми буквами написано было слово «Свобода», окруженное символическим орнаментом из лавровых и дубовых венков. Эту статую высотой в десять метров изваял гражданин Дюпаскье, бывший пенсионер Французской академии в Риме, по наброску, сделанному Жизором. Фигуру богини вылепили из гипса, затем на нее надели тунику и

плащ из настоящего полотна и все это окрасили в цвет старой бронзы.

Барер, в своих записках слагающий себе самому панегирик и прославляющий то счастливое влияние, которое он, по его мнению, имел на искусство времен революции, рассказывает следующий довольно странный анекдот. «Я знал, — говорит он, — что у знаменитого скульптора Гудона* нет работы, что он нуждается в средствах и его мастерская погибает. Я пошел посмотреть его работы. Среди начатых произведений, которых революция не позволяла ему закончить, я увидел прекрасную статую белого мрамора, изображавшую святую Евстахию; она предназначалась для церкви Инвалидов. «Окончите эту статую, — сказал я ему, — дайте ей атрибуты, характеризующие свободу, и Комитет** сейчас же купит ее у вас, чтобы поставить в первом зале, через который надо проходить в зал Собрания». Гудон посмеялся над моим проектом, но, тем не менее, послушался; ему заплатили и статую поставили в упомянутом зале, названном залом Свободы. Гудон еще жив и может подтвердить этот факт». И все же относительно этого факта, как и во многих других случаях, Барер ошибается. Счет, по которому гражданину Дюпаскье было уплачено за статую Свободы, совершенно опровергает пикантную историю о том, как изображение святой превратилось в статую республиканской богини⁷⁷.

Стены зала Свободы были окрашены в те же цвета, что и в предыдущих залах. Так же, как и они, он был уставлен скамьями и с потолка его спускались четыре люстры. Широкая круглая арка, опирающаяся на две тяжелые колонны «стиля Пестума», отделяла эту комнату от узкого вестибюля, где находилась дверь в зал заседаний. На этой двери из драгоценного дерева наборной работы⁷⁸ висела широкая портьера зеленого сукна, подобранная шнурами с кистями красного цвета⁷⁹.

Зал заседаний, куда мы, наконец, входим, занимал прямоугольник в 130 футов длиной и 45 футов шири-

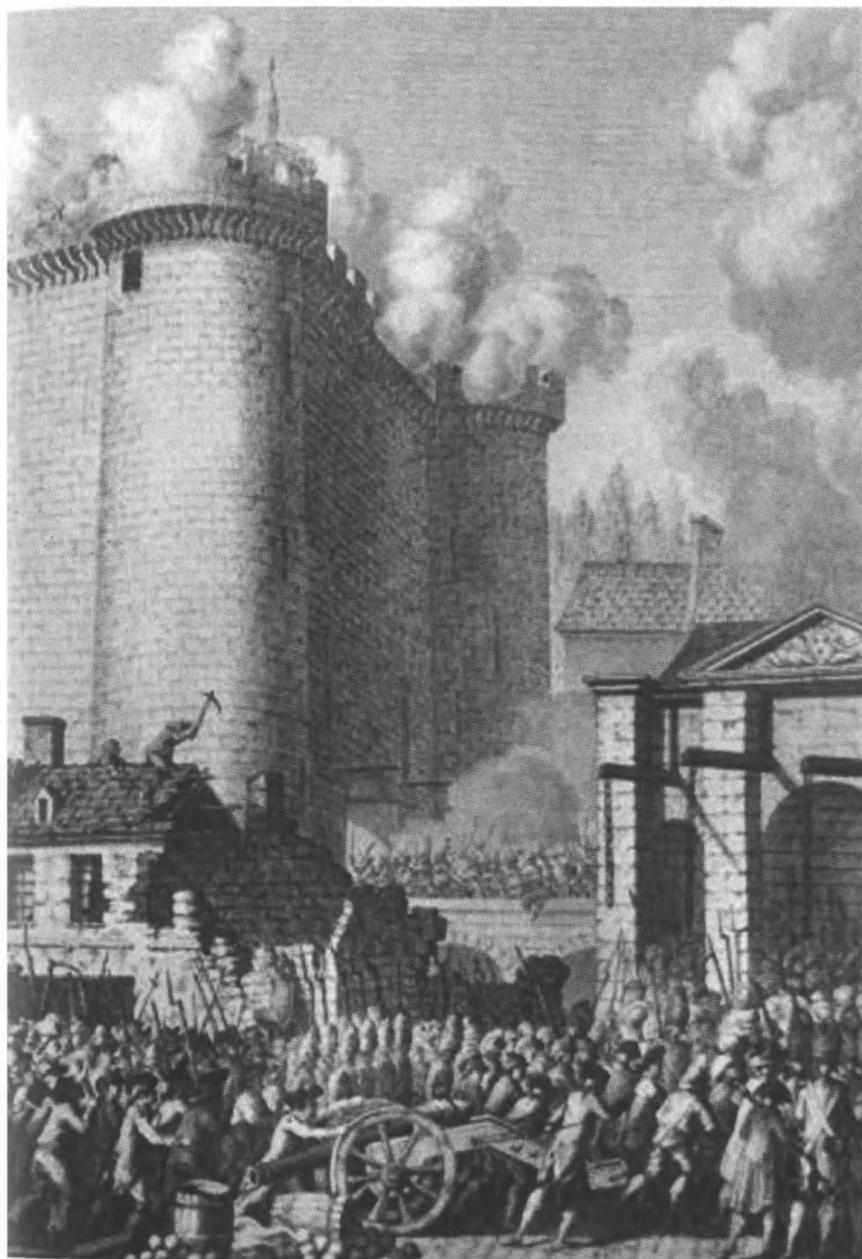
* Жан Антуан Гудон (1741—1828) — выдающийся скульптор, прекрасно передававший духовную атмосферу своей эпохи.

** Имеется в виду Комитет общественного спасения.

ной. Высота его была приблизительно 60 футов. Вот описание его, сделанное журналистом той эпохи⁸⁰: «Амфитеатр, где заседают депутаты, занимает всю левую от входа сторону зала. Он представляет собой десять рядов скамеек, идущих лестницей. Его форму нельзя назвать ни полукругом, ни полуэллипсом; это фигура, очерченная в центре прямыми линиями, закругляющимися по краям. Помещение было слишком узким, чтобы можно было придать этому амфитеатру более правильную и удобную форму. Четыре столба, стоящие с каждой стороны, страшно стеснили зал: архитектор Жизор, по планам которого производилась эта постройка, нашел их необходимыми для поддержки громадной кровли здания. Архитектор Виньон счел эти столбы бесполезными и предполагал, уничтожив их, придать этому залу более величественную и удобную форму, но его планы не были приняты.

Напротив этого длинного и широкого амфитеатра, в центре боковой стены зала, возвышается деревянное сооружение; на нем помещаются кафедра президента, ораторская трибуна, столы секретарей и канцелярских служащих. Таким образом, президент, занимающий самую возвышенную часть эстрады, находится выше трибуны, которая стоит перед его кафедрой и куда ведут две лестницы по бокам. Две другие лестницы, параллельные первым, но дальше отстоящие друг от друга, ведут к секретарским бюро, расположенным по бокам кафедры президента. Это сооружение самого изысканного вкуса. По темно-зеленому фону идут орнаменты желтого цвета с капителью под бронзу и тремя полосами бледного порфира. Со всех сторон зала прекрасно видны и президент, и оратор.

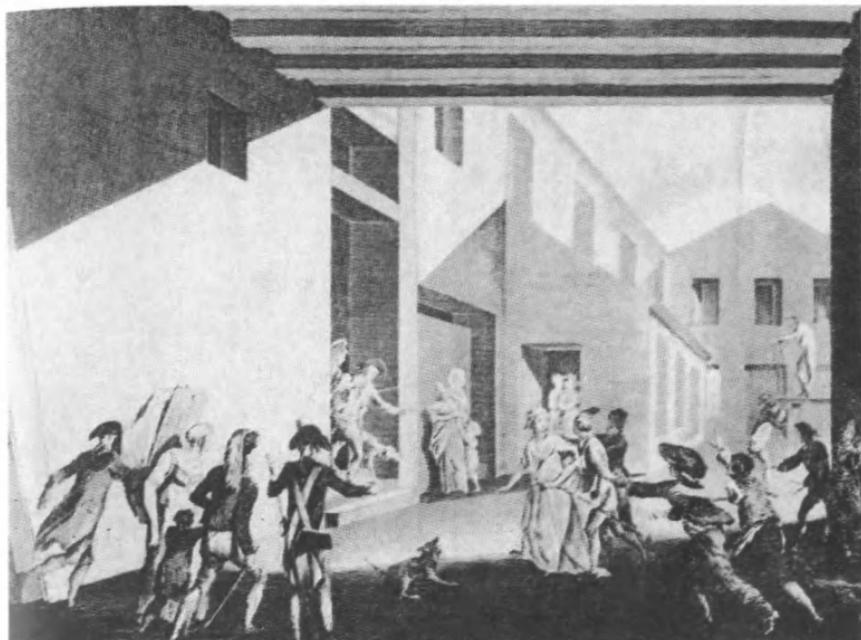
Две боковые стороны зала представляют собой каждая пять довольно высоких ниш; в их углублениях⁸¹ устроены два ряда трибун для публики, а между ними находятся ложи журналистов. На обоих концах зала возвышаются широкие арки, под которыми видны двухэтажные, идущие амфитеатром места для публики. Более тысячи четырехсот зрителей могут поместиться здесь, частью в четырех амфитеатрах на концах зала,



Взятие Бастилии — начало революции в Париже.



Максими́льен Робеспьер.



Арест Сесиль Рено, покушавшейся на Робеспьера.
На гравюре времен революции изображен внутренний двор
дома столяра Дюпле, где жил Неподкупный.

Дом Робеспьера в Аррасе.





Антуан Сен-Жюст.



Элеонора Дюпле —
невеста Робеспьера.

Вожди якобинцев — Робеспьер, Дантон и Марат. *Картина А. Люде.*





Праздник в честь Верховного существа на Марсовом поле в Париже 8 июня 1794 года. Гравюра с рисунка А. Монне.

Переворот Девятого термидора. Гравюра с рисунка Ш. Барбье.





Король Франции Людовик XVI. Картина А. Кайе.

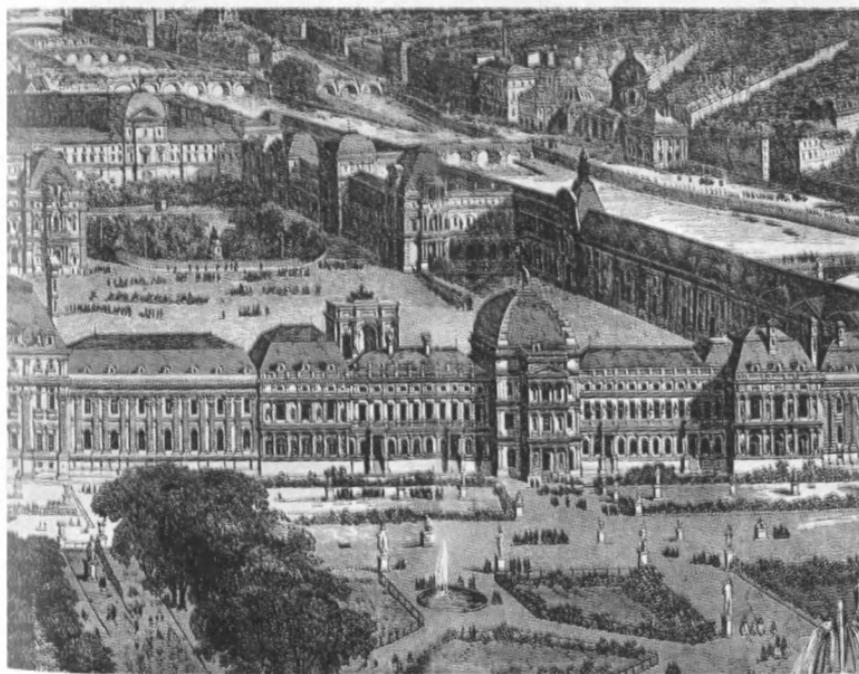


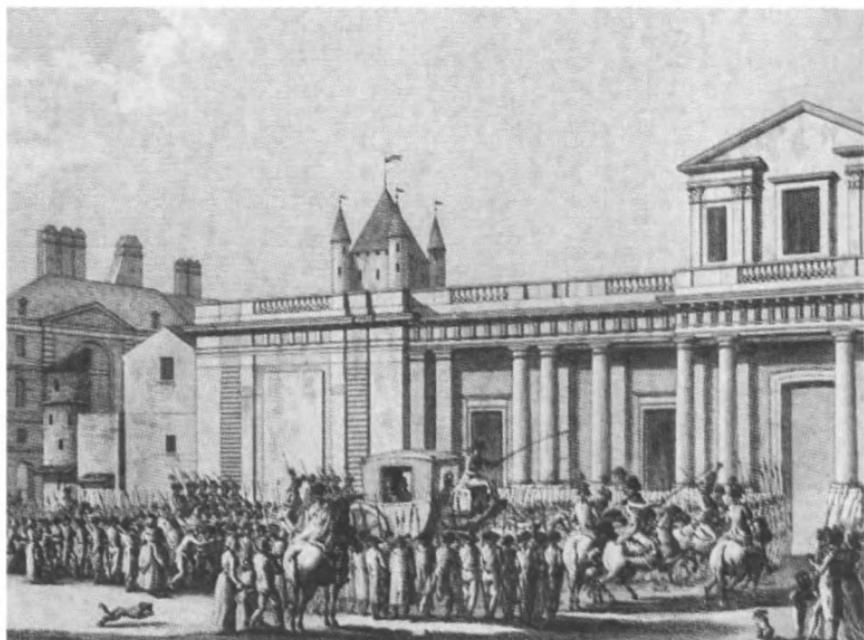
Королева Мария Антуанетта.



Дофин Луи Шарль —
несостоявшийся Людовик XVII.

Вид дворца Тюильри.





Королевское семейство покидает Тюильри.

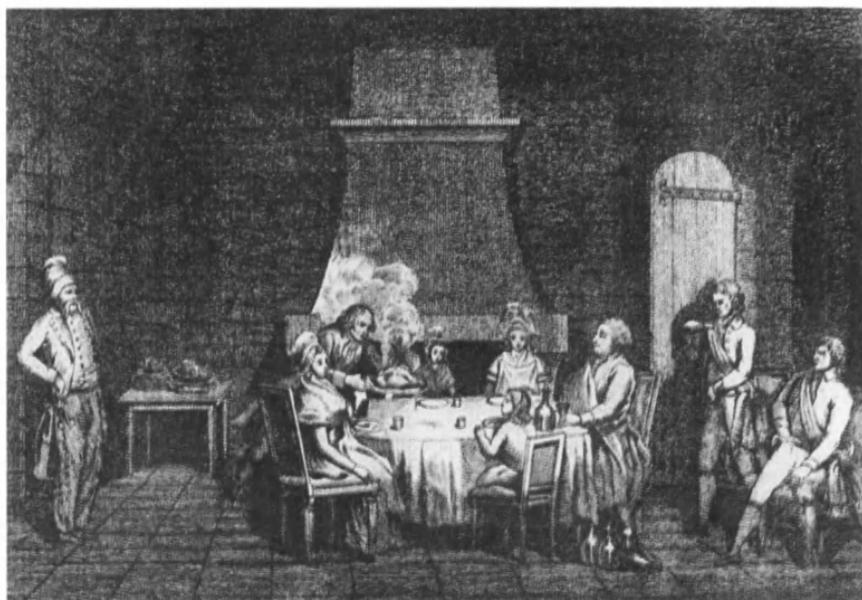
Штурм восставшими дворца Тюильри 10 августа 1792 года.

Картина Ж. Дюплесси-Берто.





Людовик XVI в плену у санкюлотов после Вареннского бегства в июне 1791 года.



Скучный обед короля и его семьи в замке Тампль.

Заседание Конвента во дворце Тюильри.

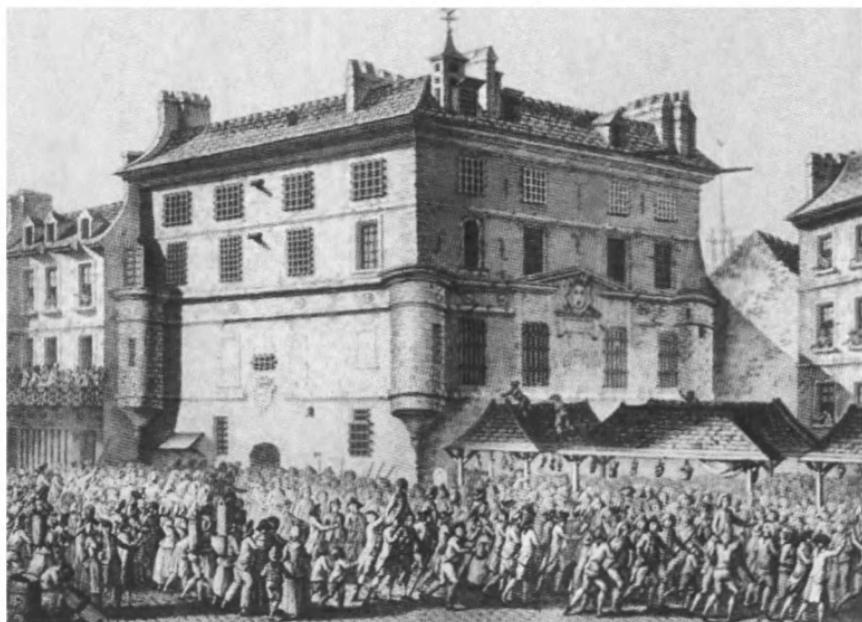




Организаторы убийства заключенных в парижских тюрьмах в сентябре 1792 года — председатель трибунала Майяр и президент Комитета общественного спасения Вадье.

Скорый суд в тюрьме аббатства Сен-Жермен.

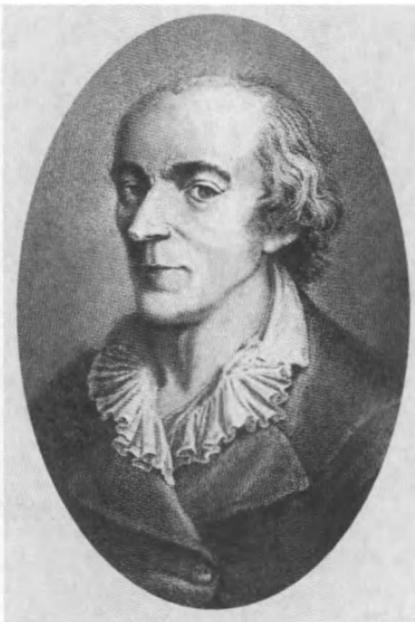




Аббатство Сен-Жермен-де-Пре, где происходили убийства священников в сентябре 1792 года.

Сентябрьская резня. *Гравюра времен революции.*





Госпожа Манон Ролан и ее муж Жан-Мари Ролан де ля Платьер — лидеры жирондистов.

Арест жирондистских депутатов Конвента.





Госпожа Ролан на эшафоте. Картина Л. Ройера.

частью на боковых трибунах. Зал отделан под желтый мрамор, и по этому фону идут различные архитектурные украшения разных цветов.

Кругом зала, на уровне самых высоких скамеек амфитеатра, идет карниз цвета порфира с бронзовыми украшениями. Под этим карнизом — драпировка зеленого цвета, вышитая красным, украшенная венками и подобранная шнурами того же цвета. Над карнизом в промежутках между пятью галереями обеих сторон на цоколях из порфира возвышаются статуи великих мужей древности. Со стороны президента мы видим массивные изображения Демосфена, Ликурга, Солона и Платона. На противоположной стороне стоят Камилл, Публикола, Брут и Цинцинат. Все статуи окрашены в цвет бронзы, и над их головами висят венки.

Убранство этого зала, выдержанное в прекрасном античном духе, исполнено чистой и благородной простоты. Однако чрезмерная узость и длина зала — не единственные его недостатки; в нем очень много углублений и отверстий, так что звук голоса в нем заглушается и пропадает. Если говорить недостаточно громко, то ничего не слышно; если слишком громко, то благодаря гладким, лишенным каких бы то ни было драпировок стенам голос кажется слишком резким и вызывает эхо. Точно так же, кажется, не позаботились о том, чтобы устроить в этом зале приспособления для очистки воздуха. Этим необходимым условием, столь важным для физического и нравственного здоровья, пренебрегли так же, как и акустическими качествами зала. В этом устройстве ярче блещет талант декоратора, чем мудрость физика, а второй, может быть, был здесь нужнее первого. В сущности, эта постройка скорее эффектна, чем основательна, так как все в ней сделано из гипса, полотна, картона, краски и нет почти ничего настоящего. А между тем Республике необходимо иметь для своих представителей прочный и солидный зал».

Это описание можно дополнить некоторыми яркими подробностями. Скажем сначала, что ни один историк не постарался дать нам точное представле-

ние об описанном зале. Когда Мишле изображает членов Конвента, «толпившихся в узком зале театра Тюильри и бросающих друг на друга гневные взгляды, то изображаемая им картина совершенно неверна. Зал был огромным, слишком большим для малого числа членов Конвента, принимавших обычно участие в заседаниях. Они были рассеяны по нему и как бы терялись среди скамей, опустошенных вскоре арестами и казнями. Из семисот шестидесяти членов, принимавших постоянное участие в заседаниях, уже на второй день осталось не более пятисот желающих слушать бесконечные речи, заимствованные у древних. Затем, когда положение сделалось еще более опасным, многие члены скрылись. Вскоре их осталось всего четырехста, затем триста человек; заседания протекали угрюмо, скамьи были пусты. В разгар террора на заседаниях в среднем голосовали всего двести пятьдесят депутатов.

Дюлор рассказывает, как несчастные, трепещущие при малейших событиях, депутаты робко проскальзывали в зал Собрания; они боялись обратить на себя внимание и при первых признаках волнения бежали к дверям и скрывались. Когда Амар, хорошо знавший свою аудиторию, читал рапорт об обвинении тринадцати дантонистов, он принял следующие меры предосторожности: прежде чем начать говорить, он потребовал, чтобы все двери были закрыты и никто не мог уйти...

За креслом президента, в маленьком салоне, наполовину скрытом опущенными драпировками, обычно находилось несколько значительных лиц, членов партии, бывшей в то время у власти⁸². Они разговаривали об общественных делах и принимали посетителей; это было своего рода интимное заседание малого парламента рядом с разыгрываемой в зале большой парламентской комедией.

Рисунок кресла президента сделал сам Давид; подобно древним римским креслам, оно было задрапировано роскошной шелковой материей. Стулья секретарей были покрыты пурпурным сен-сирским сукном, украшены бахромой и набиты пухом. Кафед-

ра президента и четыре бюро секретарей были обиты тонким эльбефским сукном, похожим на бильярдное⁸³.

Кафедра президента состояла из досок, поддерживаемых двумя химерами из липового дерева. На сплошных панно были наклеены резные дубовые надписи: «Свобода» и «Равенство»⁸⁴. Над креслом президента были укреплены в виде трофеев знамена, отбитые у неприятеля, а по обеим сторонам висели две бумажные таблицы, хранящиеся в настоящее время в музее Карнавале. На одной из них была написана «Декларация прав», на другой — текст конституции.

Пройдя через вестибюль центрального павильона вдоль низкой галереи просителей, миновав залу депутатов и довольно длинный коридор, мы подходим к решетке, находившейся напротив трибуны. Громадные трибуны для публики были заставлены скамьями, крытыми темно-синим полотном⁸⁵.

Такова была обстановка, но кто может описать сцены, разыгрывавшиеся в ней? Правда, гениальные историки создали бессмертные картины некоторых актов драмы Конвента: Мишле, Луи Блан, Ламартин дивными красками набросали гигантские фрески, исполненные движения. Но этим великим картинам мы порой предпочли бы простой набросок, более искренний и наивный, в котором стиль и воображение не играли бы никакой роли, и единственным достоинством которого было бы то, что он сделан с натуры.

Для этого требовалось войти в замок Тюильри, вечно оживленный движением шумной, волнующейся толпы. Здесь и зрители с трибун, проходящие по галереям, становящиеся в очередь, бросающиеся со всех ног, лишь только откроют двери, по деревянным лестницам, ведущим наверх; и просители, ждущие, когда им можно будет подойти к решетке; и секретари, и национальные агенты, и шпионы, шныряющие по дворцу от павильона Свободы до павильона Равенства и переходящие по галереям из одного бюро в другое. Сторожа охраняют высокие двери зала заседаний; это — инвалиды, играющие роль полиции⁸⁶. Пришлось бы вновь воскресить эту странную и разношерстную толпу «вя-

зальщиц»*, франтов, военных, буржуа. Каждое лицо здесь выражало гнев, беспокойство, отчаяние, страх, недовольство; это была буйная толпа, над которой, как вихрь, сгибающий все головы, проносился шум бурных заседаний, прорывавшийся ежеминутно через приоткрытую и тотчас же снова захлопнутую дверь. Весь Париж был здесь, где находился нервный центр города, где сходились все нити, приводившие в движение колеса революционной машины — тюрьмы, трибунал, эшафот.

Жизнь, кипящая здесь, привлекала в Народный дворец целый мир мелкого живописного люда. У подножия большой лестницы гражданка Лесклапар открыла книжную лавчонку⁸⁷, где продавались постановления комитетов, списки подозрительных лиц, газеты, доклады, новые брошюры. Однажды утром лавочка осталась закрытой... Это удивило любопытных, которые навели справки: оказалось, что гражданка Лесклапар ночью была арестована и утром в тот же день ее гильотинировали⁸⁸. Обыкновенное в то время происшествие. Ее коммерческое дело тут же продолжил гражданин Авриль. Рядом находилась лавчонка, в которой гражданин Пигош со своей сестрой вел мелочную торговлю. Другая торговка мелочами, гражданка Бангильон, устроила свою лавочку под большим вестибюлем в бывшей стеклянной будке королевского швейцара. Один из сторожей Собрания, Пуаре, просил для своей жены разрешения устроить в галереях табачную торговлю; гражданин Мери, парикмахер, получил там же в конце 1793 года «помещение для своего ремесла». В галерее Равенсгва гражданин Лино продавал картины, эстампы, листки бумаги с революционными эмблемами; гражданин Сальмон вел такую же торговлю в бывшей часовне. Нашелся даже субъект по имени Шамфор из округа Иссуар, подавший в комитет инспекторов прошение о дозволении ему *просить милостыню во дворце*⁸⁹.

* «Вязальщицами» (tricoreuses) называли фанатичных революционеров из парижских предместий, которые посещали все митинги и публичные казни, занимаясь вязанием в перерывах между зрелищами.

Но, конечно, больше всего продавалось здесь напитков. Не говоря о различных кафе, помещавшихся на террасе Фельянов и закрытых из предосторожности, на Карусели существовал ресторан гражданина Бру, близ которого ждал своих клиентов дядюшка Кулон, публичный писец; за несколько су он строчил на прекрасной голубоватой бумаге прошения, адресованные членам комитетов. Внутри самого дворца гражданин Жерве, кухмистер, ежедневно готовил дежурное блюдо; Бергар держал там пирожное заведение; Кайо открыл торговлю лимонадом; Летендар торговал прохладительными напитками в зале просителей; гражданка Мартино и гражданин Байль занимались виноторговлей⁹⁰. Здесь пьют, курят, кричат, поют, спорят; это вечный гам, стихающий лишь на мгновение, если мимо проходит какая-нибудь значительная особа — например, красавец Эро де Сешель, ставший популярным благодаря своему кокетливому костюму, или худошавый Робеспьер, идущий быстрыми шагами в синем костюме и штанах верблюжьего цвета. Он спешит в один из комитетов; на нем очки, но кажется, что он ни на кого не смотрит.

Иногда вся толпа, рассеянная по дворцу, бросается в зал Свободы. Проносится слух, что в зале заседаний что-то произошло. Слышатся расспросы, делятся новостями и толпятся в два ряда у двери зала заседаний, завешанной зеленой драпировкой. Вдруг появляется какой-нибудь депутат, красный, задыхающийся, взволнованный перенесенной борьбой... его объявили вне закона, и вот уже стража уводит его. Большая часть 73 депутатов* была арестована таким образом в самом зале Конвента. Их провели между двумя рядами любопытной, ревущей, требующей непонятно чего толпы и заперли в кордегардии, помещавшейся в нижнем этаже, выходящем на двор. Толпа с громкими криками следовала за ними. И, когда двери скрыли узников от ее глаз, она бросилась к окнам, чтобы разглядывать, как диких зверей в клетке, людей, которых она также бешено приветствовала бы, если бы ей был дан соответству-

* Сторонники жирондистов, арестованные 3 октября 1793 года.

ющий сигнал. Было уже поздно; заключенным принесли пищу; и любопытные, стоя на своем наблюдательном посту, смотрели с изумлением, что эти люди едят, как будто обрушившийся на них декрет должен был лишить их всех человеческих потребностей. «О, посмотрите же, — с тупым удивлением говорили друг другу зрители, — они едят!»

5. Комитет общественного спасения

Мы успели осмотреть — быть может, слишком подробно — только ту часть замка Тюильри, которая заключалась между центральным павильоном и павильоном Марсана; у противоположной стороны дворца, которая шла по направлению к Сене до павильона Флоры, был совершенно иной облик.

Бесчисленное множество служащих заполняло громадное здание павильона Флоры, названного теперь «*павильоном Равенства*». Комитет ассигнаций и монет занимал нижний этаж, отданный раньше в распоряжение принцессы Ламбаль. Комитет ликвидации заседал в бывших апартаментах принцессы Елизаветы на первом этаже; Комитет финансов и контрибуций помещался над ним, на антресолях; Комитет путей сообщения располагался на втором этаже. Кроме этих комитетов, там помещалось еще множество других, перечислять которые было бы скучно⁹¹. Но мы должны остановиться на самом прославленном из них — Комитете общественного спасения*, занявшем апартаменты королевы на нижнем этаже и антресолях со стороны сада. У этой части замка был свой, отдельный вход — бывшая «*лестница королевы*»; на нее выходили два последних просвета фасада со стороны двора, напротив павильона Флоры.

Эти просветы с их стеклянными дверями освещали возвышение перед крыльцом, на которое могли въез-

* Этот Комитет был создан в апреле 1793 года и обновлен 10 июля, когда из него вышел Дантон, а вошли Сен-Жюст и (27 июля) Робеспьер. С этого момента Комитет стал главным органом революционного правительства.

жать экипажи. С этого места начиналась лестница. Несколькими ступенек вело на первую площадку, находившуюся на уровне нижнего этажа дворца; окно ее выходило в сад. Поднявшись по ступенькам, посетители подходили к двери, от которой направо шла анфилада апартаментов, выходящих на террасу²². Темный коридор отделял их от параллельного ряда комнат окнами на двор. «Лестница королевы» шла до самого верхнего этажа и была украшена дивными перилами из кованого железа.

Здесь мы еще раз должны извиниться за мелочную точность наших описаний. Тюильри больше не существует, память о его внутреннем расположении исчезает с каждым днем, и, повторим, как бы ни казалось невероятным подобное утверждение, нигде нет подробных планов дворца. К тому же это крыло замка подвергалось наиболее заметным изменениям — я говорю о внутренней отделке комнат — в период до 1870 года. Здесь были расположены апартаменты Наполеона III; именно по «лестнице королевы» подымались гости императора. По ней же в 1815 году спустился Людовик XVIII, навсегда покидая Тюильри; по ней в тот же день на руках внесли Наполеона. В 1793 году эта лестница служила Комитету общественного спасения, и очень вероятно, что страшный совет заседал в салоне, бывшем впоследствии кабинетом Наполеона I, Людовика XVIII, Карла X, Луи Филиппа и Наполеона III. В него проходили или по отделявшей его от лестницы комнате, превращенной в бюро, или прямо по темному коридору, о котором мы уже упоминали. Салоны, выходявшие на двор, были превращены в кордегардии.

Нелишним будет заметить, что, официально занимаемая апартаменты королевы на первом этаже, Комитет общественного спасения приобрел в течение 1794 года такое значение, что распространился и на второй этаж, заняв в конце террора апартаменты Людовика XVI, отданные до того Комитету колоний и Комитету раздела. Где именно собирались члены комитета? Этого нам не удалось установить. Вероятно, совет их собирался в нижнем этаже, но известно, что один из членов должен был всегда оставаться в комитете, и, по-

видимому, эти рьяные демократы вовсе не были врагами некоторого комфорта. Гражданин Дегремон, обойщик, все свое время посвящал удовлетворению их прихотей. Вероятно даже, что у каждого из членов комитета было свое помещение в Тюильри. По крайней мере, к такому заключению можно прийти, прочтя следующую записку, написанную в вантозе II года гражданином Вакье, инспектором работ и поставок Национального конвента:

«Гражданин Барер желает получить кровать, подобную той, какую ты прислал мне для Сен-Жюста. Приложи все старания, чтобы угодить ему. Гражданин Дегремон даст тебе нужную мерку»⁹³.

За два года до того господин Мик не мог выказать большего усердия, когда дело касалось каких-либо затребованных королем улучшений в мебелировке его апартаментов. В этом кроется печальная подоплека всех революций!

К тому же помещений нижнего этажа и антресолей не хватало для многочисленных бюро комитета, и они также распространились по первому этажу. Облик этих комнат совершенно изменился. Филипп Морис, писец нотариальной конторы, известный уже нам по своим воспоминаниям о дне 10 августа, оставил нам их яркое описание. Его *патрона* арестовали — этот нотариус показался кому-то подозрительным, — и Морис остался без работы. Ему удалось получить место в Комитете общественного спасения, в бюро *наблюдения за исполнением революционных законов*. «Там, — пишет он, — бывший оперный бас сидел рядом с писателем, мальчишка из парикмахерской — рядом с викарием и профессор истории — рядом с дантистом»⁹⁴.

Далее наш неоценимый свидетель продолжает:

«Беньон, начальник бюро, близкий, по-видимому, к главным членам комитета, был оригиналом совершенно особого рода. Под его резкими и грубыми донельзя манерами скрывались чудное сердце и безграничное бескорыстие. Являясь патриотом сверх всякой меры, каким только можно было быть или казаться в ту эпоху, он не пропускал ни одной казни на площади Революция. Он приветствовал их и в то же время втайне спасал

столько несчастных, сколько позволяло ему то влияние, которым он пользовался. Наше бюро помещалось в Тюильри, в апартаментах, где жил Людовик XVI. Стол, за которым работал я, упирался в тот самый шкаф, где были найдены документы, послужившие отчасти основанием для его осуждения. В этот шкаф клал я свою шляпу и перчатки. Он был довольно грубой работы и находился в маленьком туалетном кабинете, выходявшем в альков спальни. Шкаф состоял из углубления, сделанного в стене, глубиной в 8—10 дюймов, высотой фуга в два и шириной приблизительно в 15 дюймов. Только дверь его была сделана из железа и неловко замаскирована деревянной доской, которую по желанию можно было поднимать».

Морис приступил к исполнению своих обязанностей 5 января 1794 года. Новая работа показалась ему удивительной: в течение двух недель ему пришлось разносить бумагу для отделов, которые так и не были открыты. Он был на хорошем счету, поскольку мог свободно писать под диктовку. Из тридцати его новых сослуживцев едва ли трое или четверо имели некоторое понятие об управлении, но зато у каждого «имелся красный шерстяной колпак, прикрепленный гвоздем или булавкой и красовавшийся на самом видном месте у его стола».

Члены комитета собирались по утрам, часов в 9—10, и заседали до открытия Конвента. Вечером они возобновляли заседание, и часто оно затягивалось до глубокой ночи. Морису однажды представился случай заглянуть в зал комитета. Он был поражен великолепием мебели и богатством гобеленовых ковров, покрывавших пол. Многочисленные часовые сторожили этот зал, а у наружного входа его стояли пушки. Но все эти предосторожности не помешали мужеству и человеколюбию проникнуть в это место ужаса. В числе сослуживцев Мориса был честный Лябюссьер — один из тех героев, которые рискуют жизнью, не думая о том, как велика ответная ставка, и не думают, что их поступок заслуживает монумента. При этом Лябюссьер был человеком скромным, поэтому его забыли.

Лишь в недавнее время Викторьен Сарду открыл его и сделал этого простого и доброго человека героем своей драмы «Термидор». После многих приключений Лябюссьер потерял свое состояние; Революция не способствовала восстановлению его богатства. Он раздумывал, что бы ему предпринять, когда один из друзей предложил ему место в Комитете общественного спасения. Он согласился, сказав: «Раз уже вам так этого хочется, надо доставить вам это удовольствие. Я поближе познакомлюсь со всей этой грязью». Странная ирония судьбы! — именно это назначение, которое Лябюссьер принял против воли, и прославило его имя. Я лишь напомню, потому что об этом последнее время уже многие писали, как он спас актеров Французского театра и многих других лиц, уничтожив дела на них. Он просто разорвал эти бумаги на кусочки и, скатав из них шарики, бросил их в Сену. Приведу лишь одну короткую записку, обеспечивающую смертный приговор актеров. Она была адресована Фулье-Тенвиллю и находилась «в маленькой запечатанной папке», дела из которой были уничтожены нашим героем.

«Комитет посылает тебе, гражданин, эти бумаги, касающиеся бывших актеров Французского театра: тебе, как и всем патриотам, известно, до какой степени все эти люди *контрреволюционны*; ты отдашь их под суд 13 мессидора. Что касается остальных, то среди них есть такие, которые заслуживают лишь изгнания. Впрочем, мы посмотрим, что с ними делать, когда суд над этими будет окончен».

Подписано: *Калло д'Эрбуа*⁹⁵.

Большинство людей, посещавших Комитет общественного спасения, были далеко не так великодушны. В этой среде полицейских шпионов, демагогов, презренных рабов власти Лябюссьер был редким исключением. Человек, являвшийся олицетворением этого мира бесчестных политиков, толпившихся вокруг децемвиров, был знаменитый Герон, один из самых усердных поставщиков эшафота. Сенар набросал его незабываемый портрет:

«Этот Герон умел зазвать вас к себе в дом; он выпытывал у вас, каковы были ваши знакомства, с кем вы имели

сношения. Как бы скупое вы ни отвечали на его вопросы, он говорил вам: “Ну вот, подпишите, подпишите это!” На случай отказа у него на службе состояло три шпиона: одного из них, его лакея, звали Батист Малле; вторым, которому он также доставлял пропитание, был Пилье, чиновник налогового ведомства; он исполнял там обязанности секретаря и оставался на службе до 10 часов утра. Кроме того, днем он служил у Герона. Третьим был верзила и разбойник по имени Дюшен, служивший одновременно лакеем, посыльным и шпионом. Итак, если вы отказывались подписать то, что настрочил Герон, он сначала отпускал вас, но три шпиона тут же подписывали записку, подтверждая, что вы рассказали то-то и то-то. По этой записке вас арестовывали, а вместе с вами и тех, о ком вы упомянули, причем вы не знали, в чем вас обвиняют. В распоряжении Герона находился архиразбойник Майяр вместе с шайкой, которой он командовал. Когда Майяр был посажен в тюрьму, Герон занял место командира, и это назначение так и осталось за ним вследствие болезни и смерти Майяра. Помощниками его и сотоварищами были Лезюэр, живущий теперь, когда я пишу эти строки, на улице Варрери, в доме 98, Кено и Кулонжон, имевший маленькую книжную лавку вблизи от Комитета общественной безопасности*; печатник Мартен, некто Шмит, которому Герон устроил место сторожа при арестном доме, называемом Таларю, и который прославился своей жестокостью и несправедливостью в отношении к заключенным, судебный пристав Тутене и т. д.»

Робеспьер использовал Герона для наблюдения за Комитетом общественной безопасности, а тот, в свою очередь, думал, что пользуется услугами Герона для надзора за Комитетом общественного спасения. У этого человека была своя система: приходила ли к нему женщина, чтобы вымолить у него освобождение своего мужа, являлся ли муж хлопотать за жену, сын — за отца, друга или родственника, они не могли добиться

* Второй по важности после Комитета общественного спасения орган революционного правительства, который осуществлял функции надзора и управлял полицией.

от него никаких обещаний, если ни на кого не доносили. Связь между ним и Робеспьером была тайной, и свидания, которые они назначали друг другу, происходили в одном из помещений Комитета общественного спасения.

При помощи агентов этого типа подготавливался последний акт драмы. Мы не можем здесь описывать его и ограничимся лишь тем, что сообщим несколько подробностей о Девятом термидора и следующем за ним дне, чтобы дополнить набросанную нами картину того, чем был Тюильри во время революции. Задолго до открытия знаменитого заседания, во время которого Робеспьер должен был победить или погибнуть, весь дворец был в волнении: самые неопытные и те чувствовали приближение бури. Трибуны Собрания были переполнены любопытными. «Можно было заметить большое количество приверженцев Робеспьера: их легко было узнать по небрежности костюма, по красным колпакам на голове, по длинным тростям, заключающим в себе шпаги, которые большинство из них держало между колен, или по толстым палкам, какими были вооружены другие члены этой компании. Робеспьер вошел в зал заседаний одним из последних. После первых же фраз, сказанных Тальеном в ответ Сен-Жюсту*, лицо Робеспьера исказилось. Вместо спокойствия и уверенности в своих силах, отражавшихся обыкновенно на его бледном лице, оно выражало страшное волнение. Он то краснел, то бледнел. В тех немногих словах, которые произнес его резкий голос, как и во всем его поведении в этот день, видна была нерешительность и даже трусость!»⁹⁶

Сен-Жюст первым понял, что все погибло. С этой минуты он не произнес больше ни слова, не сделал ни одного жеста. В глубокой задумчивости он стоял, облокотившись на перила этой видевшей разгар его славы трибуны. Он был бледен. Время от времени, когда над

* Сен-Жюст к этому заседанию подготовил доклад о мерах выхода из кризиса, но не смог его прочитать, прерванный Тальеном; с этого и начался переворот Девятого термидора.

ним раздавался голос врага его Барера, он обменивался с Робеспьером страдальческим взором.

На другой день после того, как они сделали все возможное, чтобы наэлектризовать весь Париж, эти злосчастные люди снова предстали перед Собранием в Тюильри. Их привели туда побежденными, пленными, погибшими. Сен-Жюст был мрачен и молчалив, Робеспьер казался умирающим. Известно, что он был ранен в лицо пистолетной пулей. Его на носилках внесли в Конвент несколько канониров и вооруженных граждан. «Он был так слаб, что боялись, как бы он не умер тут же. Поэтому люди, шедшие в ногах его носилок, все время напоминали своим товарищам, чтобы они выше поднимали его голову, надеясь таким образом сохранить ту искру жизни, которая еще тлела в нем»⁹⁷:

Сен-Жюст следовал за ним, одетый в свой праздничный костюм, который не пострадал от схватки. Это было совсем неподходящее для мучений и смерти одеяние: фрак верблюжьего цвета, широкий галстук, завязанный кокетливым бантом, белый жилет и нежно-серые брюки — все это казалось взятым из пастушеских идиллий.

Испуганная толпа в молчании шла за солдатами, которым трудно было сдерживать любопытных. Настроение было скорее тревожное, чем враждебное. Наконец дошли до Тюильри. Раненых положили у подножия большой лестницы⁹⁸, которая вела в комитет. Сен-Жюст и Дюма, оба крепко связанные по рукам, были приведены жандармами в комнату перед залом заседаний комитета, предназначенную для ожидающих, и уселись в нише окна⁹⁹. Робеспьера положили на стол¹⁰⁰. Вместо подушки под голову ему дали еловый ящик, где хранились образцы солдатского хлеба. На нем был фрак небесно-голубого цвета и нанковые брюки. Он был без шляпы и без галстука; его полурасстегнутая сорочка окрасилась кровью, обильно струившейся из раздробленной челюсти. Через час он открыл глаза и, чтобы очистить рот, весь наполненный кровью, поднес к губам футляр из белой кожи с надписью «*Великому монарху — Лекур, поставщик короля и его войска.*

Улица Сент-Оноре, близ улицы Демули, Париж. Это была кобура пистолета. Когда этот маленький футляр весь пропитался кровью, один из присутствующих, сжалившись над Робеспьером, подал ему несколько листов бумаги, которыми тот вытер свою рану. Один из служащих комитета, видя, какое он делает усилие, чтобы приподняться и подтянуть чулок, оказал ему эту услугу. «Благодарю вас, *милостивый государь*», — сказал ему кротким голосом Робеспьер¹⁰¹.

Потом он стал пристально смотреть в потолок, избегая таким образом жадных взоров безжалостно любопытных зрителей, все время наполнявших комнату. Только раз взор его обратился на Сен-Жюста. Тогда на лице красавца отразилось чувство глубокого волнения — оно блеснуло как молния, и он снова надел на себя маску равнодушного спокойствия¹⁰².

Движения Дюма были лихорадочно-нервными, его мучила жажда. «Могу я попросить у вас немного воды?» — обратился он к одному из жандармов. Ему подали стакан. «Вы бы могли дать их три», — сказал, подумав о Сен-Жюсте, Пейян, который, тоже арестованный, был только что введен в зал. Нашлось всего два стакана, и прошло несколько минут, пока подали третий Сен-Жюсту. Один из жандармов помог ему напиться. «Благодарю Вас», — сказал он, отпив несколько глотков.

Вскоре принесли решение, подписанное Барером, Колло-д'Эрбуа и Бийо-Варенном и повелевающее отвести арестованных в Консьержери. «Уведите их, они вне закона!» — сказал Лакост, указывая на Сен-Жюста, Пейяна и Дюма. Проходя мимо Робеспьера, он прибавил, обращаясь к доктору: «Сделайте ему перевязку и приложите все усилия, чтобы он мог дожить до казни».

Один писатель, бывший тогда еще ребенком, всю жизнь вспоминал это ужасное зрелище — шествие побежденных в Консьержери. Он видел Робеспьера, голова которого была обернута запятнанной кровью салфеткой. Его несли в кресле¹⁰³, а вокруг раздавались громкие проклятия толпы. Чтобы отдохнуть, носильщики остановились на набережной Очков напротив эспланады, где стоит статуя Генриха IV. При каждом

возгласе в его адрес Робеспьер смотрел в ту сторону, откуда шел крик, и, несмотря на рану, отвечал на него высокомерным пожатием плеч¹⁰⁴. После минутного отдыха кортеж снова двинулся в путь, завернул за угол улицы Барильери, пересек двор дворца и скрылся под темными арками Консьержери*.

* Робеспьера, Сен-Жюста и двадцать одного их соратника казнили без суда 10 термидора (28 июля 1794 года). На следующий день гильотина получила еще семнадцать жертв. Якобинский террор сменился термидорианским, не столь массовым, но не менее жестоким.

АББАТСТВО

*1. Избиение священников**

В воскресенье, 2 сентября 1792 года, часа в три пополудни отдаленный шум, долетавший с улицы, встревожил «подозрительных», которых уже в течение десяти дней Парижская коммуна массами заключала в бывшую тюрьму аббатства Сен-Жермен-де-Пре.

Малейшее происшествие служит для заключенных развлечением или пугает их. Поэтому в ту же минуту все они кинулись к окнам. Из-за железных решеток в слуховых окнах, выходящих на крышу, в отдушниках подвальных этажей, в загороженных просветах часовни, в узких бойницах башен — всюду показались испуганные лица. Тюрьма была переполнена заключенными, в числе которых были солдаты, спасшиеся во время резни 10 августа в Тюильри, родственники эмигрантов, журналисты, священники, аристократы всех рангов. Были заняты все помещения тюрьмы, даже каморка тюремщика Лавакери. И теперь старое здание, в стенах которого раздавался ропот множества голосов, казалось, очнулось от своей молчаливой и мрачной дремоты.

* Сентябрьские избиения были вызваны паникой, связанной с острым продовольственным кризисом и поражениями на фронтах. Во всех этих бедах народ винил роялистов и священников, не присягнувших конституции.

По улицам бежали обезумевшие люди; двери захлопывались как при приближении урагана. Из высоких окон соседних домов вниз смотрели любопытные. Шумная, ревущая, возбужденная густая толпа появилась с улицы де Бюсси. Она образовывала странные водовороты, обрушиваясь на витрины закрытых магазинов. Среди этого человеческого стада половодья, подобно кораблям, поднимались извозчичьи экипажи, которые двигались толчками, колеблемые и приподнимаемые толпой. Целые группы людей, прицепившись, висели на их рессорах, стояли на подножках, взбирались на крыши карет.

При виде заключенных, смотрящих в зарешеченные окна тюрьмы, толпа испустила ужасающий рев. Десять тысяч кулаков поднялось с угрозой; это была грандиозная и страшная минута! И вдруг внезапно толпа остановилась и замерла. Вдали раздался пушечный выстрел; за ним прозвучал другой, потом, уже где-то поблизости, третий... В страхе склонились все головы, и в жуткой тишине частые удары набата послышались со всех колоколен — неслись чистые высокие ноты колоколов аббатства Сен-Жермен-де-Пре, глухо гудел большой колокол церкви Сен-Сюльпис.

Тогда из одной кареты выскочил высокий молодой человек в белом костюме; голова его была обнажена, и среди черных волос на темени виднелось синеватое пятно тонзуры. Дико оглянувшись по сторонам, он в мольбе протянул руки и воскликнул: «Пощадите, пощадите! Простите меня!» Эти слова, казалось, разбудили толпу от спячки. Вокруг кареты началась давка, десятки сабельных ударов посыпались на молодого священника, и его белый костюм мгновенно расцвел кровавыми пятнами. Он бросился назад в карету, переполненную бледными онемевшими от ужаса людьми. Кареты, подгоняемые толпой, миновали тюрьму, углубились в узкую улицу Святой Маргариты¹⁰⁵, свернули направо и, проехав под украшенной скульптурными изображениями триумфальной аркой на улицу Шильбер, въехали наконец во двор аббатства¹⁰⁶. Там, у самого портала церкви, они остановились; толпа настигла их и убила на месте

двадцать два священника из двадцати четырех, сидевших в этих каретах. Так начались сентябрьские избиения.

• • •

Один священник, заключенный в аббатстве с ночи накануне этого дня, оставил записки о событиях, свидетелем которых ему пришлось быть. Долгое время никто не знал об этом манускрипте, и лишь совсем недавно аббат Бридье отыскал его в Риме. Священник этот был *интернунцием*, то есть поверенным в делах Святого престола, а также советником Парижского парламента, его знал и уважал Людовик XVI. Словом, это был человек обреченный. И все же ему каким-то чудом удалось спастись в дни сентябрьских избиений. Часто лица, пощаженные убийцами в аббатстве и тюрьме Ла-Форс, в своих заметках, написанных, когда опасность уже миновала, выставляли себя истинными героями, недоступными чувству страха. Напротив, аббат Соломон искренно сознается, что ему было очень страшно, и в этом заключается особое достоинство его записок. Он пишет, что ноги его подкашивались, зубы стучали и, наконец, что он прибегнул ко лжи ради своего спасения. В этих записках, составленных по просьбе одного друга, он совсем не думает о том, чтобы предстать перед потомством в ореоле героя.

Вечером 1 сентября его доставили из ратуши в аббатство и, ввиду того что тюрьма была переполнена, вместе с 29 другими узниками заперли в комнате, бывшей раньше кордегардией, где не было ни скамеек, ни стульев, ни кроватей. Его лихорадит, он мечется, зовет сторожей, требует более удобного помещения; все молитвы совершенно вылетели у него из головы, зато его очень огорчало, что вечером он не получит обычного стакана лимонада. Он добился, чтобы его перевели в другое помещение, и очутился в бывшей монастырской трапезной, также переполненной заключенными. Там находились 83 человека — гвардейцы и дворяне, арестованные 10 августа. Громадный зал был освещен всего одной маленькой лампой, и при ее неверном свете интернунций смутно разглядел заключенных, спавших бок о бок на матрасах; большинство из них было в

колпаках из бумажной материи. Ему пришлось лежать на одной кровати с каким-то негром. Спал он очень плохо, не притронулся к завтраку, а утром в воскресенье за ним пришел тюремщик и повел его через двор в находившуюся на противоположном краю аббатства заброшенную часовню. Там уже находилось человек шестьдесят заключенных, почти все — духовные лица.

Это было обширное и совершенно пустое помещение; свет падал на него сверху сквозь запыленные цветные стекла. Вместо мебели в нем стояла лишь старая церковная скамья, на которой могли одновременно сидеть десять — двенадцать человек. Священники ходили взад и вперед по комнате парами или небольшими группами. После общей молитвы стали хлопотать о том, как бы раздобыть у тюремщика какой-нибудь обед. Собрали по два франка с человека. Появился трактирщик, поставили длинный стол, скамейки и стулья, и в два часа пополудни обед был подан. Аббат Соломон просмотрел меню и не без удовольствия нашел в нем «прекрасное отварное мясо»¹⁰⁷. Он готовился уже сесть к столу вместе со своими товарищами по заключению, когда его кухарка, старушка Бланше, разузнав о месте его заключения, передала ему в аккуратной завернутой корзиночке «легкую закуску», состоявшую из «супа, хлеба, редиски, нежнейшего куска отварного мяса, жирного цыпленка, артишоков с перцем и чудных персиков; кроме всего этого, там еще были серебряный прибор и бутылка вина». Аббат Соломон как раз делил это обильное угощение с одним бедным старым священником, когда внезапно раздались резкие удары в дверь и послышался голос тюремщика, кричавшего: «Торопитесь! Народ движется на аббатство и уже начал избивать заключенных!»¹⁰⁸

В одну секунду все вскочили на ноги, стол опустел. Несчастные бегали, толкали друг друга, громко сетовали; многие бросались к дверям, чтобы посмотреть в замочную скважину, другие прыгали вверх, желая заглянуть в окно, бывшее на высоте более четырнадцати футов. На часах аббатства пробило четыре. Издали уже доносились крики толпы; гораздо ближе, вероятно, на одной из соседних улиц раздался жалобный голос женщины: «Они их всех, всех убивают...»

Тогда этот зал, где шестьдесят священников ждали смерти, стал свидетелем трогательного зрелища: старый священник из церкви Сен-Жан-ан-Грев, стоя среди своих павших ниц товарищей, простер над ними руки для предсмертного отпущения грехов и громким голосом стал читать отходные молитвы. Когда он торжественно произнес слова: «Отыдите из этого мира, христианские души», со всех концов зала послышались рыдания, жалобы, стоны. Одни машинально твердили слова молитвы, другие метались по комнате, как звери в клетке; эти живые люди, обреченные на смерть, впали в какое-то исступление. Многие против воли отправляли естественные потребности, и аббат Соломон сообщает: «Вскоре пол оказался совершенно залит». Потом в этих несчастных внезапно ожила надежда: они подумали, что, может быть, убийцам не было известно их пребывание в этой отдаленной тюрьме; они сидели группами, на полу, в молчании, со сложенными руками... В гробовой тишине слышалось лишь монотонное тиканье часов аббатства, которые словно отмеряли время агонии этих несчастных и каждые четверть часа мерно отбивали четырнадцать ударов.

Приближалась ночь. Сквозь высокий просвет окна видно было, как на бледное небо восходит луна. Волнение не стихало, и временами до них ясно доносились вопли несчастных убиваемых людей. Внезапно, часов в одиннадцать, сильные удары сотрясли дверь: при этом зловещем шуме все священники мгновенно вскочили на ноги. Обезумевшие в порыве ужаса, они бросились к окну, вскочили на стоявшую под ним скамью и стали карабкаться и ползти вверх, отталкивая друг друга. Некоторым, в том числе и аббату Соломону, удалось добраться до окна. Они перелезли через перила и бросились вниз... Израненные, ободранные, с окровавленными руками, они попадали друг на друга в узкий двор, представлявший собой нечто вроде закрытого со всех сторон колодца. В то время как они барахтались в темноте, дверь зала подалась и десятки людей ввалилась в часовню. Некоторые из них несли факелы. Это была пьяная, кровожадная, грубо-веселая ватага. Часть ее вскарбакалась на стены, окружавшие маленький дво-

рик, и колола пиками забившихся в угол священников. Когда эта игра наскучила убийцам, они окружили несчастных, шатающихся, полумертвых от страха людей и погнали их, как жалкое стадо.

Их провели через двор и часть сада, после чего втолкнули в низкую комнату бывшего монастырского покоя для гостей, выходящую стеклянной дверью прямо в сад. Там сидевшие за столом, покрытым зеленым сукном, люди сразу начали их допрашивать. Первым, к кому они обратились, был почтенный священник церкви Сен-Жан-ан-Грев.

— Ты присягнул? — спросили они у него.

Священник пошевелил губами, как бы шепча молитву, и громко ответил:

— Нет, я не присягал.

В ту же минуту сабельный удар обрушился на его голову и сбил парик: обнажилась лысина, залитая кровью. Старец простер вперед руки, пошатнулся и упал. Его рубили, топтали ногами и после выволокли из комнаты, а товарищи его, онемевшие от ужаса и бледные как смерть, жались друг к другу, готовясь претерпеть ту же участь. Бедный аббат Соломон дрожал как лист, он едва мог добраться до окна и опустился на подоконник в полуобморочном состоянии в то время, как палачи у него на глазах убивали аббата Бузе, который от волнения смог лишь пролепетать несколько бессвязных слов в свое оправдание. Из шестидесяти трех человек, в обществе которых Соломон провел этот день, шестьдесят было убито в его присутствии. Пощадили всего троих.

Каким же образом он сам смог спастись? Как, несмотря на сжигавшую его лихорадку, на ужасное зрелище, от которого застывала в нем кровь и нервная дрожь сотрясала члены, так что зубы его стучали и ноги подкашивались, он сохранил достаточно хладнокровия, чтобы найти ответ своим судьям и добиться нескольких часов отсрочки, ставших для него спасением? Он говорит об этом с таким потрясающим волнением, что всякий другой рассказ показался бы бледным в сравнении с этим повествованием. Он в точности, минута за минутой, изображает чувства, переживаемые человеком во время агонии.

«Я решил отделиться, — вспоминает аббат, — чтобы сидевшие ближе к столу, видя, что я один, в конце концов забыли обо мне. При первом удобном случае мне удалось отойти в сторону. Вереница священников уже сильно уменьшилась — одного за другим убили аббата Жерве, секретаря архиепископства, великого викария Страсбургского, бедного священника из Отель-Дье*, президента Верховного совета Корсики и еще сорок других. Было, вероятно, около трех часов утра. Я говорю “вероятно”, так как я больше не обращал внимания на бой часов. Я стал как бы бесчувственным при виде непрекращающихся убийств и думал только о себе, хотя рядом погибали мои товарищи. Многочисленные факелы освещали картину этих ужасных казней. Я чувствовал во всем теле смертный холод, и ноги мои стыли. Вся кровь бросилась мне в голову: лицо горело, и когда я опускал глаза, мне казалось, что я вижу его огненный цвет. Я часто дотрагивался правой рукою до головы и, обдумывая способы спасения, дергал себя за волосы с такой силой, что вырывал их с корнями. С того времени они стали выпадать целыми клоچьями и я сделался таким лысым, каким вы видите меня теперь¹⁰⁹. Между тем прежде у меня были очень густые волосы.

Все же я должен к стыду моему сознаться, что, несмотря на неизбежную гибель, несмотря на приближение смерти, я не мог ни вполне погрузиться в молитву, ни найти в себе решимость умереть. Напротив, я неустанно изыскивал в уме способы, какими мог бы избежать этой ужасной казни. Эти удары сабель и пик заставляли меня леденеть от страха, но не наполняли сердце той глубокой верой, которая необходима нам в последний час. Правда, временами я читал “Отче наш” и “Богородицу”, а также покаянную молитву, но без того глубокого чувства, которое должно охватывать нас в минуту приближения смерти. Опасность, грозившая мне, постоянно заставляла меня возвращаться к одной и той же мысли: “Что бы мне такое придумать, чтобы избежать вопроса о присяге?”

* Парижская муниципальная больница.

Иногда палачи на время прерывали избиения, чтобы выслушать депутации от других секций, которые являлись дать отчет о состоянии своих тюрем и о произведенных там убийствах. В частности, депутации от секций Ом-Арме и Арсенала рассказывали об ужасах, происходящих в тюрьмах Ла-Форс и Сен-Фирмен. Наступила очередь парикмахера, который защищался с большим мужеством, но, как он говорил мне раньше, его поклялись погубить. В особенности ему ставили в вину то, что он не захотел идти с Сент-Антуанским предместьем в день 10 августа и к тому же был *аристократом*. Следовательно, он должен был умереть.

После этого они обратились к двум бедным монахам-францисканцам (один из них до того говорил интернунцию о своем желании принять мученический венец). Президент спросил у них, дали ли они присягу. Не успели они еще ответить, как один из сидящих за столом, похоже, знавший обоих монахов, заступился за них, говоря: “Да ведь это же не священники, они не имеют права по своему положению дать эту присягу”. — “Все равно, это фанатики, мерзавцы, надо их убить!” — возразил другой. Это возбудило спор. Наиболее озлобленные хотели отвести монахов в сад и там убить. Другие, схватив их за руки, старались удержать в зале. Эта борьба привлекла мое внимание, и я заметил, что иподьякон, жаждавший смерти, оказывал меньше сопротивления тем, которые старались увести его в сад, чем другим, желавшим его спасти. Наконец, негодяи одержали верх и монахи были убиты.

Было уже, вероятно, часов пять утра. В эту минуту я с изумлением увидел, что вошел актер Дюгазон. Он явился, чтоб председательствовать в этом адском судилище, так как председатель куда-то исчез. Я встречал его в салонах, куда его приглашали участвовать в комедиях, и часто разговаривал с ним. Я сделал движение, чтобы приблизиться к нему и умолять прийти ко мне на помощь, но после минутного размышления решил не делать этого. “Может быть, — подумал я, — ему станет стыдно, что честный человек видит его в этой ужасной компании, и он ускорит мою погибель”. Так что я поскорее вернулся на свое место. Тогда я заметил, что ря-

дом со мной, в уголке, притаился маленький горбатый человек, который, кажется, наблюдал за мной. Признаюсь, что это соседство очень не понравилось мне, и я не ошибся, приняв его за дурное предзнаменование.

Дюгазон вошел в то время, как между убийцами разгорелся спор — они никак не могли поделить между собою одежду и деньги несчастных жертв. После того как мы некоторое время выслушивали речи Дюгазона, произнесенные желчным и небрежным тоном, он ушел. Чтобы быть точным, я должен сказать, что во время его председательствования никто не был убит. Ему на смену явился Майяр, бывший прокурор трибунала Шатле. Физиономия его не была отталкивающей, что несколько меня успокоило. В ту минуту достаточно было любого пустяка, чтобы подбодрить или встревожить меня. Я не знаю, был ли этот председатель кровожадным; слышал лишь, как он произнес: “Надо покончить с этим”. После этих слов убили двух солдат конституционной гвардии, даже не задав им ни одного вопроса.

Наконец настала очередь лакея герцога Пантьевра¹¹⁰. Так как волосы его были коротко острижены, его приняли за переодетого священника и спросили: “Ты присягал?” Он повторил слово в слово то, что я говорил ему. Тогда все закричали: “Это слуга, пощадите его!” И, сейчас же, не проходя через арестантскую, он был выпущен на свободу. Я порадовался его спасению. Он был вторым из моих товарищей, избежавшим казни. Этот милый человек даже не повернул головы, чтобы взглянуть на меня, хотя я и находился неподалеку. Без сомнения, он боялся меня этим скомпрометировать.

Оставался я один; уже наступил день, и у меня появилась надежда незаметно скрыться среди входящих и выходящих людей. Сидящие за столом занялись разными мелкими делами. Я беспрестанно поглядывал на горбуна, сидевшего все на том же месте. “Что он здесь делает, — спрашивал я себя, — почему не уходит?” В это время убили еще двоих неизвестных мне людей.

Стало совсем светло. Часть толпы разошлась, и я не слышал больше криков толпы. Кругом меня сидели люди, казавшиеся усталыми и сонными. Было уже около половины восьмого, но ставни окон были еще закры-

ты, и зал освещался сальными свечами, с которых никто не снимал нагара, и светом, попадавшим в комнату через дверь, снизу доверху состоящую из цветных стекол, через которую жертвы выходили на волю.

Итак, я готовился к бегству, собираясь незаметно проскользнуть мимо оставшихся людей, когда ужасный горбун воскликнул: “Вот здесь еще один из них!” Я помню, что я нисколько не смутился, и, желая во чтобы то ни стало избежать обычного вопроса о присяге, который неминуемо привел бы меня к гибели, внезапно подбежал к столу и обратился к напудренному и одетому в черное человеку. “Гражданин президент, — сказал я ему, — прежде, чем меня отдадут на растерзание этого впавшего в заблуждение народа, я прошу слова”.

“Кто ты такой?” — грозно спросил он меня.

“Я был писцем в парижском парламенте, я юрист”¹¹¹.

Не знаю, поразил ли его мой вид, или моя смелость, или же он узнал меня, но он уже более мирным тоном сказал: “Этот заключенный известен трибуналу Парижа”.

“Это совершенная правда”, — прибавил я. Тогда, перестав обращаться ко мне на “ты”, он спросил: “По какому поводу вы оказались здесь?”

Я сейчас же стал рассказывать ему наполовину истинную, наполовину ложную историю. Я сказал, что 27 августа издали полицейский приказ, повелевающий всем гражданам для облегчения домашних обысков быть дома, начиная с десяти часов вечера. Это была правда. Ложью было то, что будто бы я не знал об этом и комиссары моей секции арестовали меня в одиннадцать часов вечера, когда я возвращался к себе на улицу Пале-Маршан. Дальше я рассказал, что меня отвели сначала в комитет секции, оттуда в местный комитет надзора, потом в тайный комитет городской Ратуши, оттуда в тюрьму и, наконец, в аббатство¹¹². “И все это они проделали, — прибавил я, повысив голос, — ни разу не допросив меня”. Я сказал также, что меня привели на это избиение как раз в минуту, когда мэр Петсион должен был выпустить меня на свободу, и показал им записку, принесенную мне в воскресенье утром моей бедной Бланше, в которой он обещал освободить меня в три часа.

Тогда президент, желая прийти ко мне на помощь или, может быть, из чувства отвращения к этой резне, сказал: “Вы видите, господа, с какой легкостью сажают в тюрьмы граждан в других секциях. Если бы мы арестовали этого господина, то мы бы допросили его и отпустили домой”. Эти слова удвоили мое мужество и, ударив кулаком по столу, я воскликнул: “Я ссылаюсь на свою секцию, я ссылаюсь на депутатов Национального собрания”.

“О, депутаты! — закричали убийцы, — у нас есть их список, и мы их перережем, как и всех врагов!”

Заметив это выражение неудовольствия, я сейчас же прибавил:

“Но я-то ведь говорю не о врагах, а о патриоте Эро, о патриоте Тюрно, о патриоте Ровере!”

“Браво! Браво!” — закричали они.

Тогда президент, воспользовавшись минутой их воодушевления, сказал: “Я предлагаю отправить этого человека в арестантскую, чтобы мы могли навести о нем справки”.

Я не стал дожидаться окончания их переговоров и поспешил пройти в арестантскую, помещавшуюся рядом с залом. Как раз в эту минуту двери ее открылись. Войдя, я увидел там девять или десять человек. Затем разглядел грубый сенной матрас и поспешно опустился на него, чтобы отдохнуть. Тогда я почувствовал, что едва не падаю в обморок. Я был совершенно разбит; меня сильно лихорадило, пульс бился с необычайной скоростью, руки и лицо пылали. Я вовсе не испытывал радости; напротив, был до того подавлен, что сидел с опущенными глазами и не обращал ни малейшего внимания на людей, бывших вместе со мною. Мною овладела глубокая скорбь, к которой добавилась сильная слабость. Действительно, ведь я ел в последний раз в пятницу, в два часа, и с часу ночи был близок к смерти. А теперь был уже понедельник и шел девятый час утра.

Несмотря на то что я человек чувствительный, которого легко растрогать, я плачу очень редко. И все же в эту минуту мужество покинуло меня и я залился слезами. Когда это случилось, я заметил, что ко мне опять подходит проклятый горбун. На нем была форма нацио-

нального гвардейца, и я решил, что он — тюремщик этого места заключения. Он сказал мне сочувственным тоном: “Вы много выстрадали, милостивый государь. Чего бы хотели вы скушать, чтобы подкрепиться?” Узнав в этом человеке своего палача, потому что ведь он-то и указал на меня президенту, я ответил ему с таким видом, который ясно показывал ему, что он должен оставить меня в покое: “Разве можно есть, находясь в таком состоянии, как я сейчас?” Но он настаивал. Тогда, поняв, что он хлопочет о своей выгоде, и не желая его сердить, поскольку он мог оказаться полезным, я сказал: “Принесите мне чашку кофе со сливками!” Мне, конечно, было бы нужнее что-нибудь другое, но я не знал, что у него спросить. Он действительно принес мне кофе, который я и выпил безо всякого удовольствия.

Несмотря на то что я не мог чувствовать к этому человеку большого доверия, у меня была потребность связаться с внешним миром, и я сказал ему, возвращая чашку: “Хотите оказать мне большую услугу? Добудьте мне бумагу, перо и чернила и отнесите записку, которую я напишу, в дом недалеко от дворца женщине по фамилии Бланше. По возвращении вы получите от меня сто су”.

В то же время я повернулся к господину де Салераку, швейцарцу, спасенному мною¹³. Даже не поздоровавшись, я обратился к нему, как будто мы только что разговаривали, и сказал: “Дайте мне купюру в пять франков”. Он тотчас же откликнулся: “Возьмите лучше две”*. Я дал одну из купюр горбуну, который взял мою записку и скрылся».

2. Топография событий

Дневник монсеньора Соломона слишком отвлек нас в сторону. Скажем только, что после того как он провел остаток ночи и весь следующий день в арестантской, где испытал еще немало волнений, он был, наконец, выпущен на свободу. Впрочем, с этой мину-

* В то время французский франк делился на 20 су и 100 сантимов.

ты, как его отделили от его товарищей, рассказ его не представляет исторического интереса и повествует лишь о его личных злоключениях. Он упоминает между прочим, что, когда он проходил по саду под конвоем двух национальных гвардейцев, ему пришлось перешагивать через распростертые трупы и ступать по лужам крови. Он видел мимоходом, как одна женщина в бешенстве кинулась на изуродованный труп и, пиная его в спину, кричала: «Посмотрите, каким толстым был этот пес!»

Убийства продолжались четырнадцать часов. Ночью к месту избиения явилось много любопытных, которые жаловались, что им ничего не видно. Они принесли скамьи *для дам* и попросили у комитета, беспрерывно заседавшего на первом этаже монастыря, масляных лампионов, чтобы осветить ужасную картину. Комитет послушался; господин Бурген, свечник этого околотка, доставил 84 плошки, которые были зажжены и поставлены по одной возле каждого трупа.

Когда после этой страшной ночи взошла заря, убийства прекратились. В сумраке, под бледным сводом утреннего неба смутно виднелись темные груды распростертых трупов. Высокие строения аббатства возвышались торжественные, молчаливые и равнодушные, бросая на эту картину свою холодную тень. Из-за длинной ограды виднелись деревья сада, раздавались безмятежное пение птиц и шум их крыльев.

В то время как убийцы отправились спать, несколько соседних лавочников бродили взад-вперед, натываясь на мертвецов и шепотом сообщая друг другу подробности ужасного дела. Около восьми часов появился небольшой отряд санкюлотов; посмеиваясь, они обошли вокруг трупов, затем, видя, что мостовая вся почернела от крови, сочли своим долгом вымыть ее. Большими ведрами они черпали воду из старинного каменного колодца и выливали на двор. Это была большая работа; чтобы не делать ее вторично, кто-то предложил принести соломы и засыпать двор, а сверху разостлать платье убитых, чтобы те, кто еще мог остаться в живых, задохнулись бы под этим ковром. Со-

вет был принят; одна соседка, вдова Дедуэн, дала для этого солону.

Здесь мы остановимся, так как не следует забывать, что цель наша состоит не в описании сентябрьских избиений, а лишь в поиске топографических сведений о них. До сих пор все современные историки сходились во мнении относительно места, где происходила резня. Все утверждали, что драма разыгралась у дверей тюрьмы, на мостовой улицы Святой Маргариты. Правда, они могли руководствоваться лишь указаниями Журниака де Сен-Меара и сидевшего в той же тюрьме Журдана, а также довольно смутным повествованием аббата Сикара: отсюда и происходит ошибка, в которую они все впали. Единственный из всех Грате де Касаньяк, более тщательно, чем его предшественники изучивший подлинные документы, угадал, что кроме той резни, свидетелем которой был Сен-Меар, происходила еще другая, во дворе сада. Однако он не мог указать, где именно находился этот двор, за неимением подробного плана аббатства Сен-Жермен. Тогда, чтобы не впасть в слишком большое противоречие с общепринятой версией, он поместил его у самых стен тюрьмы, в дворцовом саду аббатства.

Некоторые места записок Журдана и фразы аббата Сикара не позволяли нам согласиться с таким толкованием. Мы чувствовали, что избиения действительно происходили в разных местах, но где именно? Нам уже казалось, что точно установить это невозможно, когда появились воспоминания аббата Соломона. Сами по себе они не казались заслуживающими доверия: они написаны так индивидуально, так живо, словом, так *интересно*, что к ним трудно было отнестись серьезно. К тому же опубликовавший их аббат Брудье так старательно доказывал в своем предисловии достоверность этого драматического рассказа, что книга показалась многим подделкой.

Нужно ли говорить, что и я был из их числа? Тем более что сведения интернунция окончательно сбили меня с толку — в них не было ни слова о знаменитой тюрьме аббатства. Ни одна фраза их не совпадала с известным рассказом Журниака де Сен-Меара. Автор

присутствовал при резне и ни словом не упомянул об улице Святой Маргариты, где она происходила! Я решил вывести на чистую воду эту историческую плутню и доказать ее лживость... И хорошо сделал, так как, к величайшему моему конфузу, убедился, что повествование аббата Соломона от первого до последнего слова соответствует истине. С полной уверенностью свидетеля-очевидца он своим рассказом полностью опровергает все сообщения историков. Все они заблуждались относительно места, где происходили избиения, и мы объясним сейчас, отчего это случилось.

Я старательно проверил сообщения интернунция при помощи рукописного плана аббатства, хранящегося в отделе эстампов Национальной библиотеки. План этот, конечно, не был известен Грану де Кассаньяку. Там я нашел двор аббатства, на который выходила церковная дверь и где произошло убийство священников, привезенных в каретах из ратуши. Я узнал паперть, о которой говорит Журдан¹¹⁴. Я увидел обозначенный им *большой садовый двор* — обширное, засеянное газонном пространстве, окруженное мостовой, идущей от *здания для гостей* на востоке к кладовым и людским на западе аббатства. Двор назывался так потому, что только длинная решетка отделяла его от монастырского сада, питомники которого тянулись до улицы Жакоб¹¹⁵. Трапезная, куда сначала посадили аббата Соломона, находилась поблизости; заброшенная часовня, куда его потом перевели, была несколько дальше¹¹⁶. Комитет расположился в первом этаже зала для гостей¹¹⁷: импровизированный трибунал заседал в нижнем этаже того же здания, в зале, находившемся рядом с большой лестницей, под которой, без сомнения, помещались арестантская и кладовая¹¹⁸, также играющие большую роль в рассказе интернунция.

Пересмотрев снова все рассказы очевидцев избиения, повествование аббата Сикара¹¹⁹ и записки Журдана, я нашел, что все они соответствуют этой новой топографии. Таким образом, я мог убедиться, что избиение происходило не у дверей тюрьмы, как это всегда утверждали, а в совершенно другом месте, внутри самого аббатства в садовом дворе, в том самом мес-

те, где в наши дни улица Бонапарта выходит на Сен-Жермен-де-Пре.

Могут заметить, что не стоило затрачивать столько усилий на исправление простой топографической ошибки; что убийства, происходившие в аббатстве, не делаются ни более, ни менее ужасными в зависимости от места, где они были совершены, и что нельзя придавать такого значения обстановке, в которой произошла подобная драма. Но ведь точное восстановление места событий вносит в историю новые и драгоценные данные. До сих пор думали, что избиения происходили лишь у дверей тюрьмы и, чтобы составить список убитых, пользовались известной тюремной росписью, содержащей имена всех заключенных. На ее полях Майяр делал пометки «умер» или «освобожден». Этот подсчет дал следующие результаты: 2 сентября в тюрьме было 211 заключенных, из них 127 числятся убитыми и 43 освобожденными. Судьба остальных 41 человека остается неизвестной. Следовательно, итог жертв избиения в аббатстве колеблется между 127 и 168.

Это совершенно неверно. Теперь, когда нам достоверно известно, что трапезная и одна из часовен были, как и сама тюрьма, переполнены заключенными, подсчет этот следует переделать: эти несчастные не вошли ни в какую тюремную роспись, но аббат Соломон говорит, как велико было их число. В трапезной было 83 заключенных — все они погибли; 63 других находились в часовне, и из них всего трое спаслись от смерти. Следовательно, мы должны внести в список убитых еще 143 жертвы. Значит, общий итог погибших в аббатстве равняется 270¹²⁰. Это число в первый раз появляется здесь. Нам возразят: если избиение происходило не перед тюрьмой, а совершалось в большом садовом дворе аббатства в противоположность тому, что было известно до сих пор, то как понимать записки Журниака де Сен-Меара? Он говорит, что видел собственными глазами из окна тюремной башни, как злодеи убивали у самых дверей на мостовой улицы Святой Маргариты несчастных, которых Майяр судил здесь же, в канцелярии. Конечно, Сен-Меар искренне сообщает лишь о том, что видел сам, но ему не было известно, что в дру-

гих зданиях аббатства содержались другие партии арестованных. Он не знает, что из его товарищей по заключению, уведенных из тюрьмы, большинство было проведено по улице Святой Маргариты, улице Шальдебер, по двору аббатства через большие ворота в садовый двор и там убито. Зато он видит толпу на улицах, видит, как палачи наносят первые удары, как падают жертвы... Что происходит дальше, он не знает. А между тем этих жертв, пораженных ударами у входа тюрьмы, волочили за ноги по окровавленной мостовой указанным нами путем в садовый двор, где бросали на ежеминутно возрастающую груды трупов. Там находилось официальное место казни. Правда, чернь в нетерпеливой жажде убийства избивала некоторых жертв у самой тюрьмы, но это были исключения. Аббат Сикар с большой уверенностью утверждает: «Под окнами комитета, во дворах аббатства убивали всех заключенных, *которых привели из большой тюрьмы*». Журдан, войдя часов в девять вечера во двор церкви — то есть во двор аббатства, куда выходили церковные двери, — услышал несколько раз повторенный крик: «*Да здравствует нация!*» Это было вызвано появлением приведенных из аббатства заключенных, «*которых приводили, чтобы убивать в садовом дворе, и осыпали по дороге сабельными ударами*».

Наконец, аббат Соломон, заключенный в арестантскую после своего допроса, видел, как под его окном, выходящим на тот же двор, убили аббата Ланфана¹²¹, королевского исповедника, бывшего час назад в одной тюрьме с ним. Надо заметить, что интернунций, уже оправданный и выведенный за ворота, не видел на улице Святой Маргариты груды трупов: он непременно отметил бы эту подробность. Действительно, жертвы лежали не здесь: тех из них, которых — повторяем, в виде исключения — убивали при самом выходе из тюрьмы, тут же волокли в садовый двор, куда почти всех приводили живыми по дороге, о которой мы уже упоминали. Это был скорбный путь длиной, по крайней мере, в 500 метров. Остается один непонятный пункт. Каким образом Майяр мог одновременно быть председателем кровавого трибунала и в канцелярии

тюрьмы, где, как мы знаем, он орудовал, и в здании для гостей, стоявшем на другом конце аббатства? Но, если внимательно прочитать различные рассказы очевидцев, на этот вопрос легко ответить: в воскресенье, 2 сентября, в три часа дня убийства происходят во дворе аббатства и, конечно, Майяр находится там. На минуту он убегает в монастырь кармелитов*, чтобы организовать там резню, и быстро, к четырем часам, возвращается в аббатство, где и начинается избиение. Тогда для аббата Соломона и его товарищей наступила минутная отсрочка. Около полуночи убийства в тюрьме прекращаются, и как раз в это время начинается суд в здании для гостей. В восемь часов утра эта работа окончена, и в десять часов Майяр вновь открыл заседание в тюрьме. Это был чрезвычайно деятельный человек!

3. Майяр

Аббат Соломон, заключенный в арестантскую секцию, помещавшуюся под лестницей аббатства, ждал своего освобождения. Через окна своей тюрьмы, выходящие на садовый двор, он видел, что резня продолжалась еще целый день. Теперь убивали заключенных из тюрьмы аббатства. Их приводили, как мы уже рассказывали, израненными и часто умирающими, для того чтобы прикончить на этом дворе, который уже шестнадцать часов впитывал в себя кровь страдальцев.

Точно так же, как аббат Соломон описал страдания заключенных в монастырских зданиях, так один из арестантов тюрьмы час за часом рассказал муки несчастных, сидевших в старой темнице на улице Святой Маргариты¹²².

Брошюра Журниака де Сен-Меара — так зовут этого хроникера — настолько известна, что будет излишним пересказывать ее здесь, несмотря на тот интерес, какой

* Кармелиты — нищенствующий монашеский орден, основанный крестоносцами в Палестине в 1155 году. Название получил от библейской горы Кармель, где поселились основатели ордена. Во Франции с 1254 года.

она представляет. Мало кто из читавших ее забудет ужас, пережитый заключенными, судьба которых решалась уличной толпой, казнь солдат-швейцарцев и потрясающую сцену, когда, потеряв надежду на спасение хотя бы одного из узников, аббат Ланфан и аббат де Растиньяк с высоты трибуны известили своих товарищей по заключению, забившихся в тюремную часовню, что великий час приближается, и дали им отпущение грехов.

Все интересующиеся событиями революции читали и перечитывали это драматическое повествование, написанное с поразительной верностью, полной искренностью и неоспоримой точностью. Мы должны воспользоваться лишь одной частью этого рассказа, которая поможет нам восстановить внутреннее расположение тюремных помещений. Специального описания их не существует, и плана¹²³ их мы нигде не могли найти.

Майяр со своим трибуналом занял саму канцелярию, низкая дверь которой выходит на улицу Святой Маргариты. После невероятных волнений, надежд и отчаяния Журниака де Сен-Меара провели туда около двух часов утра. «При свете двух факелов, — говорит он, — увидел я страшный трибунал, решение которого должно было даровать мне жизнь или смерть. Президент, одетый в серый костюм, стоял, опираясь на стол, на котором виднелись бумаги, чернильница, трубки и несколько бутылок. Вокруг стола сидело и стояло десять человек, двое из которых были в куртках и фартуках; другие спали, развалившись на скамьях. Два человека в окровавленных рубашках, с саблями наголо, охраняли двери канцелярии; старый помощник тюремщика держал рукою засов двери. Перед президентом трое держали узника, которому было около шестидесяти лет.

Меня поставили в угол комнаты; мои сторожа скрестили сабли на моей груди и предупредили, что при малейшей попытке бегства они заколют меня... Я видел, как два национальных гвардейца представили президенту заявление от секции Красного Креста, содержащее просьбу о помиловании стоявшего перед ним арестанта. Он ответил: «Бесполезно просить за измен-

ников”. Тогда узник воскликнул: “Это ужасно! Ваш суд — убийство!” Президент ответил ему: “Я умываю руки; уведите господина де Малье”¹²⁴.

Я часто бывал в опасных ситуациях, и мне всегда удавалось владеть собою. Но на этот раз ужас, охвативший меня при виде того, что происходило вокруг, совершенно подавил бы меня, если бы не мой разговор с *провансальцем*¹²⁵, и в особенности если бы не сон, о котором я беспрестанно вспоминал.

Президент сел писать. После того как он, по-видимому, внес в список имя несчастного, которого отправили на тот свет, я услышал, как он проговорил “*Ну, займемся другим*”. Немедленно меня подвели к этому кровавому трибуналу, перед судом которого лучшей протекцией было не иметь ее вовсе, и все ухищрения разума не вели ни к чему. Двое из моих сторожей держали меня за руки, а третий — за воротник моего костюма. Президент обратился ко мне с вопросом: “Ваше имя, ваша профессия?” Один из судей тут же вставил: “Малейшая ложь погубит вас”.

“Меня зовут Журниак де Сен-Меар; я двадцать пять лет служил офицером и предстал перед вашим трибуналом с уверенностью человека, которому не в чем себя упрекать, следовательно, ему незачем прибегать к лжи”.

Президент: “Это мы увидим за одну минуту. Знаете ли вы причину вашего ареста?”

“Да, господин президент, и я думаю, что вследствие лживости доносов, сделанных обо мне, комитет надзора коммуны не посадил бы меня в тюрьму, если бы не обязан был принимать меры предосторожности для спасения нации. Меня обвиняют в том, что будто бы я был редактором контрреволюционного журнала ‘*О дворе и городе*’. Это неправда. Редактировал его некто по имени Готье, и подпись его так мало походит на мою, что лишь по злобе могли принять меня за него. Если бы я мог порыться в своем кармане...”

Я сделал движение, пытаясь достать свой бумажник; один из судей заметил это и сказал державшим меня людям: “Отпустите этого господина”. Тогда я выложил на стол свидетельства нескольких приказчиков, комис-

сионеров, купцов и хозяев домов, где жил Готье, которые доказывали, что он был редактором этого журнала и единственным его владельцем.

Один из судей: “Но все же ведь не бывает дыма без огня. Вы должны сказать, почему вас в этом обвиняют”.

Поднялся общий ропот, но меня он не смутил, и я сказал, повышая голос: “Господа, господа, слово принадлежит мне; я прошу господина президента не лишать меня этого слова: еще никогда не было оно мне так необходимо”.

Почти все судьи, смеясь, заговорили: “Что правда, то правда! Пусть все замолчат!”

“Мой доносчик — чудовище: я докажу эту истину судьям, которых народ не избрал бы, если бы не считал их способными отличить невинного от виновных. Вот, господа, удостоверения, доказывающие, что я не выезжал из Парижа в течение года и одиннадцати месяцев; вот три заявления от хозяев тех домов, где я снимал квартиры в это же время; они служат доказательством того же”.

Только стали рассматривать эти бумаги, как это занятие было прервано приходом другого арестанта, занявшего мое место перед президентом. Люди, державшие его, сказали, что это был еще один священник, найденный ими в часовне. После очень короткого допроса он бросил свой требник на стол, его вытащили за ворота и там убили. После этой расправы я снова предстал перед трибуналом.

Один из судей: “Я не говорю, что эти свидетельства ложны, но кто докажет нам, что они истинны?”

“Ваше замечание справедливо, милостивый государь. Чтобы доставить вам возможность судить меня со знанием дела, я предлагаю отправить меня в тюрьму, пока комиссары, которых я прошу вас назначить, проверят их. Если свидетельства эти ложны, я заслуживаю смерти”.

Один из судей, который во время допроса, казалось, заинтересовался мною, сказал вполголоса: “Виновный не говорил бы так уверенно”.

Другой судья: “Из какой вы секции?”

“Из секции Хлебного рынка”.

Один национальный гвардеец, не бывший в числе судей: “Я тоже из этой секции. У кого вы живете?”

“У господина Тейсье, на улице Круа де Пти-Шан”.

Внимание, с которым меня выслушивали — на что я, признаться, не рассчитывал, — придало мне мужества. Я уже собирался изложить тысячу причин, которые заставляют меня предпочитать республиканскую форму правления конституционной монархии, я готовился повторить им все то, что ежедневно твердил в лавке господина Дезенна, когда пришел сторож, совершенно ошеломленный, и известил, что один из арестантов залез в каминную трубу. Президент приказал ему открыть по беглецу стрельбу из пистолета и предупредил, что если тот сбежит, тюремщик ответит за него головой. Это был несчастный Моссабре. По нему выстрелили несколько раз из ружей, и тюремщик, видя, что это безрезультатно, зажег солому. Он свалился наполовину задохнувшийся от дыма, и его прикончили у дверей судилища.

Покончив, таким образом, с этим инцидентом, судьи снова занялись допросом Сен-Меара.

Один из судей: “Посмотрим, служили ли вы действительно в полку короля. Знали вы там господина Моро?”

“Да, милостивый государь, я знал даже двух: одного очень высокого, очень толстого и очень благоразумного; другого очень маленького, очень худого и очень...” — я сделал движение рукой, чтобы выразить жестом легкомыслие.

Тот же судья: “Совершенно верно, я вижу, что вы действительно знали его”.

На этом мы остановились, когда открылась одна из дверей судилища, выходящая на лестницу, и я увидел отряд из трех человек, который вел господина Марга, бывшего майора, прежнего товарища моего по полку и недавнего по камере в аббатстве. В ожидании окончания суда надо мной его поставили на место, где стоял я, когда меня только что ввели в эту комнату.

Президент, сняв шляпу, сказал: “Я не усматриваю ничего, что делало бы этого господина подозрительным; я дарю ему свободу. Согласны ли вы с моим мнением?”

Все судьи: “Да-да, это справедливо!”

Едва были произнесены эти *божественные* слова, как все бывшие в комнате стали меня обнимать. Я услышал вокруг аплодисменты и крики «браво!». Я поднял глаза и увидел несколько голов, смотревших через решетчатую отдушину комнаты. Тогда я понял, что именно оттуда слышался глухой ропот, смущавший меня во время допроса.

Президент поручил депутации из трех лиц объявить народу о вынесенном только что приговоре. Во время этого заявления я просил моих судей, чтобы они дали мне копию оправдательного приговора, и они мне это обещали. Президент спросил меня, почему я не ношу креста ордена Святого Людовика, который, как он узнал, был у меня. Я отвечал, что товарищи по заключению посоветовали мне его снять. Он сказал, что поскольку Национальное собрание еще не запретило носить этот орден, то человек становится подозрительным, если его не носит. Вернулись три депутата, велели мне надеть шляпу и вывели за ворота. Едва я показался на улице, как один из них воскликнул: *“Шапки долой... Граждане, вот человек, для которого ваши судьи просят милости”*. После произнесения этих слов исполнительная власть подхватила меня и поставила среди четырех факелов. Все окружающие стали обнимать меня. Зрители кричали: *“Да здравствует нация!”* Эти почести, которые очень тронули меня, отдали меня под покровительство народа. Аплодируя, он расступился и пропустил меня и трех депутатов, которым президент поручил сопровождать меня до моего дома. Один из них сказал мне, что он каменщик и живет в Сен-Жерменском предместье; другой, уроженец Буржа, был парикмахером; третий, одетый в мундир национального гвардейца, сказал, что он союзник. Дорогой каменщик спросил, не страшно ли мне. *“Не страшнее, чем вам, — отвечал я ему, — вы, вероятно, заметили, что я не робел на суде; тем более я не стану трепетать на улице”*. — *“Вы были бы неправы, если бы боялись, — сказал он мне, — теперь вы священны для народа и если бы кто-нибудь напал на вас, он немедленно погиб бы. Я сразу заметил, что вы не из преступников, занесенных в реестр, но испугался за вас, когда вы сказали,*

что служили офицером в королевском полку. Помните, я еще тогда наступил вам на ногу?” — “Да, но я думал, что это кто-нибудь из судей”. — “Черт возьми, это был я! Я думал, что вы губите себя, и мне было бы жаль, если бы вам пришлось умереть. Но вы удачно вывернулись; я очень этому рад, потому что люблю людей, которые не трусят!” Придя на улицу Сен-Бенуа, мы наняли извозчика, который довез нас до моего дома.

При виде меня первым движением моего хозяина и друга было протянуть моим провожатым свой бумажник. Они отказались и ответили ему слово в слово следующее: “Мы исполняем эту обязанность не за деньги. Вот ваш друг, он обещал нам рюмку ликера; мы выпьем ее и вернемся на наш пост”. Они попросили меня дать им свидетельство о том, что они благополучно доставили меня домой. Я им дал его и просил прислать мне копию, обещанную судьями, а также вещи, оставленные мною в аббатстве. Я проводил их до двери, где от всей души обнял их. На другой день один из комиссаров принес мне документ».

Эти страницы воспоминаний Журниака де Сен-Мера мы процитировали только потому, что они дают нам драгоценные сведения об одном человеке и одном здании, которым историки не уделили должного внимания. Человек этот — Майяр, а здание — тюрьма аббатства.

Посмотрим сначала, какова была бойня, а затем займемся мясником.

Я помню, что еще ребенком видел в одном иллюстрированном журнале гравюру, производившую сильное впечатление. На ней было изображено нечто вроде внутреннего вида огромной, живописно расположенной башни. Подпись под рисунком говорила, что художником, нарисовавшим его с натуры, был не кто иной, как сам Майяр. Название также было чрезвычайно красноречиво: «*Вид Революционного трибунала в 1792 году*». Все это вместе взятое производило настолько драматическое впечатление, что впоследствии это клише попало под видом иллюстрации в одно историческое издание, справедливо считающееся серьезным.

И что же? — все это оказалось ложью! Когда в X году здания монастыря Сен-Жермен были конфискованы и пущены на слом, воспоминание о резне, еще живущее в памяти местных жителей, исчезло вместе с постройками, бывшими его свидетелями. Это мрачное воспоминание перенесли тогда на тюрьму аббатства — из всего старинного монастыря уцелела она одна, из нее-то и сделали арену всех сентябрьских событий. Когда в 1857 году она, в свою очередь, была разрушена, потребовалось перенести куда-нибудь место действия этого предания, грозный призрак этой вечно памятной бойни. Так как на улице Шильдебер стоял темный старинный дом с обширным залом странного и мрачного вида, легенду начали относить к нему. Этот дом и послужил моделью для рисунка, о котором мы только что упоминали.

Заблуждение очевидно. Народный трибунал сентябрьских дней заседал в двух местах: в помещении для гостей и в канцелярии тюрьмы. Все остальные предположения являются плодом воображения или фантазии. Если заблуждаются относительно места действия, то не лучше осведомлены и о человеке, игравшем в нем главную роль, что достойно сожаления. Признаюсь, что личность Майяра, изображавшего собой судью и притворявшегося беспристрастным во время этой кровавой драмы, волнует, притягивает и вызывает жгучий интерес. Психология человека, сохранявшего спокойствие среди этой бойни, мирно садящегося за стол со словами *«пора с этим покончить»* и без всяких полномочий выносившего смертные приговоры, останется, вероятно, навсегда неразрешимой загадкой.

Майяр родился в Гурне в 1763 году — значит, в 1792 году ему было всего 29 лет! — и крестный отец дал ему крестильное имя Станислас-Мари. Отец его был купцом и жил в приходе святого Хильдеберта. Так как семья была многочисленной — восемь детей, — им рано пришлось заботиться о заработке. Старший из сыновей, Тома Майяр, первым покинул Гурне и поступил в качестве ученика к судебному приставу, которого звали Антуан Шерротен. Как удалось ему получить место своего патрона? Этого я не знаю, однако 12 марта 1778 го-

да Тома Майяр был назначен приставом в Шатле. Он сразу же выписал из Гурне своего младшего брата Станисласа и дал ему место в своей конторе.

Станислас не был лишен ни ума, ни образования; он был чрезвычайно высокого мнения о своих достоинствах и не считал себя созданным для такой скромной роли. Говорят, он был худощав, высокого роста, одевался аккуратно, даже с некоторой элегантносью. Он не был оратором, но любил говорить, и речи его были увлекательны и горячи. Такой человек должен был с жаром приветствовать зарю революции: он выдвинулся при первых же событиях. «Монитор» называет его среди победителей Бастилии, в числе лиц, оспаривавших друг у друга честь ареста коменданта де Лоне*. 5 октября он с барабаном в руках встал во главе женщин, собравшихся на Гревской площади, и повел их на Версаль. Оттуда он вернулся в придворной карете и заслужил похвалу членов Коммуны. 5 июня 1792 года, меньше чем за три месяца до сентябрьских дней, он женился на Анжелике Паред, и запись о его венчании имеется в книгах прихода Святого Спасителя.

Как очутился он на улице Святой Маргариты вечером 2 сентября, в час, когда возбужденная — кем именно? — толпа обсуждала вопрос об избиении всех заключенных в аббатстве? Здесь мы встречаемся с одной из необъяснимых случайностей, играющих такую большую роль в событиях революции, что они заставляют верить в какую-то обширную и таинственную организацию, члены которой поставили своей целью разрушение монархии. Этой идеей прониклись романисты; может быть, она и верна, поскольку благодаря ей можно найти ключ ко многим загадкам.

Получал ли Майяр от кого-нибудь инструкции? Возможно. Но верно и то, что он один управлял всем этим делом. Он поспевал всюду; он был в тюрьме, где судил заключенных и тщательно просматривал все вердикты; он был также в самом аббатстве, где приговаривал в смерти священников; он был и в монастыре кармели-

* *Гийом де Лоне* — последний комендант Бастилии, убитый народом во время штурма крепости.

тов. Там, установив в одном из помещений стул и бюро, он с безграничным спокойствием допросил первых жертв и отдал их на растерзание злодеев. В течение этих трех дней он работал так хорошо, что заслужил прозвище «Тяжелая рука», которое так и осталось за ним.

Никогда ни одному человеку не придет в голову реабилитировать Майяра; но по справедливости следует признать, что если нескольким людям удалось избежать ужасной расправы, то, может быть, они обязаны своим спасением именно ему. Он и сам пробовал оправдаться, издав с этой целью брошюру, которую теперь невозможно достать. Это своего рода манифест, в котором он описывает всю свою жизнь. «Мои клеветники могут, конечно, — пишет он, — сваливать на меня свои преступления, но записи аббатства всегда будут служить опровержением их слов и доказательством, что я не был таким кровожадным, как они. Фадр называет меня *Септембризером**. Он грубо ошибается. Мне легко доказать, что если бы не я, то все лица, заключенные в аббатстве, были бы растерзаны и убиты...»

«*Я не был кровожадным*» — это заявление в устах Майяра кажется глубочайшим лицемерием. Но не думаю, чтобы это было простой бессовестностью. Позже мы опять встречаем «Тяжелую руку». В 1793 году он исполняет обязанности полицейского, окруженный пятьюдесятью личностями, способности которых известны ему одному. Он рассылает по всем направлениям эту банду шпионов, которые произвольно арестовывают «подозрительных» и захватывают их имущество, никому и никогда не отдавая отчета. В итоге Комитет общественного спасения назначил над ними следствие, и 11 октября 1793 года бумаги Майяра были опечатаны. Хотя у него найдено было всего 8090 ливров ассигнациями, его посадили в тюрьму Ла-Форс, откуда перевели в Люксембургскую тюрьму. Выпущенный оттуда через несколько дней, Майяр не играл больше видной роли в истории революции. Свидетель-

* Непереводаемая игра слов (Septembre — сентябрь, briser — разбивать).

ство доктора Жоффруа, помеченное 27 фримера II года, показывает, что бедный «Тяжелая рука» уже полтора года страдал грудной болезнью и что слабость его была такова, что он не мог ничего делать.

В начале весны 1794 года прохожие указывали друг другу на высокого, худого и сгорбленного человека, который грустно прогуливался по набережной Сены, стараясь идти по солнечной стороне. Он шел мелкими шагами, устремив взор вперед, не смотря ни на кого. Время от времени он прижимал руку к груди в припадке раздирающего кашля, потом выплевывал целые сгустки крови и продолжал свою медленную прогулку. Этот бедняга, харкавший кровью, был Майяр: он умер 15 апреля 1794 года в возрасте тридцати одного года.

...В наши дни на окраине бульвара Сен-Жермен еще виднеется ряд старых облупившихся и покосившихся домов отталкивающего вида, которые были странным образом пощажены при проведении новых улиц и выравнивании линии домов. Они вместе с современным домом священника аббатства являются единственными уцелевшими свидетелями резни. Их темные фасады находились напротив входа в тюрьму. Мимо этих жалких домишек проходили несчастные, приговоренные Майяром, которых тащили в садовый двор, где их ожидали убийцы. Сохранилась также идущая вдоль темных стен двора аббатства узенькая неровная улица, зловещая для тех, кто помнит: по ней Майяр, сделав свое дело, возвращался на заре домой¹²⁶, где ждала его молодая жена. Жители этого квартала, которым рев убийц и вопли жертв всю ночь не давали спать, видели сквозь ставни, как мимо проходила высокая фигура «Тяжелой руки» — спокойный и беззаботный, он мирно шел домой, как служащий, возвращающийся из своей конторы... Быть может, край его длинного плаща касался этих самых камней; по улице Бурбон де Шато, по перекрестку Бюсси и улицы Дофина он шел в центральные кварталы города, равнодушные и спокойные.

В самом деле, Париж узнал о сентябрьских избиениях из газет, что могут понять только парижане. В 1792 году столица была уже настолько большим, оживленным и пестрым городом, что события, подобные опи-

санным, могли иметь в нем лишь местное значение. На этот счет у нас имеется драгоценное свидетельство Филиппа Мориса, молодого писца нотариальной конторы, записки которого мы уже цитировали. Он проводил воскресный день в деревне и возвратился оттуда вечером 2 сентября вместе с одним своим другом. Им захотелось пойти в театр. Явившись на площадь Итальянцев, они нашли двери театра закрытыми. Двери театров Мольера на улице Сен-Дени и Святой Екатерины также были закрыты. Им пришлось отказаться от исполнения своего плана. «Чтобы вернуться к себе домой¹²⁷, мы пошли по улице Сент-Антуан, по Гревской площади и Новому мосту. Мы заметили какое-то оживление в этом квартале¹²⁸ и слышали крики, которые, казалось, неслись с Королевской площади. Так как день был праздничный, мы приписали их излишней веселости жителей этого предместья и продолжали свой путь. Было уже совершенно темно, когда мы пришли на перекресток Бюсси.

Только я пришел на улицу Сены, как заметил какой-то необыкновенный свет со стороны улицы Святой Маргариты и услышал сильный шум, который, казалось, доносился из той же улицы. Я подошел к кучке женщин из народа, собравшейся на углу улицы Бурбон де Шато, и спросил о причине этого шума.

«Откуда он взялся, этот человек? — обратилась одна из них к своей соседке и повернулась ко мне. — Разве вы не знаете, что в тюрьмах кипит работа? Посмотрите-ка на ручей». Ручеек был совершенно красным — он весь состоял из крови. Это была кровь несчастных, убиваемых в тюрьме аббатства. К их крикам примешивались дикие вопли их палачей, а свет, замеченный мною еще на улице Сены, происходил от факелов, которыми запаслись убийцы, а также от соломы, зажженной ими, чтобы осветить их деяния. Несмотря на то что я был утомлен от прогулки, ко мне вернулись силы, чтобы бежать от этого ужасного зрелища. Я уже вернулся на улицу Гренель, но меня все еще преследовали крики жертв и их убийц».

К этой картине надо прибавить еще одну, последнюю, подробность. В воскресенье 9 сентября открыва-

лась ярмарка в Сен-Клу. Весь Париж толпою явился туда; никогда не бывало более веселого и блестящего праздника. В то время как там танцевали и кутили, могильщики уносили в каменоломни Монруж уже забытых мертвецов, огромные груды которых скопились во дворе старого аббатства Сен-Жермен-де-Пре.

4. Кармелитский монастырь¹²⁹

Эта глава — лишь *post scriptum*, обязательный эпилог к повести об избиениях в аббатстве. На сей раз нам не придется восстанавливать здание, где все происходило: оно сохранилось целиком. До сих пор здесь можно видеть коридоры со сводами, холодные галереи, вдоль которых тянется линия одинаковых низких дверей, ведущих в кельи, высокие залы монастыря с панелями из темного дуба, с деревянными, вделанными в стены сиденьями...

В монастыре кармелитов ни один камень не сдвинут с места; вот маленькая дверь, откуда вызывали жертв, вот длинный коридор, по которому их вели на смерть; по этим самым плитам шли они неверными шагами. Там видно крыльцо с двумя решетками, где начиналась резня; среди ветвей плакучей ивы, между двумя пожелтевшими венками — простая надпись *hic ceciderunt* (здесь они пали). В этом узком окне из-за заржавленной решетки внезапно показалось бледное лицо Майяра¹³⁰, крикнувшего своей банде: *«Подождите! Не убивайте их сразу, их будут судить!»* А вот и темный коридор, где происходило это подобие суда.

Через сто лет после кровавых событий люди, посещающие эти мрачные места, проходят по коридорам и залам сосредоточенные, будто погруженные в какое-то оцепенение. Вот мы пришли в «Комнату шпаг», и посетители останавливаются в молчании перед кровавыми следами, которые оставили на стенах сабли убийц. Потом идут в сад и стоят там, вперив взоры в ту дверь, что в течение трех часов открывалась сто двадцать раз, чтобы пропустить сто двадцать несчастных; их встречали ревушие, опьяненные, смеющиеся пала-

чи Майяра, поджидавшие свою добычу. Какое зрелище открывалось с высоты шести ступеней этого крыльца! Банда убийц стояла здесь с засученными рукавами, вытирая лица окровавленными руками, и фоном для этой картины служил сад с его желтеющими грабами и глубокой тенью прямых аллей. Жертву сбрасывали вниз с тех самых каменных ступеней и раздирали, отталкивая друг друга, так как всякий желал нанести первый удар. Многие из страдальцев покорно падали сразу, их быстро рубили саблями, топтали ногами и выбрасывали в чащу, где они умирали; но некоторые, молодые, обезумевшие от близости смерти, от ужаса неизбежных мук, от вида и запаха крови, отбивались, стараясь убежать. Тогда начиналась охота — вдоль всего сада свора неслась за черной сутаной, ее выслеживали в чаще деревьев и загоняли в угол, избивая чем попало в разгаре погони. Четирем или пяти удалось добежать до стены в глубине сада — почерневшая, высокая (футов десять), она стоит еще и теперь. Там есть каменная статуя монаха, за которой спрятались беглецы. Потом невероятным, чудесным прыжком они при помощи этой статуи забрались на стену и бросились в соседние сады. Они спаслись. Но один из них карабкался по уступу стены, он упирался коленями, цеплялся, тянулся; еще мгновение — и он достиг бы вершины, когда пуля попала ему в голову. Руки его опустились, тело вытянулось, и медленно, во весь рост, упал он к подножию стены; на этом месте есть надпись, но она почти стерлась, прочесть ее нельзя, она еле заметна на облупившейся извести.

Этот сад, весь заросший кустарником и высокой травой, производит зловещее впечатление. Его уже давно, — лет сто, может быть, — не расчищали, и растения, когда-то украшавшие его, одичали и разрослись в непроходимую чащу. Над ней возвышаются кусты гигантского чертополоха; из-под сорных трав виднеются маленькие, тощие тыквы; непривитые лозы расползлись как дикие лианы; кое-где заметны венчики бледных чахлах цветов. И когда смотришь на высокий фасад монастыря с церковным обводом, с легкой живописной башней и крышами из рыжей черепицы,

то кажется, что он, заплесневевший, осыпавшийся, почерневший, помнит и ужасается тому, что он видел.

...В прежние времена в глубине сада, у самой ограды, стояло простое здание, служившее местом собраний для духовных бесед или молитв. Там после резни сложили штабелями трупы, подобранные в аллеях, при этом раздев их. 3 сентября Люксембургская коммуна вспомнила о них. Один из ее членов по имени Добанель предложил похоронить их, но прежде раздать их одежду *тем, чьими руками они были раздеты*. Жители этого квартала видали, как под вечер туда явилось несколько человек с двумя тележками. Они вошли в монастырь через двери, выходящие на улицу Вожирар, заперли за собой дверь, и всю ночь было слышно, как они разговаривали и смеялись, но что они делали там, никто не знал. Потом стало известно, что на заре два или три раза тележки ездили на кладбище Вожирар и отвозили туда трупы. Потом монастырь был закрыт и на дверях его вывесили надпись: *«Национальная собственность, предназначенная к продаже»*.

Во времена Империи его приобрела одна набожная дама, госпожа де Сойекур. Она переделала в часовню сарай, где лежали тела мучеников, плиты которого были запятнаны их кровью. Она воздвигла крест на соседнем засыпанном колодце и жила почти в одиночестве, заняв одну из монастырских келий. Умирая, она завещала епархии старинное кладбище Кармелитов, и там открыли школу высших богословских наук. В 1867 году город решил продолжить улицу де Ренн: направление ее было таково, что пришлось захватить порядочный кусок сада, уже сильно пострадавшего при проведении улицы д'Асас. «Часовня мучеников» должна была исчезнуть, как и деревянный крест, поставленный рядом с ней госпожою де Сойекур.

Существует предание, что трупы священников, убитых 2 сентября, не все были перевезены на кладбище Вожирар и что большую часть их наспех зарыли в колодце, над которым стоял этот деревянный крест. Его прозвали *«Колодцем мучеников»*. Прежде чем уступить землю монастыря, епархиальное управление захотело выяснить этот вопрос. 20 мая в присутствии архидьякона рабочие

вырыли крест, разобрали небольшой каменный холм, служивший ему подножием, и открыли отверстие колодца, оказавшегося совершенно засыпанным. Розыски продолжались, и приблизительно на глубине 50 сантиметров под землей нашли много костей, но ни одна из них не походила на кости человека: это были кости быков, баранов и цыплят. Раскопки в этом месте продолжались с 20 по 30 мая, но больше ничего не нашли. Тогда признали, что продолжать эти поиски бесполезно.

Пока землекопы рассматривали мусор, вырытый из колодца, к ним подошел очень старый человек, не желавший открыть своего имени. Вероятно, это был один из сентябрьских убийц, может быть, один из «раздевальщиков», о которых говорил Добанель, который до сих пор стыдился того, что сделал семьдесят пять лет назад... Взяв под руку одного из рабочих, он отвел его на середину сада и сказал: «Они здесь». Тогда, рассмотрев старинные планы кармелитских владений, архитекторы нашли, что на указанном месте в старину был колодец, от которого не осталось и следа. Начали производить раскопки и после первых же ударов киркой отрыли кусок каменной стены. Сомнений не оставалось — это была старая стена колодца. Прodelав в ней брешь, увидели внутренность колодца. Он был засыпан и заделан, а сверху еще завален слоем чернозема сантиметров сорок толщиной.

Как только срыли верх колодца, найдены были первые скелеты. Они лежали на слое извести, под которым найдено было еще большее количество костей. Я пропускаю здесь некоторые ужасные подробности, о которых говорит доклад архитекторов. Скелеты сейчас же были взяты, положены в специально заготовленные ящики и перенесены в одну из келий монастыря. 8 июня весь колодец был очищен, и оставалось только тщательно осмотреть вырытую из него землю, чтобы извлечь из нее различные вещи, которые могли там оказаться. Действительно, кроме отдельных костей, в ней нашли множество обломков и осколков. Только садовых инструментов после пересчета оказалось 350 штук, затем была найдена метла, стаканы, бутылки, маленький бочонок, две бочки, простая фаянсовая посуда,

окрашенная изнутри в белый, а снаружи в коричневый цвет, с маркой отцов-кармелитов. На некоторых тарелках виднелась надпись: «Босоногие кармелиты», на других были только буквы К. Д. («Carmes dechausses»), и лишь на одной тарелке было изображение горы Кармель, над которой возвышался крест. Отрыли лежавшие вперемешку ночные горшки, кости от жаркого, обломки мраморных плит, раковины устриц, косточки персиков, дынные и тыквенные семечки, зеленый миндаль, банки из под варенья и аптечные баночки, ложку, вилку, губки, лампы, щипцы для завивки волос, нож, две лопаты, сильно заржавевшие и покрытые сгустками, похожими на запекшуюся кровь (вероятно, они служили орудием убийства). Еще там были ключ, часовой циферблат, пуговица от башмака, пряди волос...

Доктору Дуильяру поручено было определить, какого рода кости найдены в колодце. Он выполнил эту кропотливую работу и представил о ней подробный и чрезвычайно интересный доклад. Особенно тщательно он рассматривал следы от ран, сохранившиеся на черепах, по которым можно было судить, как именно несчастные были убиты. Почти на всех найденных целыми черепах обнаружен был перелом, начинающийся у внутренней стороны виска и кончающийся у теменной кости. Перелом этот, очевидно, был причинен очень сильным ударом тупым орудием (палкой, обухом топора и т. п.). На очень немногих найдены были огнестрельные раны. Из девяноста двух найденных челюстей всего двадцать одна была невредима, остальные были сломаны или раздроблены...

После всех этих открытий не оставалось сомнения, что найдены кости жертв сентябрьских избиений. Очевидно, могильщики, посланные секцией, почувствовали усталость, перевезя несколько (штук тридцать) трупов на кладбище Вожирар, и бросили остальные в высохший старый колодец, набросав сверху все, что им попало под руку в саду — отсюда удивительное множество садовых инструментов. Они швырнули туда даже остатки угощения, выданного 2 сентября палачам Майяра после окончания их дела. Говорят, этот ужин был им подан в посуде монастыря, а на десерт

они оборвали все плоды сада. Доктор Дуильяр пришел к заключению, что число людей, кости которых он осмотрел, доходило до 90—95 человек. Среди них было, по крайней мере, две женщины и трое детей младше десяти лет (эти кости могли попасть туда из церковных могил, разрытых из корыстных побуждений). На двадцати четырех скелетах найдены следы ранений, указывающие, что они погибли насильственной смертью.

Реликвии эти выставлены в склепе церкви кармелитов и представляют собой предмет поклонения богомольцев. Склеп, в котором они хранятся, является, быть может, самым волнующим зрелищем из всего, что можно увидеть в Париже. За толстой решеткой, покрытой неполированным стеклом, стоят две огромные раки, где на обтянутых бархатом полках разложены скелеты и черепа, хранящие шрамы от ран, нанесенных стальными или свинцовыми орудиями сентябрьских палачей. Вокруг часовни на черных мраморных досках вырезаны имена ста семнадцати жертв, которых истории удалось открыть. Сам пол засыпан землей, вырытой из колодца, а в отдельном склепе сохраняются обломки садовых инструментов, оружия, стекла и посуды, находившиеся в течение семидесяти пяти лет в соприкосновении с трупами мучеников.

Здесь есть еще одна могила, которая хоть и не принадлежит жертве сентябрьских избиений, но тем не менее является предметом поклонения верующих. Там покоится прах госпожи де Сойекур; она была дочерью дворянина, обезглавленного во времена террора после заключения в кармелитском монастыре, и ею овладело возвышенное желание приблизиться к этому месту, освященному кровью мучеников. С приходом лучших времен она употребила свое состояние на покупку церкви, монастыря и большей части монастырских угодий. Следовательно, это ей мы обязаны сохранением этого почитаемого места; благодаря ее набожному рвению постройки кармелитов были спасены от неминуемого разрушения, которое постепенно стерло с лица земли почти все памятники революционной эпохи. Здесь, по крайней мере, уцелели стены, которые видели много замечательного и красноречиво говорят о нем.

САЛОН ГОСПОЖИ РОЛАН

На языке гастрономов спинной мозг волов и ягнят называется *amourette* (любовное увлечение), и это куртуазное название придумал некий Ротиссе. Этот талантливый человек, служивший главным поваром у маркиза Креки, утверждал также, что именно он изобрел «суп деревянной ножки» (аккуратно срежьте мясо и обложите мозговую кость гренками). Честь эту оспаривает у него виконт де Бешамель де Нуантель, первый метрдотель регента, именем которого назван известный белый соус.

У этого Ротиссе от его брака с горничной маркизы Креки родилась *барышня* Фаншон Ротиссе, сочетавшаяся браком с мастером-ювелиром по имени Флипон... Оборвем здесь эту генеалогическую ветвь: ювелир этот, живший на набережной Очков, пользовался в 1772 году большой известностью среди жителей квартала. И не потому, что он отличался какими-то особенными дарованиями, а из-за своей хорошенькой дочери, свежей, как персик, и ученой, как целая библиотека. Звали ее Манон Флипон. Совсем еще ребенком она получила все награды за изучение катехизиса в приходе Святого Варфоломея. И буржуа ставили ее в пример своим дочерям как самую прелестную девочку в предместье.

Не можем сказать, чтобы хорошенькая Манон, ставшая впоследствии госпожой Ролан, при чтении ее ме-

муаров представлялась нам очень симпатичной особой. Восемилетней девочкой она смеялась, когда ее добрая мамаша Ротиссе рассказывала ей, что маленьких детей находят в капусте, и до такой степени увлекалась сочинениями Плутарха, что вместо молитвенника брала их с собой в церковь. Шестнадцатилетней девушкой она говорила нежным голоском: «В смысле религии я согласна с авторами Пор-Рояля*, а их логичность и суровость *подходят к моим взглядам*». Все это вместе взятое придает ей вид позирующей для потомства претенциозной и педантичной мещаночки и мешает правильно судить о ней.

Всеми взглядами, составлявшими ее гордость, она была обязана чтению. Библиотека отца Флипона состояла из кучи разрозненных, пожелтевших и пыльных томов. Манон случайно открыла их, шаря по кладовым дома. В девять лет она читает Библию и заинтересована ею, «потому что она выражается так же откровенно, как медицина». Читает она и «*Гражданские войны*» Аппиана, и «*Комический роман*» Скаррона, и «*Записки*» храброго Понти, и «*Очерк геральдики*», и сборник законов. Этой странной смесью питает она свой ум, когда дни напролет читает и мечтает.

Она любит из своего выходящего на север окна «на огромное пустынное небесное пространство, на его чудный лазурный купол, великолепно окрашенный, начиная с голубоватого далекого востока, виднеющегося из-за моста Шанж, до запада, позолоченного яркой зарей, пылающей за деревьями парка и домами Шайо». Мастерская ее отца помещалась в большой мебелированной комнате, украшенной зеркалами и несколькими картинами. Углубление около камина позволило устроить там нишу, освещенную маленьким окошечком. Там стояла кровать Манон, так тесно окруженная перегородками, что девочке приходилось влезать на нее со стороны ног; стул, столик и несколько полочек довершали меблировку ее уголка¹³¹.

* Знаменитый женский монастырь, основанный в 1204 году и ставший в XVII веке местом пребывания философской школы.

Если кажется удивительным, что этот ребенок читает «Кандида»*, то еще большее изумление возбуждает тон, которым она уже взрослой передает свои детские впечатления. В каждой строке ее просвечивает безмерная гордыня, невероятное тщеславие маленькой мещанки, преисполненной самолюбованием до такой степени, что «она не знала, что ей с ним делать». Она любит себя в воскресенье за обедней, куда является в костюме, «*который могла бы надеть дама, катающаяся в собственном экипаже*». Ее манеры и речи вполне гармонируют с этим нарядом, но с еще большим восхищением она рассказывает о том, как в будние дни в холщовом платье шла со своей матерью на базар. Она выходила даже одна — оцените эту античную черту, — чтобы в нескольких шагах от дома купить петрушки или салата, когда мать забывала сделать это сама. Надо признаться, что это было ей совсем не по душе, но она исполняла подобные поручения так любезно и с таким достоинством, что фруктощица *или другая особа этого сорта* спешила обслужить внучку повара Ротиссе прежде всех других клиентов.

«Эта малютка, — говорит она о себе самой, — которая прекрасно могла объяснить законы движения небесных светил, которая рисовала карандашом и тушью и в восемь лет танцевала лучше всех на вечере, где были взрослые девицы, — эта малютка часто принуждена была идти на кухню, чтобы зажарить яичницу или сварить суп». К этому она гордо прибавляет: «Я нигде не терялась», — что не мешает ей через несколько строк говорить о своем «*глубоком смирении*».

Ее повезли в Версаль. Невозможно выразить те страдания, которые пережила эта завистливая умница при виде роскоши, окружавшей тысячелетний двор монархов Франции. Она негодует, что ей с матерью пришлось поместиться в уступленной им на время квартирке под самой крышей замка. Она принуждена смотреть на различные церемонии издали, затертая толпою среди придворной челяди, и притом вздыхает,

* Сатирическая повесть Вольтера.

«думая об Афинах, где ее взоры могли бы наслаждаться произведениями искусства, не испытывая в то же время оскорбления при виде деспотизма». Но больше всего ее огорчает то, что она не привлекает всеобщего внимания. «Если мои глаза или моя юность вызывали кого-нибудь на комплимент, то *в нем чувствовалось почти покровительственное отношение*». А между тем она любезно сообщает потомству, что «заслуживала того, чтобы на нее любовались». «В четырнадцать лет, как и теперь, я была около пяти футов ростом; фигура у меня уже вполне сложилась. Красивые ноги с высоким подъемом, очень высокие бока, широкая, пышная грудь, покатые плечи, грациозная и прямая постановка корпуса, быстрая и легкая походка — все это было заметно с первого взгляда. В лице моем не было ничего эффектного, кроме ослепительной свежести; выражение его было чрезвычайно кротким... Рот несколько велик, встречаются тысячи более красивых ртов, но ни у одного из них нет улыбки более нежной и соблазнительной... Открытое, прямое выражение живых и кротких глаз, увенчанных темными, как и волосы, прекрасно обрисованными бровями, иногда удивляет, но чаще кажется ласковым и всегда пробуждает мысль... Цвет лица скорее румяный, чем бледный, нежная кожа, округленная форма рук, кисти их — приятные, но не маленькие; узкие и тонкие пальцы говорят о ловкости, движения их исполнены грации. Ровные белые зубы и полнота, свидетельствующая о прекрасном здоровье — вот сокровища, которыми наградила меня природа».

Не правда ли, этого вполне достаточно, чтобы одержать тысячи побед? Но вельмож Версаля не смуглили все эти прелести, зато — подумайте, какая неудача! — в Манон влюбился мясник! Барышня Флипон удостаивала иногда, как мы знаем, своим посещением съестные лавки. Мясник, отпускаявший ей товар, строил ей при этом глазки; на прогулке он постоянно попадался навстречу в своем лучшем черном костюме и низко кланялся *дамам*, не вступая с ними в разговор. Не решаясь признаться в сжигавшей его страсти, мясник выражал свои чувства прекрасными филе и нежными почками,

которые он подносил молодой Флипон. Но, когда он сделал формальное предложение, девица Манон ответила, «что она никогда не выйдет за человека из простонародья и презирует коммерческих людей, богатых оттого, что они завышают цену и вымогают деньги у бедных рабочих».

О, философия! Какой смешною казалась бы она, если бы эти теории не привели бедную женщину к другому мяснику, от которого ей не удалось спастись. Однако, говоря о тогдашней госпоже Ролан, мы должны вспомнить и другую — женщину, мать, супругу. Ту, на которую указывали через полуоткрытую дверь ее товарки по заключению, когда она в тюрьме Сен-Пелажи часами плакала навзрыд, закрыв лицо руками. В особенности мы должны помнить, что она была действительно настоящей героиней в тот туманный ноябрьский день, когда телега везла ее сквозь ревушую толпу на эшафот.

В этот день мрачный кортеж Сансона* шел по обычному своему пути. Проехали мост Ошанж, повернули налево и двинулись по набережной Межиссер до площади Трех Марий. Те, кто видел госпожу Ролан во время этого путешествия, никогда не могли забыть ее. Едва телега проехала через мост, бедная женщина обратила взор на противоположный берег Сены. Короткие пряди ее темных волос, только что остриженных палачом, окружали разгоревшиеся щеки. Руки ее были стянуты позади веревками. Она держалась прямо и твердо, не смотря на тряску... и смотрела во все глаза.

Она смотрела туда, на этот белый дом с красной крышей, где протекли годы ее юности, на маленькое окошечко, за которым она спала, на высокие окна мастерской отца, на которые она так часто облакачивалась и мечтательно любовалась «на громадное пустынное пространство небес». Она вспоминала о давно прошедших воскресных днях, когда гордая и разряженная шла на уроки катехизиса к священнику церкви Святого Варфоломея, и соседи, стоя у дверей, любова-

* Шарль Сансон — парижский палач, обезглавивший на гильотине многие сотни жертв революции.

лись ею и дружески с ней здоровались. Она видела вновь любимые места, набережные, высокие деревья у Нового моста, старые дома площади Дофина — все знакомое, с чем теперь навеки прощалась. Она вспоминала также о милых летних прогулках вдвоем с матерью по Медонскому парку, о счастливых днях, проведенных в лесу Виллебон. Она вспоминала о своих честолюбивых мечтах, о жажде славы, о своем энтузиазме, о желании быть великой, служить родине, принимать участие в общественных делах. Она осуществила свои мечты и от этого умирала.

Без сомнения, впечатление, испытанное ею от этих воспоминаний о годах юности, было очень сильным, так как, приехав к эшафоту, она просила развязать ей руки, чтобы она могла записать необычайные ощущения, пережитые ею с минуты выхода из Консьержери до прибытия на место казни. Просьбу не исполнили, и тайну ее скрыла смерть.

И все же они осуществились — мечты этой гордой мещаночки, не желавшей выйти замуж за человека из простонародья. В двадцать пять лет она вступила в брак с человеком, которому было под пятьдесят, но зато это был дворянин, философ, ученый. Наверное, она со вздохом облегчения покинула старый дом на набережной Очков, чтобы уехать в провинцию, в имение, похожее на замок, со своим старым мужем, фамилия которого Ролан де Ля Платьер казалась дворянской. Была ли она счастлива? Любила ли его? Это должно было остаться тайной ее сердца; но, будучи ревностной ученицей Руссо, она, как и он, чувствовала такое желание исповедаться перед потомством, что не могла удержаться от самых интимных сведений. Поэтому нам известно, что чувства, которые она питала к своему мужу, *«были такого свойства, что совершенно не походили на увлечение»*. Она жертвовала собою скорее из энтузиазма, чем из расчета. Часто чувствовала, что они разные люди; если она оставалась дома, ей приходилось переживать грустные минуты; если выезжала в свет, то бывала окружена там поклонением людей, «из которых, как ей казалось, некоторые могли ее слишком глубоко заинтересовать...» Рассудительная по природе, она находи-

ла *странным и жестоким* долг, связывающий двух людей, которых разница характеров, лет, чувств делала непонятными друг другу. Но в то же время она считала, что следует быть *добродетельной для других и благонаправной для себя самой*. И она осталась благонаправной: это была холодно обдуманная верность, но не любовь.

Что касается Ролана, то он обожал ее; он казался старше своих лет, говорил монотонно и исключительно о себе самом; это был упрямый и скучный человек. Одевался он небрежно, и когда был уже министром, то гулял по улицам пешком в поношенной скверной куртке с продранными локтями, в шерстяных чулках... Но каким милым и прекрасным должен был казаться этот почтенный муж честолюбивой дочери ремесленника Флипона в тот вечер, когда около 11 часов — супруги Ролан собирались уже ложиться спать, — кто-то постучал в дверь отеля «Британник», где они жили. Это пришли Дюмурье и Бриссо*, чтобы сообщить Ролану о назначении его министром внутренних дел и приветствовать своего коллегу. Какая безумная радость! Какие иллюзии! Какие мечты!

Госпожа Ролан с безграничной ловкостью вела всю интригу.

Известно, что в начале 1791 года супруги вернулись в Париж, чтобы пробыть там несколько месяцев. Ролан был уполномочен представить Национальному собранию прошения Коммуны и торговых палат Лиона. Супруга с невыразимой радостью увидела снова берега Сены. Остановились они в отеле «Британник» поблизости от площади Дофина, и, конечно, молоденькой Манон лестно было показать всему кварталу, что она стала настоящей дамой и принимает у себя видных людей. Действительно, друзья Ролана были у власти, и Манон сразу поняла, что настал час, когда и она может сыграть роль.

Она поспешила в Собрание и просила представить ей Бриссо, с которым она уже переписывалась. Сейчас

* В «министерстве патриотов» (жирондистов) генерал Дюмурье был военным министром. Жан Пьер Бриссо возглавлял жирондистскую фракцию в Конвенте.

же она стала мечтать о том, чтобы сделаться хозяйкой политического салона. Она пригласила Бриссо. Однажды вечером он явился и привел с собою Петиона. За ним пришел Клавьер, затем Бюзо, Луи де Ноайль, Вольфиус и младший Антуан. Робеспьер заставил себя просить; но так как он знал, что там говорили о политике, и любил быть в курсе дела, то не замедлил сделаться одним из завсегдатаев «Британника».

Я могу представить себе, что общественные деятели нашего времени представляют собой лишь слабое подобие своих предков — членов Учредительного собрания и Конвента. Те были суровыми идеологами, начиненными теориями, и принимали всерьез свою роль членов парламента. Наши современники, люди более светские, менее педантичны и не брезгают иногда, как мне кажется, сбросить с себя бремя государственных дел и отдохнуть от законодательных трудов. Но, как бы ни были преданны общественному делу такие люди, как Бюзо, Петион или Бриссо, я считаю неправдоподобным, чтобы между Собранием, где они мужественно заседали два раза в день, и клубом, где они регулярно проводили свои вечера, они испытывали желание собираться, чтобы снова говорить о политике. Этому я не могу поверить, хотя бы разговоры эти и происходили в обществе сурового Ролана, который представляется мне — быть может, я и ошибаюсь — чрезвычайно скучным человеком.

Конечно, это не так; эти люди были мужчинами, и если что-нибудь привлекало их в отель «Британник», то именно общество любезной, умной и красивой женщины. Она им льстила, и они старались нравиться ей. Так как она презрительно относилась к пошлomu уходуванию и комплиментам, они говорили при ней о счастье человечества. Это была их манера ухаживать за этой римлянкой, переодетой в костюм парижанки. А сам Ролан — заблуждался ли он на этот счет? Или понимал, что к ним приходят ради его жены, а не ради него самого? Не думаю. Но Манон не ошибалась на счет этого, доказательством чего является то, что она всегда присутствовала при этих разговорах. Она прекрасно сознавала, что если бы не показалась сегодня, то завтра

не явился бы никто из них. Об этих собраниях в отеле «Британник» она оставила нам красноречивый очерк. «Я жила, — пишет она, — в роскошном помещении, в хорошем квартале... Создалось обыкновение, при котором депутаты, собиравшиеся для совместного обсуждения различных вопросов, являлись ко мне два раза в неделю, после заседания в Собрании и перед заседанием в Клубе якобинцев.

Я сидела у окна перед маленьким столиком, на котором лежали книги, учебные пособия и женские рукоделия. Я работала или писала, в то время как они рассуждали. Я предпочитала писать, потому что тогда казалось, что я совсем далека от их разговора, и в то же время я прекрасно могла вслушиваться в него. Я могу делать одновременно несколько дел и так привыкла писать письма, что это не мешало мне слушать разговор о чем-нибудь совершенно отличном от содержания моего письма. Мне кажется, что во мне три личности. Я могу разделить свое внимание, как материальный предмет, пополам, и управлять обеими этими половинами как отдельное от них существо. Я помню, как однажды, когда эти господа оказались о чем-то различного мнения и спор их сделался очень шумным, Клавьер, видя, с какой быстротою я пишу, довольно остроумно заметил, что только женщина способна на подобное и что все же ему это кажется удивительным. «Что ж бы вы сказали, — улыбаясь, спросила я, — если бы я слово в слово повторила вам те доводы, которые вы только что приводили?»

Кроме обычных приветствий при появлении и перед уходом этих господ, я никогда не позволяла себе произносить ни слова, хотя часто мне приходилось стискивать губы, чтобы удержаться. Если кто-нибудь заговаривал со мною, то это бывало уже тогда, когда начинали расходиться и все вопросы были решены. Кроме графина с водой и сахаром никаких напитков у меня не подавалось, ибо я находила, что это единственное, чем можно угощать людей, пришедших поговорить сразу после обеда... Поведение Робеспьера на этих происходивших у меня собраниях было примечательно: он мало говорил, часто посмеивался, бросал не-

сколько саркастических фраз, никогда не высказывал своего мнения. Но на другой день, после сколько-нибудь значительного разговора, он обязательно появлялся на трибуне Собрания и там пользовался мыслями, высказанными накануне его друзьями»¹³².

Я долго разыскивал отель «Британник», где происходили эти собрания: он, наверное, еще существует, так как все дома на улице Ренего очень стары и не перестраивались с XVIII века. Мои поиски не увенчались успехом; но я не могу проходить мимо этих старинных зданий, не вспоминая о ночи 21 марта 1792 года, когда Дюмурье позвонил в дверь Ролана и сообщил ему великую новость: «Вы — министр!» Старик принял это известие с полным спокойствием, жена его напустила на себя вид равнодушия и достоинства, но мы, зная, какова она была, понимаем, что ею должна была овладеть безграничная радость. Все существо ее воскликнуло: наконец!

На другой день нагрузили сундуки на извозчика и мещаночка поспешила переселиться в отель министерства. Это был чудный дворец «на улице Нев де Пти-Шан», выстроил его Лево для графа де Лионна; там жил Поншартрен*, а элегантный Калонн** превратил его в одно из чудес Парижа. Как должно было биться сердце честолюбивой Манон с набережной Очков, когда она увидела украшенное колоннами величественное крыльцо своего нового жилища, а извозчик въехал в большой окруженный арками двор! Как легко вбежала она на крыльцо, прошла большие залы сторожей, поднялась по широкой лестнице с двойными перилами! Что думала она, когда очутилась в громадных салонах, среди скульптурных украшений, между которыми висело изображение Людовика XIV, венчаемого Славой, когда в высоких зеркалах отразилась ее фигура? Она была дома в этом роскошном дворце, одном из самых пышных отелей Парижа, который Людовик XV находил достойным помещением для чрезвычайных послов; в этом огромном комплексе, вмещавшем в себе

* Министр внутренних дел Людовика XIV.

** Генеральный контролер финансов при Людовике XVI.

две часовни, громадные летние и зимние апартаменты, конюшни на 53 лошади, десять каретных сараев¹³³.

В своих мемуарах она скромно умалчивает об этой главе своего романа: ей не хочется, чтобы читатели думали, что эта перемена в ее общественном положении могла взволновать ее. Она ни на минуту не выходит из своей роли героини-римлянки, не думающей ни о чем, кроме общественного блага, не желающей ничего, кроме спасения Франции. Но она была слишком женщиной, слишком парижанкой, чтобы не быть ослепленной своей судьбою, чтобы не восхищаться самой собой в тот вечер, когда в первый раз она заснула под балдахинном, украшенным белыми перьями, среди расписанных фресками стен, боги и богини на которых, казалось, охраняли ее покой.

Сейчас же благодаря своему безукоризненному такту она поняла, что стала бы смешной, если бы вздумала разыгрывать знатную даму, и составила план своего поведения. Кроме ближайших родственниц, она запросто принимает лишь двух женщин — госпожу Петион, скромно живущую в ратуше, и госпожу Бриссо, почтенную мать семейства, преисполненную добродетелей и поглощенную хозяйственными заботами до такой степени, что она сама гладила рубашки своего мужа и смотрела в замочную скважину, прежде чем открыть двери на стук. Два раза в неделю Манон дает обеды. Один раз коллегам мужа, к которым она присоединяла нескольких депутатов, и другой — людям политики, начальникам отделов министерства, писателям, философам. Стол убран со вкусом, но без всякой расточительности и излишней роскоши. За ним проводят немного времени, так как обед состоит всегда из одной перемены блюд. Она сама заказывает их и всегда сама угощает приглашенных. Гостей бывало человек 15, изредка — 18 и всего один раз их было 20. После обеда некоторое время разговаривали в салоне, а затем каждый возвращался к своим делам. За стол садились часов в пять, а к девяти все гости уже расходились.

Всего одна перемена блюд! Несчастье состоит в том, что в революционное время, когда одни поднимаются вверх, они оставляют за собой голодающих, которые

прежде были их друзьями, у которых такие же жадные рты и которым так же хочется поучаствовать в дележке и быть хозяевами *за столом, убранным со вкусом, хотя и без всякой расточительности*. Одним из них был Эбер: злобный «*Pere Duchesne*»* не мог примириться с тем, что некоторые демократы, одинакового с ним происхождения и убеждений, успели достичь того, что живут во дворце, окруженные роскошью, тогда как он все еще прозябает в каморке на третьем этаже на улице Сент-Антуан. Со своей стороны, дочь ювелира Флипона находила вполне естественным, что она сделалась важной дамой, что играет известную роль, что у нее есть свой двор. Она считала, что заслужила все это своими дарованиями, своей философией, своей добродетелью: для нее Ролан был «Катоном», друзья его — «спартанцами», сама она «римлянкой». *Наши добродетели, его добродетели, мои добродетели*: вот слова, которые она беспрестанно употребляет. Несчастливая! Она и не подозревает, что уже сделалась *аристократкой* и внушает столько же ненависти и зависти, как и сама *Австриячка***. Так изменяется все на этом свете. Эбер со своим обычным остроумием и язвительностью сумел заставить ее почувствовать это. И сделанное им описание одного из обедов во дворце Ролана, где, по его словам, «вознаграждают себя за прежний пост», с этой точки зрения заслуживает, чтобы мы привели его здесь.

«Несколько дней назад депутация из полдюжины санкюлотов явилась к этой старой развалине (рогоносцу Ролану); к несчастью, они попали туда во время обеда. “Что фы хотите?” спросил у них швейцарец, остановив их в дверях. “Мы желаем поговорить с добродетельным Роланом”. — “Здесь софсем нет допродетельных”, — отвечал упитанный и хорошо выбритый страж, протягивая руку для “смазки”. После этого наши санкюлоты прошли по коридору и вошли в прихожую добродетельного Ролана. Они никак не могли протолкаться сквозь толпу слуг, наполнявших ее. Двадцать по-

* «Папаша Дюшен» — название радикальной газеты публициста Жака Эбера, перенесенное на ее издателя.

** Прозвище королевы Марии Антуанетты.

варов, нагруженных самыми изысканными фрикасе, кричали во все горло: “Пропустите, пропустите, дайте дорогу: это соуса добродетельного Ролана!” Другие кричали: “Дорогу жаркому добродетельного Ролана!” Третьи: “Скорее пропустите закуски добродетельного Ролана” и еще: “Вот пирожные добродетельного Ролана!” — “Чего вам надо?” — спросил у депутации какой-то лакей. “Мы хотим поговорить с добродетельным Роланом”...

Лакей идет сообщить эту свежую новость добродетельному Ролану, который появляется нахмуренный, с полным ртом и салфеткой в руках. “Наверное, Республика в опасности, — говорит он, — что вы побеспокоили меня во время обеда”... Ролан провел санюлотов в свой кабинет рядом со столовой, где пировало более тридцати лизоблюдов. На почетном месте, справа от добродетельного Ролана, сидел Бассатье; а слева шпион Робеспьера, маленький Луве со своей картонной физиономией и впалыми глазами, который с вожделинием смотрел на супругу добродетельного Ролана... Один из членов депутации столкнулся с лакеем и уронил десерт добродетельного Ролана. Узнав о гибели десерта, жена добродетельного Ролана в гневе сорвала с головы свои фальшивые волосы».

Фальшивые волосы! Это оскорбление для женщины было обиднее всего, и госпожа Ролан, казалось, живо почувствовала его. Когда через год после этой статьи она предстала перед трибуналом, то показалась своим судьям с кокетливо распущенными волосами; не для того ли, чтобы снять со своей красоты это ужасное, поразившее ее прямо в сердце подозрение — фальшивые волосы?

Настали трудные времена: миновали часы идилии, когда бедная Манон бросала в стаканы гостей лепестки роз, приколотых у ее корсажа, и приветствовала зарю нового века. В последние дни министерства Ролана народное недовольство выражалось столь грозно, что друзья уговаривали министра и его супругу уходить на ночь из дворца на улице Пти-Шан: два или три раза они уступали их настояниям, но эти переселения надоели госпоже Ролан, и она решила ночевать дома. Она

приказала перенести кровать мужа в свою спальню и ложилась спать не иначе, как положив под подушку или на ночной столик пистолет, который она решила пустить в ход «не для бесполезной защиты, а для того, чтобы покончить с собою в случае появления убийц, во избежание оскорблений с их стороны».

В те дни, когда во дворце министерства внутренних дел не было приема, госпожа Ролан проводила вечера вдвоем со своим мужем: ее маленькая дочь Эвдора обедала отдельно со своей гувернанткой. Госпоже Ролан было в то время тридцать восемь лет: она не утратила своей свежести, юности и красоты¹³⁴. Ее муж, которому она годилась в дочери, походил на почтенного американского квакера. Дочь резвилась около них с распущенными кудрями, и вся семья имела вид обитателей Пенсильвании, перенесенных в салон Калонна.

«Я видел у нее, — говорит другой современник, — несколько министров кабинета и главнейших жирондистов. Женщина, казалось, была не совсем на месте в их кругу и не вмешивалась в разговоры; обыкновенно она сидела за своим бюро, писала письма и казалась поглощенной другими делами, хотя не пропускала ни одного сказанного слова. Простота ее наряда не мешала ей быть прелестной, и хотя ее труды достойны мужчины, она украшала свои заслуги всем очарованием своего пола».

Поэтому можно думать, что если салоны министерства внутренних дел посещались многими людьми, то их привлекало туда не столько уважение к Ролану, сколько его очаровательная жена. Все, что было влиятельного в политике, спешило туда, привлеченное грацией, умом, красотой, пылкими убеждениями той, кого Эбер с ненавистью называет женой «рогоносца Ролана».

До сентября Дантон не пропускал ни одного дня без того, чтобы не зайти к ней. То он являлся на совещание, причем приходил раньше назначенного времени, чтобы провести несколько минут с ней, в ее комнатах. То он приглашал самого себя вместе с Фабром д'Эгланте-ном «съесть тарелку супа» в министерстве. Бывали у нее и Дюмуре, «галантный с женщинами, но совер-



Убийство Марата Шарлоттой Корде. Рисунок Ж. Бодри.



Шарлотта Корде. *Портрет, сделанный художником М. Гойером на заседании Революционного трибунала.*



Посмертная маска Марата.

В доме Марата после убийства. *Гравюра А. Бриона.*





Дом Дантона
в Арси.



Парижский дом
Дантона на улице
Кордельеров.



Жорж Дантон.
Рисунок Ж. Л. Давида.



Первая жена Дантона
Габриэль Шарпантье.



Камилл Демулен.

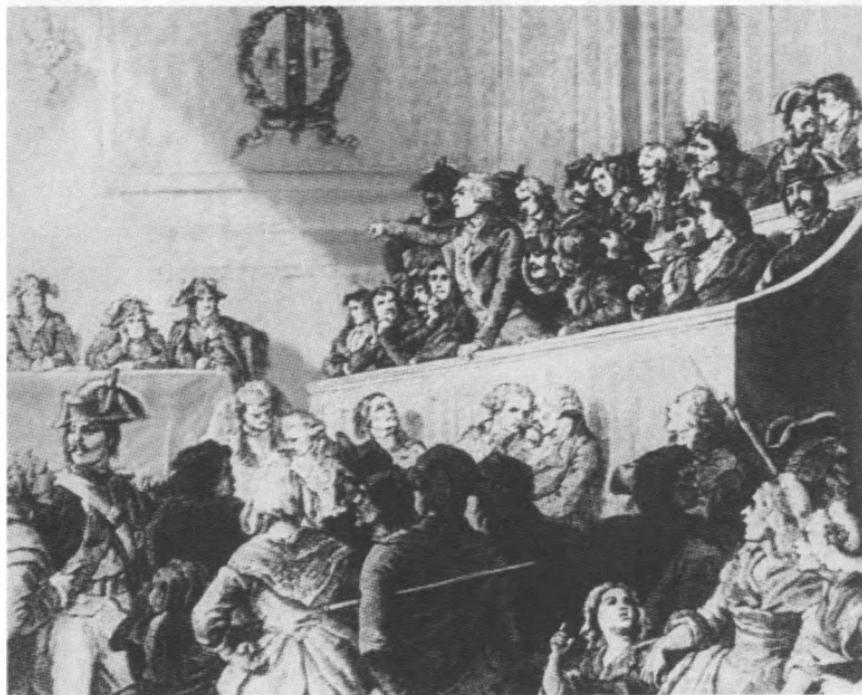


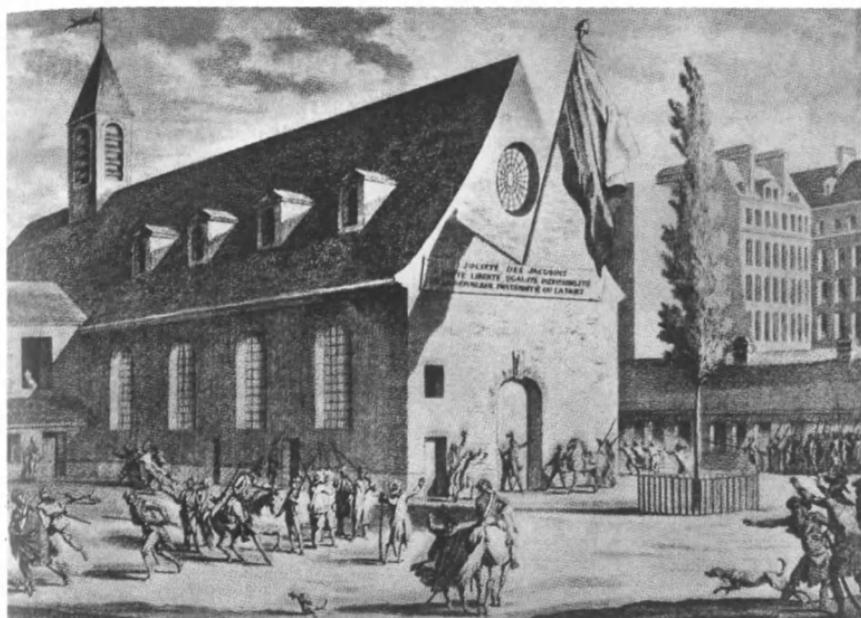
Вторая жена Дантона Луиза Жели с сыном Антуаном.



Жак Эбер — редактор газеты «Папаша Дюшен», вождь эбертистов или левых якобинцев.

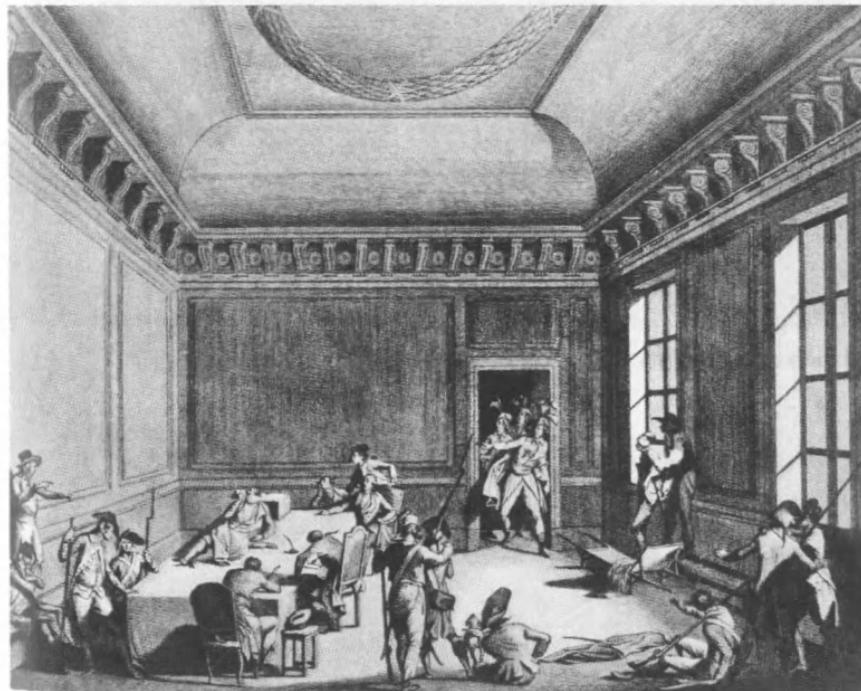
Робеспьер на трибуне Якобинского клуба.





Разгон Якобинского клуба после термидорианского переворота.

Арестованные якобинцы перед казнью.





Парижская тюрьма в дни террора. Картина Ш. Л. Мюллера.





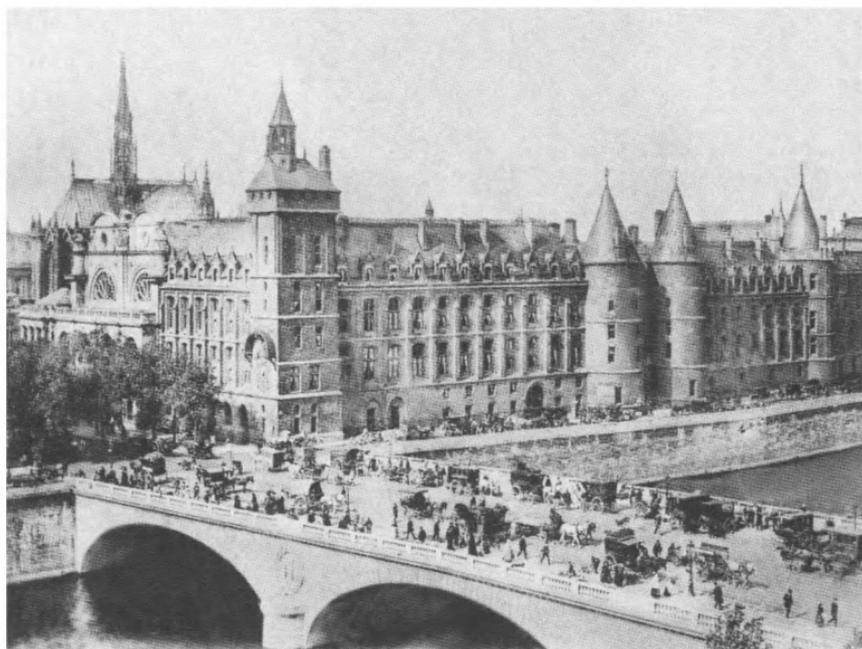
Якобинец. Гравюра времен революции.



Парижские моды первых революционных лет.

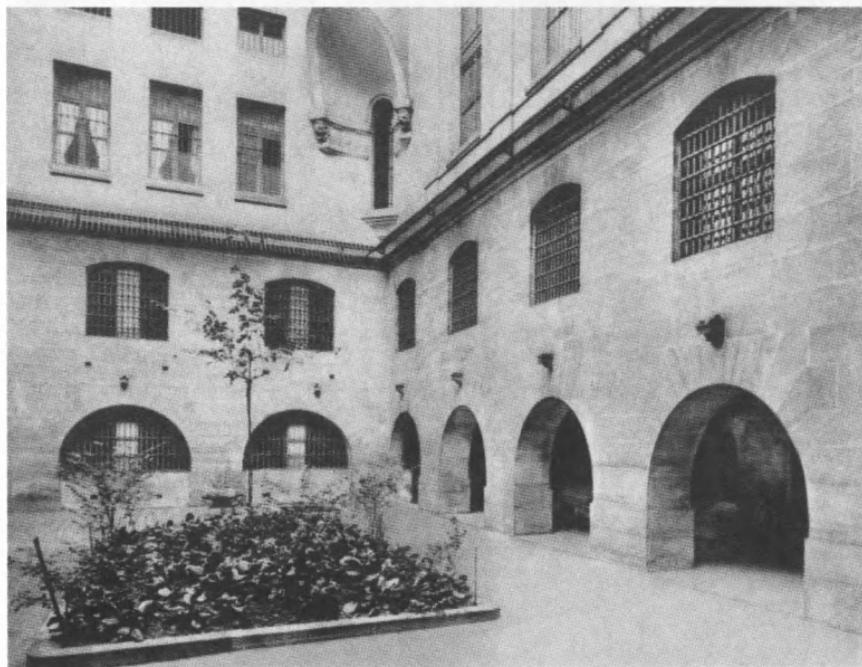
Замок Тампль.

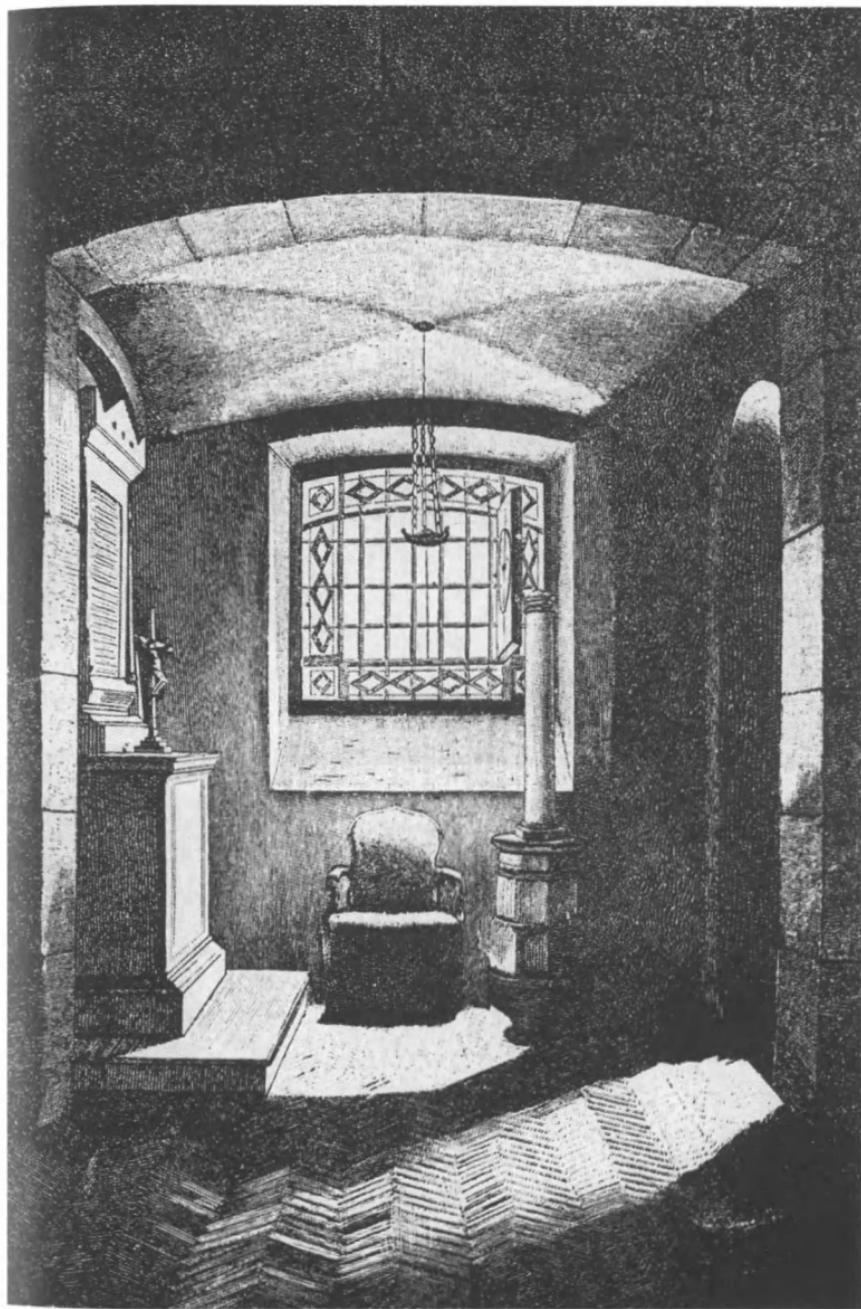




Тюрьма Консьержери.

Внутренний двор тюрьмы, где совершались прогулки заключенных.



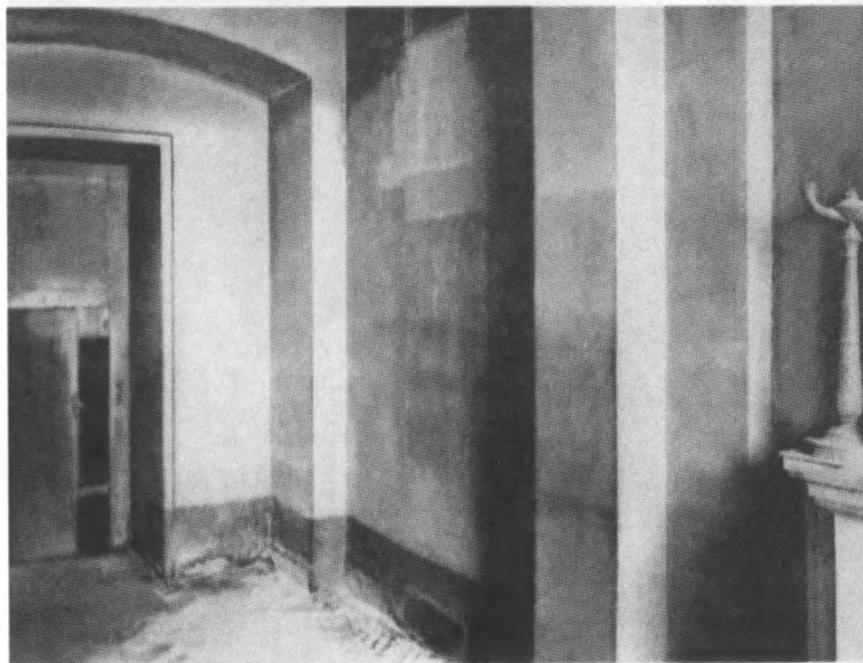


Камера королевы Марии Антуанетты.



Мария Антуанетта
в тюрьме. Портрет
сделан с натуры
секретарем
суда Приером.

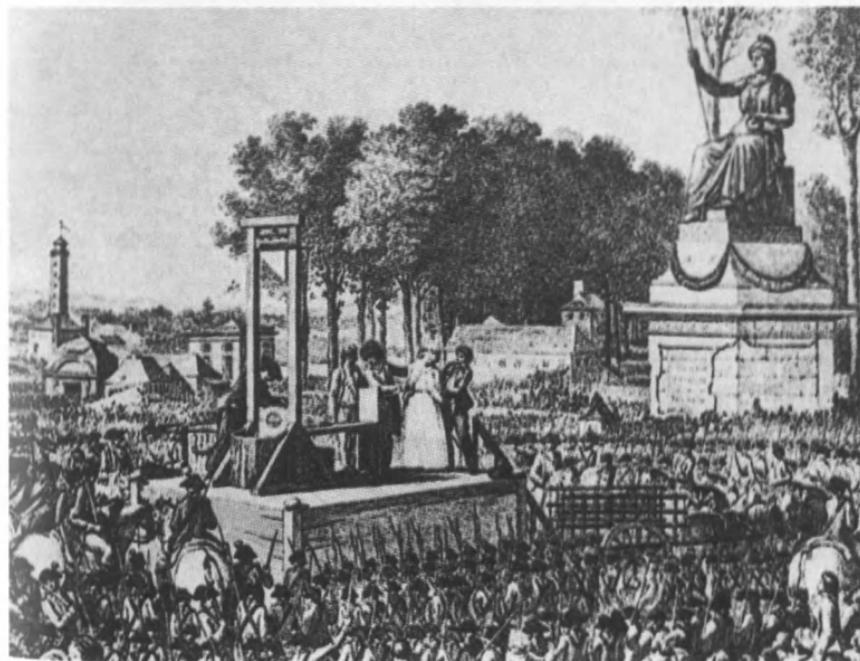
Вид камеры Марии
Антуанетты
в конце XIX века.





Мария Антуанетта перед судом. Гравюра с рисунка А. Бульона.

Казнь бывшей королевы на площади Революции.





Прокурор Революционного трибунала Антуан Фукье-Тенвиль — главный организатор якобинского террора.

шенно неспособный иметь успех у тех из них, кого можно было обольстить разговорами»; и Робеспьер, которому она с трудом прощала его злой язык, скучный тон, некорректные выражения и плохой выговор; и Люкнер, старый военный, полудикий, любивший выпить, вечно бранившийся и со всеми говоривший на «ты»; и Клоотц, «защитник рода человеческого», говоривший длинные и возвышенные речи, много евший и без церемоний стремившийся занять лучшее место и урвать лучший кусок; и Луве, маленький, хилый, близорукий, неряшливо одетый, храбрый как лев и простодушный как дитя, способный поочередно «потрясать погремушками веселья, живописать кистью истории и поражать громом красноречия». Бывали и Горза, и Барбару, и Бриссо, и Лантена, и Банкаль дез Эссар, и Боск. Все они были ее друзьями, а Боск остался верным другом даже в самые тяжелые дни.

Госпожу Ролан, окруженную этими известными людьми, более всего удивляет — она сама говорит это — всеобщая ограниченность. «Ограниченность эта превосходит все, что можно себе представить. И это на всех ступенях общества, начиная с приказчика и кончая военным министром, которому приходится командовать армиями, и посланником, созданным для роли торговца». Если бы не ее опыт, она никогда не поверила бы, что род человеческий так жалок.

Один лишь человек являлся в ее глазах исключением: это был Бюзо. Горячая симпатия, связывавшая его с госпожой Ролан, перешла в глубокую любовь. Она сама смотрела на него как на мужчину, который *«мог бы стать ее любовником»*. Она была в том возрасте, когда года становятся тяжкими, когда прелести увядают. *«Было бы приятно, если бы наше взаимное расположение совпало с долгом, не дать погибнуть бесполезно тому, что еще осталось. С каждым днем становится труднее владеть своим сердцем и употреблять атлетические усилия для того, чтобы защитить свой зрелый возраст от бури страстей»*¹³⁵.

Борьба нравилась этой мужественной натуре, но на этот раз битва была очень трудной. Манон подумывала о том, чтобы уехать из Парижа по *совершенно личной*

причине. Даже тень обмана была бы невыносима для ее честности: она все рассказала Ролану. Бедняга поник головою; его самолюбие было оскорблено так же глубоко, как и самые нежные, интимные чувства. По слухам, не лишенным некоторой вероятности, он решил уйти с ее дороги, если бы ей не удалось победить свою любовь... Ему не пришлось обречь свое сердце на эту муку: смерть подстерегала всех трех героев этой драмы. Развязка ее не могла быть мирной: эшафот предстоял женщине, самоубийство — обоим мужчинам.

Известно, чем была вызвана эта развязка, и мы хотим сообщить лишь ее подробности, которые, ближе подходя к нашему сюжету, могут прибавить несколько новых штрихов к чисто внешней характеристике восстанавливаемых нами событий. 31 мая произошло падение жирондистов: все умеренные попали в тюрьму или обратились в бегство. Ролан, за которым охотились, исчез из своей квартиры на улице Лагарп напротив церкви Сен-Ком, где супруги поселились, покинув министерство¹³⁶.

В полночь 1 июня явились арестовать госпожу Ролан. «Пришел мировой судья: прошли в мой салон, наложили печати всюду, даже на окна и бельевые шкафы; один человек хотел, чтобы их наложили на фортепьяно; ему заметили, что это музыкальный инструмент; он вынул из кармана фут и стал измерять его, как будто проверяя справедливость этих слов. Я просила разрешения достать одежду для моей дочери и для себя самой. Я сделала маленький пакетик из вещей, необходимых для сна. Тем временем десятки, сотни людей беспрестанно входили и выходили, наполняя комнаты, так что среди них легко бы могли скрыться злоумышленники, пожелавшие украсть или подбросить что-нибудь. Воздух наполнился зловонными испарениями, так что я должна была подойти к окну в прихожей, чтобы иметь возможность дышать. Чиновник не смеет приказать этой толпе разойтись; изредка он обращается к ней с просьбой, которая лишь возобновляет это движение...

Наконец, в семь часов утра, я покидаю дочь и своих слуг, стараясь успокоить их... и выхожу из дома. Я увиде-

ла два ряда вооруженных людей, тянувшихся от подножия лестницы до извозчика, который стоял по другую сторону улицы, и толпу любопытных; я медленно продвигалась вперед... вооруженная толпа следовала в две линии за каретой... Несчастный народ, привлеченный зрелищем, останавливался при моем проезде, и некоторые женщины кричали: *“На гильотину!”*

Мы прибыли в аббатство... Пять-шесть походных кроватей, занятых таким же количеством людей, — вот первое, что я увидела в темной комнате. Проходя через нее, я заметила, что все зашевелились, встали, и сторожа мои заставили меня подняться по узкой и грязной лестнице: мы пришли в помещение тюремщика, нечто вроде маленькой гостиной, где он предложил мне сесть в мягкое кресло. Комиссары прошли в соседнюю комнату, велели записать свои распоряжения и, кроме того, дали еще словесные приказания. Тюремщик¹³⁷ слишком хорошо знал свое дело, чтобы буквально исполнять то, что не было обязательным; это был честный, деятельный, любезный человек, вносивший в исполнение своих обязанностей все, чего можно желать во имя справедливости и человеколюбия. “Какой завтрак желаете вы получить?” — спросил он. “Воды с сиропом”.

Комиссары удалились; я завтракаю, в то время как поспешно устраивают комнату для моего ночлега, куда меня и переводят. “Вы можете, милостивая государыня, пробыть здесь весь день: я не могу сегодня отвести для вас помещения, потому что скопилось очень много народа; вам поставят кровать здесь же, в салоне”. Я благодарю, улыбаясь, меня запирают... вот я и в тюрьме!»

В тот же вечер ей пришлось переменить место своего заключения: «...тюрьма была переполнена страдальцами; поскольку в комнате, отданной мне, могло поместиться более одной кровати, то меня, чтобы оставить в одиночестве, вынуждены были запереть в крошечную комнатку. Пришлось переселиться туда. Мне кажется, что окно этого нового помещения выходит туда, где стоит часовая, стерегущий главные ворота тюрьмы: всю ночь слышу я громовой голос, который кричит: “Кто идет? Стрелять буду!”»¹³⁸

Госпожа Ролан решила провести с пользой время своего заключения. «Если я пробуду здесь полгода, — пишет она, — то хочу выйти отсюда упитанной и свежей и приучить себя довольствоваться лишь супом и хлебом». И она выработала для себя режим, не столько из экономии, хотя тогда жизнь в тюрьме стоила очень дорого, сколько для того, чтобы убедиться, «до какой степени воля человека может ограничить его потребности». Через несколько дней она отказалась от завтрака и заменила свой шоколад хлебом и водой; потом она стала довольствоваться за обедом куском простого мяса с зеленью; вечером ела немного овощей без всякого десерта; она стала пить пиво, чтобы отвыкнуть от вина, а потом перешла на воду. Была ли она так счастлива в своем заключении в аббатстве, как ей хочется нас убедить? В этом позволительно сомневаться. Госпожа Ролан несколько кокетлива и желает предстать перед потомством в привлекательном виде. Поэтому она старательно записывает, что она сумела «так красиво установить цветами и книгами унылую каморку, куда ее поместили, что Лавакери говорил: “Я теперь буду называть эту комнату павильоном Флоры”. Надо признать, что для тюремщика это был очень изящный мадригал»¹³⁹.

Утром 22 июня госпожа Ролан была выпущена на свободу, но 24-го вечером ее снова схватили и заключили в тюрьму Сен-Пелажи. Там ее сразу подчинили общему режиму. «Корпус, отведенный для женщин, — пишет она, — разделен длинными, очень узкими коридорами, по одной стороне которых расположены камеры, подобные той, в которой меня поместили. Так я живу под одной крышей и одной жизнью с пропащими женщинами и убийцами, отделенная от них лишь тонкой перегородкой... Каждая каморка запирается на ключ, и каждое утро приходит человек, чтобы отомкнуть громадный замок, причем он нахально смотрит, лежите вы или уже встали. Тогда обитательницы камер сходятся в коридорах, на лестницах, в маленьком дворе или в сыром и вонючем зале — достойном месте сбора этой накипи общества... И такое помещение было приготовлено для достойной супруги честного че-

ловека! Если это награда, которую здесь на земле получает добродетель, то пусть не удивляются тому презрению, которое я чувствую к жизни»¹⁴⁰.

Бедная Манон! Она все еще верит, что пьедестал, на который она себя возвела, вселяет кому-то уважение! Насмешки «Папаши Дюшена» не смогли раскрыть ей глаза на то, что добродетель, которой она так гордится и о которой слишком много говорит, обратится вскоре в обвинение против нее и ее друзей.

Исключительно жаркая июльская погода делала жизнь в камере невыносимой. Бедная женщина закрывала решетку своего окна вместо штор газетами и старалась освежить воздух, оставляя на ночь открытым окно. И все же она изнемогала до такой степени, что жена тюремщика согласилась принимать ее в своей гостиной в послеполуденное время. Госпоже Ролан удалось поставить там свое фортепьяно, игрой на котором она иногда развлекалась. Верный Боск приносил ей цветы из Ботанического сада; довольно часто ее навещали Гранире и Шампаньо. Вскоре добрая госпожа Бушо поместила ее в просторной комнате нижнего этажа. Узница получила разрешение устроить эту комнату по своему вкусу. Она поставила на окно куст жасмина, а у кровати пианино; она привела свое жилище в тот чистый и аккуратный вид, который так нравился ей... Но присутствие жандарма под окном, лай трех больших собак, конура которых помещалась поблизости, соседство комнаты, где пили и ели сторожа — все это ежеминутно напоминало ей о ее положении; тогда она стала оплакивать судьбу народа, «в свободу которого теперь уже невозможно верить». Тут-то она признала, что Платон был совершенно прав, сравнивая демократию «с чем-то вроде базара, с аукционом власти». Увы! Насколько более великой казалась бы потомству эта несчастная женщина, если бы для того, чтобы видеть все вещи в настоящем их свете, она не ждала, пока ее посадят в тюрьму, где она почувствует себя несчастной. Но нет — пока она жила во дворце, играла известную роль, она признавала революцию великим и благодетельным явлением; она нашла ее отвратительной и презренной, лишь когда не смогла больше извлекать из

нее ни славы, ни пользы. Вот почему помимо воли мы остаемся безучастными к ее страданиям.

1 ноября в тот самый час, когда могильщик кладбища Мадлен заканчивал зарывать яму, куда только что свалили тела жирондистов, госпожу Ролан перевели из тюрьмы Сен-Пелажи в Консьержери. Это была ее третья и последняя тюрьма, где ей оставалось страдать еще восемь дней. Прибытие ее вызвало сенсацию... «Комната госпожи Ролан сделалась убежищем мира среди этого ада¹⁴¹; если она спускалась во двор, присутствие ее водворяло там порядок и тишину. Эти несчастные, над которыми никакая сила не имела более власти, стихали из боязни обеспокоить ее. Она оказывала помощь наиболее нуждающимся и всем давала советы, утешала, ободряла. Она ходила, окруженная женщинами, которые толпились вокруг нее, как вокруг доброго божества. Совсем иначе относились эти потерянные женщины к Дюбарри*; с той они обращались грубо, как с равной».

Где помещалась она в Консьержери? Жильцы этого мрачного здания сменялись так быстро, что невозможно было запомнить, где именно обитал каждый из них. Без сомнения, ее поместили над переходами женского двора, в той части первого этажа, коридор и тесные кельи которого не изменились в течение столетия¹⁴². Ведущая туда узкая лестница сохранила до сих пор те самые железные перила, которых касались руки госпожи Ролан — и стольких других! Если правда, что ей удалось добиться помещения в одиночную камеру, то, вероятно, ей отвели самую маленькую из всех, то есть ту, которая теперь значится под номером 4. Там провела она свои последние дни.

Не без волнения входишь в эту тесную комнату, почти коридорчик, где бедная Манон должна была пролить так много слез... если она плакала. В амбразуре окна, выходявшего как раз на ту камеру, где раньше жила королева, стоял ее стол, где она писала последние свои страницы: «*Описание моего процесса и допроса, кото-*

* Жанна Дюбарри (1743—1793) — фаворитка Людовика XV, осужденная и казненная по приговору Революционного трибунала.

рым он начался» и «Проект защиты перед трибуналом». До самого конца она думала о потомстве. Здесь стояла ее кровать; здесь она сама совершала свой предсмертный туалет.

Настал роковой день. Это было 8 ноября; погода стояла пасмурная и холодная. В это утро официальный «крикун», вызывавший на суд заключенных, подошел к решетке с бумагой в руке: список был короткий, в нем значилось всего два имени.

— Ламарк! — крикнул он.

Из рядов заключенных вышел бледный от ужаса человек, лицо его исказилось, губы были судорожно сжаты, глаза от страха широко раскрылись. Он с трудом сделал несколько шагов, и тюремщики подхватили его.

— Гражданка Ролан! — продолжал вызывать тюремщик.

Ее успели предупредить: она ждала у решетки женского двора, где собирались женщины, вызываемые на суд. Она тщательно оделась: на ней было белое кисейное, английского покроя платье, отделанное блондами и подпоясанное черным бархатным кушаком. Прическа ее была очень изящна: она надела простую и элегантную шляпу-чепчик, и ее прекрасные волосы ниспадали на плечи. Лицо казалось оживленнее, чем обыкновенно. Она была ослепительно свежа, и улыбка играла на ее губах. Поддерживая одной рукой шлейф своего платья, она протянула другую толпе женщин, спешивших поцеловать ее... Один старый тюремщик по имени Фонтене, сохранивший доброе сердце, несмотря на тридцать лет своего жестокого ремесла, со слезами на глазах открыл ей двери...

Остальное известно. В тот же день, в половине пятого пополудни, она села в тележку. Ее товарищ по казни изнемогал под гнетом смертельного ужаса. Тогда произошла неслыханная вещь: она стала разговаривать с этим несчастным, вкладывая в слова свои столько тепла и сочувствия, что они немного ободрили его. Речь ее звучала так весело, так радостно, что вызывала порой улыбку на устах того, кто, как и она сама, должен был сейчас умереть. Подъехав к эшафоту, она сказала Ла-

марку: «Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни!»

В тот самый вечер, когда совершилась эта казнь, один знакомый принес известие о ней в пансион госпожи Годфруа. Там скрывалась маленькая Эвдора, которую Боск, один из верных в несчастьи друзей, после бегства Ролана и ареста его жены поручил сначала семье Крезе-Латуш. Имя этой одиннадцатилетней девочки представляло такую опасность для приютивших ее людей, что госпожа Годфруа решилась принять этого ребенка лишь под вымышленным именем. При ней рассказали о казни ее матери; если бы она заплакала, ее слезы выдали бы людей, давших ей пристанище. И у нее хватило силы воли сдержаться и дожждаться минуты, когда она, наконец, осталась одна и смогла выплакать свое горе.

И при жизни, и после смерти госпожи Ролан Боск выказал себя достойным того дружеского чувства, которое она питала к нему. Он посещал ее в тюрьме, и ему она дала опасное поручение сохранить ее «*Мемуары*»¹⁴³. Около середины июля он покинул свое место директора почтового ведомства. Он принужден был скрываться от ареста, которому со дня на день мог подвергнуться, и выходил из своего убежища лишь с большими предосторожностями. Но друзья вели деятельную переписку. После четырехмесячного заключения госпожа Ролан пришла к убеждению, что ее хотят казнить, и решила прибегнуть к самоубийству, чтобы избежать рук палачей. Прежде чем привести в исполнение свой план, она обратилась за советом к Боску, который осудил ее намерения и отговорил ее. Она послушалась и теперь с трепетом ждала публичной казни.

В день ее совершения у подножия тележки встал человек, которого легко было узнать по его высокому росту: это был Боск. Он следовал за ней так близко, как только это было возможно, и остановился лишь перед эшафотом. Когда для его подруги все было кончено, он вернулся в лес Монморанси, где в маленьком домике, стоявшем в глубине леса и принадлежавшем ему, скрывался Ролан, попавший в проскрипционный список. Оттуда он бежал кружными путями в Руан. Боск, знав-

ший в качестве усердного ботаника все уголки леса, спрятал манускрипт госпожи Ролан в расщелине скалы, чтобы спасти его от обыска, которого он ежедневно мог ждать. Одетый по-крестьянски, он жил и работал как крестьянин. Однажды ему показалось, что он погиб: во время одной из своих прогулок он лицом к лицу столкнулся с Робеспьером, и тот шепотом произнес его имя. Однако гроза миновала, и после Девятого термидора Боск вышел из подполья. В III году он в первый раз опубликовал мемуары, которые госпожа Ролан перед смертью доверила ему. Книга вышла в свет под заглавием: *«Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан, сборник, написанный ею во время заключения в тюрьмах Аббатства и Сен-Пелажи»*. Луве, ставший книготорговцем, издал ее и продавал в пользу «единственной дочери гражданки Ролан, лишенной состояния своего отца и матери, имущество которых до сих пор находятся под секвестром»¹⁴⁴.

Что касается Ролана, то он в тот же день 31 мая бежал с улицы Лагарп. Пробыв две недели в убежище Боска в Монморанси, он уехал в Руан, где нашел себе пристанище у сестер Маль... Там он узнал о смерти своей жены. Когда он пришел в себя от этой ужасной вести, то решил покончить с собой. Напрасно старые подруги старались отговорить его от этого. Когда они убедились, что усилия их бесполезны, у них хватило мужества обсудить с ним, какого рода смерть надлежало ему избрать.

Шампаньо, который впоследствии женился на дочери несчастного Ролана, оставил описание его последних минут. Обсуждалось два проекта, говорит он: следуя первому из них, Ролан должен был инкогнито вернуться в Париж и своим неожиданным появлением среди заседания Конвента настолько удивить его членов, чтобы они дали бы ему высказать всю правду, какую он считал полезной для родины. После этого он попросил бы, чтобы его отправили на эшафот, где убили его жену. Другой проект состоял в том, что он удалится на несколько лье от Руана и сам нанесет себе роковой удар. Некоторое время Ролана больше прельщал первый проект... но когда он рассудил, что казнь его по-

влечет за собою конфискацию его имущества и таким образом он обречет дочь на нищету, его родительское чувство восстало против этого, и он решил сам покончить с собою. Он попросил перо, писал в течение четверти часа, затем взял трость, в которой была скрыта шпага, и в последний раз обнял своих подруг.

Было шесть часов вечера 15 ноября, когда Ролан вышел из своего убежища. Он пошел по дороге в Париж, и достигнув Бург-Бадузена, верстах в четырех от Руана, он вошел в аллею, которая вела к дому гражданина Нормана, сел на краю этой аллеи и закололся принесенным с собою оружием. Вероятно, смерть наступила быстро; он встретил ее так спокойно, что даже не изменил своей позы, так что, когда на другой день его заметили прохожие, они подумали, что он спит, прислонившись к дереву.

Вскоре смерть его сделалась известной в Руане. Депутат Лежандр был там по делам службы. Он поспешил на место происшествия, обыскал труп и нашел у него в кармане записку, которую и прочел любопытным. Там было написано следующее: «Кто бы ни был ты, нашедший меня здесь, отнесись с уважением к моим останкам: они принадлежат человеку, который умер, как жил, добродетельным и честным... Наступит день, и он уже недалек, когда тебе придется произнести суровый приговор; дождись этого, и тогда ты будешь действовать с полным знанием дела и поймешь справедливость этого совета. О, если бы моя родина могла, наконец, почувствовать отвращение к своим преступлениям и вернулась к гуманным и справедливым делам!

Ж. М.-Ролан».

На другой стороне записки стояло дополнение:

«Испытываю не страх, а негодование... Я покинул свое убежище в ту минуту, когда узнал, что собираются убить мою жену; не хочу больше жить на земле, запятанной преступлениями!»¹⁴⁵

ТРИ ДНЯ ШАРЛОТТЫ КОРДЕ

1. Гостиница Провидения

Ранним утром 9 июля 1793 года Шарлотта Корде покинула старый дом на улице Сен-Жан, чтобы больше туда не возвращаться. Она жила в Кане* в продолжение двух лет вдвоем со своей теткой, госпожой де Бретвиль. Она вышла из дома так рано под предлогом, что хочет рисовать сушильщиц сена, работавших на соседних лугах. Держа в руках папку с рисунками, она спустилась с лестницы и на пороге встретилась с маленьким сыном столяра по имени Лионель¹⁴⁶, жившего в том же доме, с улицы. Ребенок этот часто играл во дворе, и она иногда дарила ему картинки. «Вот, Луи, — сказала она, отдавая ему папку с рисунками, так как больше не нуждалась в ней, — возьми ее, будь послушным мальчиком и поцелуй меня: больше ты меня никогда не увидишь». И она обняла его, причем слеза ее капнула ему на щеку¹⁴⁷.

Уже четыре дня, как сундук ее стоял в бюро дилижансов, поскольку было решено, что она уедет с подругами в Англию, чтобы укрыться там от революции.

* Город Кан в Нормандии стал убежищем для ряда лидеров Жиронды, после событий 31 мая — 2 июня 1793 года бежавших из Парижа. В числе их оказались Петион, Барбару и Бюдо. Именно в среде этих беглецов, ненавидевших Марата, и сложился роковой план Шарлотты Корде.

Этим предлогом она воспользовалась, чтобы объяснить знакомым свои приготовления к отъезду. В десять часов утра она уехала из Кана в дилижансе, идущем в Париж.

Если судить об этом путешествии по ее запискам, составленным четыре дня спустя в тюрьме, живость ее разговора возбудила сочувствие и любопытство ее спутников. Удивленные миловидностью и одиночеством молодой девушки, они старались выпытать у нее ее фамилию и цель путешествия. «Я ехала в обществе добрых монтаньяров, — пишет она в дневнике, — и дала им вволю наговориться; речи их были столь же глупы, сколь неприятны были они сами, и от них меня клонило ко сну. В сущности, я проснулась лишь в Париже. Один из путешественников, любящий, вероятно, спящих женщин, принял меня за дочь каких-то своих друзей, предположил, что я обладаю состоянием, которого у меня нет, приписал мне фамилию, которой я никогда не слыхала, и, наконец, предложил мне руку и сердце. Когда мне все это надоело, я сказала ему: “Мы прекрасно разыгрываем комедию; досадно, что при таком таланте у нас нет зрителей; я пойду за другими пассажирами, чтобы и они приняли участие в этом спектакле”. Когда я покинула его, он был в самом скверном настроении; ночью он пел жалобные песни, наводившие на меня сон».

Еще один более сдержанный молодой человек, очарованный ее скромностью и красотой, осмелился почтительно выразить ей свое восхищение. Он умолял ее разрешить просить у ее родителей согласия на брак с ним. Она обратила эту внезапную страсть в милую шутку и обещала юноше, что позже он узнает ее имя и намерения на его счет. Наконец, в четверг 11 июля она вышла из дилижанса, остановившегося во дворе почтовых карет, и отправилась в гостиницу, рекомендованную ей в Кане: улица Вье-Огюстен, дом 17, «Гостиница Провидения».

Этой странной гостинице уже давно приписали номер, принадлежащий несуществующему зданию. Мне было грустно сознавать, что дом, где остановилась Шарлотта Корде, обращен в развалины подобно мно-

гим другим зданиям эпохи революции. Все же я принял свое расследование, которое не осталось безрезультатным, в противоположность многим предпринятым мною поискам.

Я руководствовался при этом следующим соображением: «*Гостиница Провидения*» помещалась в 1793 году в доме 19 по улице Вье-Огюстен, которая со времен революции два раза меняла свое название. Сначала она на всем своем протяжении называлась *улицей д'Аргу*, затем начало ее получило имя *улицы Герольдии*, а за остальной частью сохранилось название улицы д'Аргу. Изучение менявшихся планов квартала внушило мне уверенность, что фасад дома, значившегося в 1793 году под номером 19, находился в некотором отдалении от улицы и что перед ним располагались три флигеля. Большой кадастр Белланже и Вассеро не оставлял на этот счет никаких сомнений. После этого легко было заметить, что эти характерные признаки носит здание, значащееся ныне под номером 12 улицы Герольдии. Оставалось лишь осмотреть это место своими глазами, что я и сделал.

Тот, кто никогда не предпринимал подобных розысков, не может представить себе всей прелести, всего волнения, охватывающего нас во время этой охоты за воспоминаниями. Чтобы насладиться ею, надо заинтересоваться своей задачей до такой степени, чтобы вообразить себя одним из действующих лиц драмы, которую хочешь восстановить. Сворачивая за угол улицы Кокильер и не зная еще, не найду ли я на указанном месте какого-нибудь большого нового здания или вновь проложенной улицы, я волновался, конечно, не меньше самой Шарлотты, когда, следуя за посыльным, сопровождавшим ее в «*Гостиницу Провидения*», она шла по тому же пути.

Я подхожу и с первого взгляда узнаю дом, немного отступающий от улицы, и три его передних флигеля. Это солидная постройка в стиле Людовика XVI, возведенная, без сомнения, в 1775—1780 годах. Ее только что реставрировали, фасад ее покрыт густым слоем белой краски, на которой красуется большая вывеска «*Франкфуртская гостиница*». Для того, кто разыски-

вает мелкие подробности истории, все представляет собой документ; мое воображение сразу же подсказало мне все, что можно было заключить из этой вывески. Этот дом, очевидно, был построен в XVIII веке и приспособлен для приема путешественников; его первоначальное назначение сохранилось и пережило все революции, и только название гостиницы изменилось; может быть, в ней еще хранятся старинные записи, куда по требованию полиции вписывались имена временных постояльцев.

Я вошел в нее. Не стану передавать разговор, происходивший между хозяйкой заведения и мною. Это самый трудный момент в подобных делах: часто приходится сталкиваться с недоброжелательством, с подозрительностью, с твердым решением ничего не говорить, что лишает разговор всякого интереса. Ничего подобного мне не пришлось испытать во «*Франкфуртской гостинице*», где еще живы были воспоминания о Шарлотте Корде. Хозяйка рассказала мне, что раньше дом этот был гостиницей, прежнее название которой лишь недавно было открыто; на старинной надписи, скрытой новой вывеской, значится название «*Королевская гостиница*». Комната Шарлотты Корде существует и теперь, добавила она, на первом этаже, выходящем на улицу. Она даже предложила показать мне ее, лишь только она освободится.

Я настаивал на том, что, вероятно, раньше гостиница называлась «*Гостиницей Провидения*». «Нет, никогда, милостивый государь! Ее старинное название — *Королевская гостиница*». Это сбивало меня с толку. Я спросил, кто в настоящее время является собственником дома, чтобы ознакомиться с купчей, и узнал, что дом принадлежит сберегательной кассе¹⁴⁸. Я пошел в кассу и там, наконец, узнал истину. Действительно, «*гостиницей Провидения*» раньше была не Франкфуртская гостиница, а дом рядом с ней. Это старая постройка, она живописнее, скромнее и старше почти на целый век¹⁴⁹. Она также принадлежит теперь сберегательной кассе, которая поместила там свои архивы. Входная дверь, выходящая на улицу, перила лестницы, которых касалась рука Шарлотты Корде, коридор — все это не изме-

нилось в течение столетия. Еще и теперь можно узнать место, где помещалось бюро госпожи Гролье, хозяйки «Провидения». Здесь произошло то, что постоянно происходит в Париже, где легенды живут долго, но без исторической точности. Когда дом, где жила героиня, перестал быть гостиницей, соседнее строение, оставшееся гостиницей, унаследовало его легенду. Вот почему во «Франкфуртской гостинице» показывают комнату Шарлотты Корде, хотя она никогда там не жила.

Впрочем, пребывание Шарлотты Корде в гостинице на улице Вье-Огюстен послужило поводом не для одной этой ошибки. Шарль Нодье*, влюбленный в революционную эпоху и описывающий ее события с таким жаром и такой уверенностью, что ему самому казалось, что он «был гильотинирован во времена террора», также разделял общее заблуждение. Когда в 1800 году он приехал в Париж молодым двадцатилетним поэтом, он остановился — или думал, что остановился — в «Гостинице Провидения». И подумайте, как ему повезло — ему отвели именно ту комнату, где жила Шарлотта!

«Это была, — говорит он, — скверная каморка, ничтенски обставленная, на четвертом этаже убогого грязного дома. Подниматься в нее приходилось по такой темной и шаткой лестнице, что нужна была известная решимость, чтобы идти по ней ночью. Но мне это было безразлично, так как я не выходил из своей комнаты. Повторяю, меблировка ее вполне соответствовала отвратительному виду всей гостиницы. Главное убранство ее представляла старая кровать с зеленой саржевой занавеской, выцветшей и запыленной. Она раскрывалась по-старинному, скользя по железному пруту, а на день ее привязывали к двум тонким, изъеденным червями столбикам такими же саржевыми полосками. Это имело жалкую претензию на элегантность. Рядом стоял маленький еловый столик довольно грубой работы, на котором виднелось несколько больших чернильных пятен. Вероятно, эти капли чернил

* Шарль Нодье (1780—1844) — известный французский писатель. Был другом Ламартина и Гюго, покровительствовал молодому Александру Дюма.

упали с пера Шарлотты Корде, так как невозможно предположить, чтобы какой-нибудь другой грамотный человек останавливался когда-нибудь в этой конуре, предназначенной для путешественников самого низшего класса. Стул с высокой спинкой, обитый грязным, наполовину вытертым желтым утрехтским бархатом, дополнял убогое убранство этого жилища. Матушка Гролье, бывшая содержательница *“Гостиницы Провидения”*, умерла два года тому назад, но я убедился в достоверности этих драгоценных реликвий, благодаря указаниям Пьера-Франсуа Фельяда, честного и почтенного старика, бывшего компаньоном Гролье в ведении этой гостиницы, а затем сделавшегося ее собственником. Его называли обычно *учителем*, потому что раньше он занимал эту должность и от нее унаследовал достойный вид и нравоучительное красноречие. Шарлотта Корде дышала воздухом, которым дышу я; она писала на этом столе; она отдыхала на этом стуле, она провела на этом одре три бессонных ночи, призывая свою Немезиду! Все окружавшее меня было наполнено воспоминаниями о ней и ее присутствием. Я был счастлив, счастлив до такой степени, что теперь мне трудно понять, как могло сердце смертного вместить радость, подобную моей».

Восторженному Нодье следовало хорошенько удостовериться, прежде чем предаваться такому восторгу. Теперь, когда его давно уже нет на свете, мы можем говорить открыто без боязни разрушить его иллюзию. Если комната, где он чувствовал себя таким счастливым, находилась, как он это утверждает, на четвертом этаже, то Шарлотта Корде никогда в ней не останавливалась. Комната, в которой жила героиня, была на первом этаже, окна ее выходили на улицу, и она значилась под номером 7. Протокол обыска, произведенного там 14 июля, в десять с половиною часов вечера, подтверждает это. В комнате этой стояли комод, кровать, письменный стол, три стула. Еще в ней был камин. Упомянем, чтобы больше не возвращаться к этому обыску, что во время его был найден в комодке весь маленький багаж, спрятанный туда Шарлоттой, то есть капот из полосатого канифаса без метки, розовая шелковая ни-

жня юбка и другая юбка — белая бумажная, обе без меток, две женские рубашки с инициалами К. Д.¹⁵⁰; две пары чулок, белая и серая, тоже без меток, короткий полотняный пеньюар без рукавов, помеченный буквами Ш. К.; четыре белых носовых платка, из которых два с меткой К. Д.; два батистовых чепчика, две батистовые косынки, косынка зеленая газовая, шелковая косынка с красными полосами, сверток лент разных цветов и несколько тряпиц, не заслуживающих описания.

Итак, в четверг 11 июля, около полудня, Шарлота вышла из кареты во двор почтовых экипажей. Один из людей в конторе указал ей «Гостиницу Провидения». Посыльный по имени Лебрэн взвалил себе на плечо багаж молодой женщины и проводил ее до гостиницы. Она спросила комнату; швейцар Луи Брюно позвал мальчика Франсуа Фельяра и обратился к нему с традиционной фразой: «Проводите госпожу в номер семь». Шарлотта пошла за мальчиком, несшим ее сундук; поднялись на первый этаж; открылась дверь; Франсуа поставил сундук и вышел. Мадемуазель Корде осталась одна и целый день не выходила. Это уединение, на которое она обрекла себя, кажется многозначительным большинству историков: они изображают героиню представляющей картину своего преступления, произносящей над собою суд, философствующей и говорящей монологи, как героиня какой-нибудь трагедии. В действительности же дело обстояло проще: Шарлотта, утомленная двумя ночами, проведенными в дилижансе, легла и заснула. Во всяком случае, из показаний мальчика, прислуживавшего в гостинице, известно, что она сразу же велела приготовить себе постель. Вечером она спустилась в контору гостиницы и, как настоящая провинциалка, думающая, что все еще находится в маленьком городке, спросила у матушки Гролье, каждый ли день Марат бывает в Конвенте. Та, как истая парижанка, ответила, что она этого не знает: возможно, что она слышала лишь случайные разговоры о Друге народа. Шарлотта не настаивала и вернулась в свою комнату. Неизвестно, где она в тот день обедала.

На другой день, 12 июля, она с утра отправилась к члену Конвента Деперре, жившему на улице Сен-Тома

дю Лувр, в доме 41¹⁵¹. Это был первый ее выход в Париж, которого она совсем не знала. Не овладело ли ею вполне понятное любопытство, не обратила ли она внимание на памятники, на уличное движение, не осмотрела ли она хотя бы Лувр и Тюильри? Ничто не указывает на это, и очень вероятно, что это не пришло ей в голову. Она приехала в Париж по делу: как женщина практичная, она не позволяла себе ни на минуту отвлекаться в сторону: целью ее поездки было добраться до Марата и убить его. Имея в виду, что она совершенно не знала ни жизни, ни нравов Парижа и должна была выработать такой план действий, чтобы никого не скомпрометировать и не возбудить ничьих подозрений, следует признать, что она чрезвычайно хладнокровно и ловко приготовилась к своему делу. Два раза в течение дня заходила она к Деперре в надежде, что он проведет ее в Конвент, где она сможет встретиться с Маратом. Мы не будем останавливаться на этих ее приготовлениях, так как их много раз подробно описывали. Лишь только она поняла, что находится на ложном пути и что в Тюильри, даже если бы она встретила там Марата, ей невозможно было бы к нему подойти, она решила на следующий день пойти к нему домой, затем вернулась в гостиницу и легла спать.

В субботу 13 июля, в шесть часов утра — она до конца осталась провинциалкой, встающей рано, — она вышла из дома и просила указать ей дорогу в Пале-Рояль. Там, найдя магазины закрытыми, она несколько раз обошла все галереи и села на одну из каменных скамеек, стоявших в прежнее время у подножия пилястров каждой арки. В семь часов лавочники начали открывать ставни магазинов. Шарлотта вошла к ножовщику¹⁵² и купила за два франка громадный кухонный нож в бумажном футляре, сделанном под шагреню.

Выйдя из Пале-Рояля, она направилась по улице Круа де Пти-Шан к площади Национальных Побед, где заметила стоянку извозчиков. Она подошла к одному из них и велела везти себя к Марату. Кучер не знал, где живет Друг народа. «Так спросите!» — сказала девушка. Кучер спросил своих товарищей и, узнав от них адрес Марата, взобрался на козлы: они тронулись в путь.

Около девяти часов¹⁵³ карета остановилась на узкой и темной улице Кордельеров у дома, где жил Марат. Шарлотта легко выпрыгнула из кареты, захлопнула дверцу и, пройдя под сводами арки, поднялась по лестнице и позвонила у двери второго этажа. Дверь открыла женщина. «Где гражданин Марат?»— спросила посетительница. Женщина осмотрела ее и ответила, что Марат не может ее принять. Шарлотта настаивала, но вскоре убедилась, что наткнулась на непоколебимое сопротивление; тогда она передала заранее написанное письмо, спустилась с лестницы, снова села в карету и возвратилась в гостиницу.

Вернувшись в свою маленькую комнатку, она села к столу и стала писать. Теперь она была уверена, что в тот же день план ее мести будет приведен в исполнение, и набросала ту странную страницу, которую нашли при ней после ее преступления, озаглавленную: «Призыв к потомству». Она думала, что не выйдет живой из дома Марата. Может быть, она надеялась на это. Весь день она провела в «*Гостинице Провидения*». Очевидно, она держалась очень спокойно, так как не возбудила ни малейшего подозрения. Около шести часов она переоделась в другое платье, вышла, подозвала извозчика и, осведомленная теперь лучше, чем утром, назвала ему адрес: «Дом 20, улица Кордельеров».

Было семь часов вечера, когда карета остановилась у дома Марата.

2. Дом Друга народа

Дом этот был известен в старину под названием Дворца Кагора. В 1793 году он представлял собой неразделенную собственность госпожи Антеом де Сюрваль и ее двоюродного брата Фаньо, ликвидатора общественного долга¹⁵⁴, и приносил всего лишь 3 тысячи франков дохода от сдачи квартир, в эту сумму входит и 450 франков платы за квартиру Марата, снятую на имя девицы Эврар, с которой он жил. Многие парижане знали этот старый дом, разрушенный лишь в 1876 году. Так как наружный вид его был самый обыкновенный,

то до прокладки бульвара Сен-Жермен жилищем Марата считали старинный дом с башней, стоявший на углу улицы Павлина. Здесь, как и во многих других случаях, легенда была жива, но ее перенесли на другое место¹⁵⁵.

Настоящее жилище Друга народа было обычным буржуазным зданием, каких много строили в Париже в конце XVIII века. Входили в него через ворота слегка закругленной формы, проделанные между двух лавок. За воротами помещался маленький, плохо вентилируемый дворик, в одном из углов которого был вырыт колодец. Направо шла каменная лестница с железными коваными перилами; описывая полукруг, она вела на каменную площадку, выходявшую двумя окнами во двор. Здесь была дверь Марата, у которой вместо шнурка для звонка висел железный прут с ручкой. Рядом с этой дверью в стене было проделано окно, через которое свет проникал в кухню этой квартиры. Через его всегда полуоткрытые створки на лестницу выходили чад от жаркого и ароматы соусов, как это бывает в жилищах бедняков.

С лестницы входили в темную переднюю, направо от которой шла узкая столовая, окна которой выходили на двор. Дальше шли кабинет и, наконец, маленькая комнатка с каменным полом, служившая ванной. Размеры ее были таковы, что шесть человек, тесно прижавшись друг к другу, едва могли бы поместиться там. Она была вымощена кирпичом и оклеена обоями, изображавшими большие витые колонны на белесом фоне. На стене висела карта Франции, разделенной на департаменты, около нее были повешены два пистолета, а над ними виднелась сделанная крупными буквами надпись «СМЕРТЬ».

Комнаты, выходявшие на улицу, были больше и лучше обставлены. Был ли в числе их тот роскошно отделанный салон, о существовании которого ходили слухи, подтверждаемые госпожой Ролан? Возможно, хотя это осталось недоказанным. Нам известна всего одна подробность, заставляющая думать, что госпожа Ролан не ошибалась: спальня, в которую входили непосредственно из ванной, имела два выходящих на улицу окна из богемского стекла¹⁵⁶. Кроме того известно, что она

была оклеена трехцветными обоями¹⁵⁷ с революционными эмблемами. Несколько клочков их было найдено под другими, новыми обоями при разрушении дома. В салоне имелось также три окна. Маленькая комнатка с одним окном служила Марату рабочим кабинетом.

Друг народа жил там, окруженный женщинами. Как мы уже упоминали, квартира была снята на имя Симоны Эввар. Эта последняя родилась в Турню-Сент-Андре (департамент Сона и Луара) в 1764 году. Следовательно, ей было двадцать шесть лет, когда в 1790 году она сошлась с Маратом, бывшим на двадцать лет старше ее. Она была немного выше среднего роста (1 м 62 см), волосы, брови и глаза у нее были черные, рот большой, подбородок круглый, нос длинный, лицо овальное. В начале революции Марат, не имея средств к жизни, познакомился с этой женщиной, которая с безграничным самопожертвованием отдала все свое скромное состояние на издание *«Друга народа»*. Журнал *«Гора»* (№ 53) в следующих выражениях прославлял союз Марата с Симоней Эввар: «Преследуемый Лафайетом и его агентами, Марат принужден был скрываться; его приняла девица Эввар, которая, читая газету этого патриота, прониклась глубочайшим уважением к нему. Марат, преисполненный благодарности к своей спасительнице, обещал жениться на ней. Не веря в то, что пустой обряд составляет ценность брака, и не желая в то же время оскорбить чувство скромности гражданки Эввар, он подозвал ее однажды к окну своей комнаты и, сжав своей рукою руку своей возлюбленной, вместе с ней преклонился перед Верховным Существом. “Здесь в этом великом храме природы, — сказал он ей, — я беру его в свидетели моей верности и клянусь тебе Создателем, который слышит нас”».

Таким образом, брак их был так называемым *«свободным союзом»* и никогда не оформлялся, хотя после смерти Марата в бумагах его найдено было следующее обязательство: «Прекрасные качества девицы Симоны Эввар покорили мое сердце, и она приняла мое поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство жениться на

ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.

Париж, 1 января 1792 года.

*Жан-Поль Марат,
Друг народа».*

Вот такой новогодний подарок поднес этот свирепый любовник содержащей его женщине; но довольно об этом, потому что, во-первых, эти подробности уже давно изучены, а во-вторых, эти маленькие грешки совершенно не заслуживают, имея в виду личность совершившего их, того внимания, которое уделяют им историки. Если бы Марата можно было упрекнуть лишь в его *свободном союзе*, то, вероятно, Шарлотта Корде не воспылала бы к нему той могучей ненавистью, которая привела ее к убийству.

Симона Эврар приютила у себя, кроме Марата, свою родную сестру Катрину Эврар; в одном доме с ними жила и сестра трибуна Альбертина Марат. Это была сухощавая женщина с резкими чертами лица, образованная, знавшая латинский язык; она питала к своему брату безграничное обожание: он был ее героем, ее богом. Она считала его исключительно добродетельным существом, охваченным самыми чистыми порывами патриотизма, добрым и великодушным, настоящим философом, миссией которого было обновление мира... Мы еще вернемся к Альбертине, хотя она была в Швейцарии во время смерти Марата и, следовательно, не играла никакой роли в драме 13 июля 1793 года.

Одной из постоянных посетительниц квартиры была также Мари-Барбара Обен¹⁵⁸, консьержка дома, которой Марат давал работу — складывать листы его газеты. У гражданки Обен один глаз был стеклянный; эта единственная характерная черта, по которой мы можем представить себе облик этой скромной статистки. Наконец, чтобы дополнить картину женского персонала, группировавшегося около Друга народа, упомянем о прислуге, для важности называемой кухаркой, которая в официальных актах носит имя Жанетты Марешаль.

Выйдя из кареты, Шарлотта вошла в подъезд и поднялась по лестнице: консьержки в швейцарской не было. Шарлотта дернула ручку звонка своей рукою, одетой в перчатку: вероятно, в эту минуту благородное сердце ее билось несколько сильнее, чем обычно. Двери открыла Жанетта: она держала в руке ложку, которую у нее только что спросила Катрина Эввар, чтобы размешать в миндальном молоке кусочки глины. По видимому, это странное лекарство было прописано Марату для избавления от мучившей его экземы. Тут же находилась и гражданка Обен, занятая складыванием газетных листов. Девушка Корде вошла в переднюю и очутилась в обществе трех женщин. Жанетта вернулась в кухню, Катрина продолжала размешивать глину, что же касается консьержки, то она внимательно осмотрела своим единственным глазом изящную молодую девушку, державшую в руке веер, одетую в легкое платье с мушками и высокую шляпу, украшенную черной кокардой и тремя зелеными шнурками.

В эту минуту пришел молодой человек, господин Пилле, ставший впоследствии начальником главной типографии и основателем «Журнала городов и деревень». Он принес Марату счет-фактуру; его сопровождал комиссионер по имени Лоран Ба. Этот последний стоял обыкновенно на углу улицы Кордельеров и часто помогал изданию *«Друга народа»*. В этот день он доставил кипу бумаги из магазинов Буашара, предназначенной для печатания газеты Марата, издававшейся у ее редактора и главного автора. Его впустили. Марат сидел в ванне. Просматривая фактуру, он попросил господина Пилле приоткрыть окно кабинета, затем признал счет верным и возвратил его.

Господин Пилле был последним человеком, с которым говорил Марат перед тем, как к нему ввели Шарлотту Корде. Выходя, он увидел молодую девушку, которую консьержка, не переставая складывать листы, старалась убедить в бесполезности предпринятого ею шага; но она настаивала на своем намерении поговорить с депутатом. На шум их спора вышла из кабинета Симона Эввар. Когда она узнала, что Шарлотта та самая посетительница, которая уже приходила утром,

она согласилась пойти узнать, сможет ли Марат ее принять. Почти сейчас же она вернулась с утвердительным ответом. Она провела Шарлотту через столовую, открыла ей дверь в ванную комнату,пустила ее туда и снова закрыла дверь. Затем она вернулась в прихожую.

Внушило ли странное посещение этой незнакомки какие-нибудь подозрения Симоне Эврар? Конечно нет, раз она сама ввела Шарлотту к Марату: хотя после она уверяла, что инстинктивно чего-то боялась. Не было ли это чувство скорее мелкой женской ревности, и не относились ли ее подозрения скорее к Марату, чем к Шарлотте? Достоверно, во всяком случае, что она старалась узнать, что происходит в комнатке, где ее любовник был заперт с молодой и красивой незнакомкой. Не прошло и минуты, как она снова открыла дверь. Шарлотта сидела около ванны, спиной к окну. Симона вошла с графином в руке и спросила Марата, сколько глины подмешать к миндальному молоку. Марат ответил, что «ее не слишком много, но потом можно вынуть кусочек»... В минуту, когда Симона хотела уйти, она раздумала. Увидав на окне два блюда, на которых лежали телятина с рисом и мозги, предназначавшиеся к ужину, она взяла эти блюда и унесла их, снова закрыв за собою дверь.

Едва она успела поставить блюда на стол в кухне, как услышала хриплые стоны и опять побежала в ванную. «Ко мне, мой добрый друг!» — воскликнул Марат, и тотчас же голова его упала на полку ванны, а вода вокруг стала красного цвета. Громадная струя крови толщиной с большой палец била из обнаженной груди Марата, и кровавая лента уже вилась по слегка покатоному полу к двери¹⁵⁹ спальни. Шарлотта, чрезвычайно бледная, неподвижно стояла у окна: нож лежал на полке среди бумаг и газет, промокших от крови¹⁶⁰.

Трудно вообразить, какую картину представляли собой комнаты квартиры Марата в течение первых минут, последовавших за убийством. Четыре женщины — Симона и Катрина Эврар, Жанетта и гражданка Обен, — одновременно испускали крики ужаса и горя. Шарлотта, нанеся свой губительный удар, воспользовалась растерянностью первой минуты и проскользнула в

прихожую, где комиссионер Лоран Ба, оставшийся там после ухода господина Пилле, кинулся на нее и швырнул на пол.

Входя, Ба оставил открытой входную дверь квартиры: на шум прибежал хирург-зубодер Клер Мишон-Делафонд, главный арендатор дома. Проходя через прихожую, он увидел лежащую на полу Шарлотту и Ба, наносящего ей удары кулаком. Не останавливаясь, он миновал эту группу, пробежал столовую и добрался до ванны. Марат делая тщетные усилия, чтобы пошевелить языком и произнести слово; последние биения сердца извергали целые потоки крови из раскрытой раны. Делафонд взял умирающего на руки, вынул его из ванны и перенес в соседнюю комнату, в то время как гражданка Обен бегала за доктором Пеллетаном, членом совета здравоохранения. Через нее на улице разнесся слух о происшедшей драме.

Через несколько минут дом был полон народа. Кровь была везде. Ее разносили на башмаках по всем комнатам. Когда раненого переносили в спальню, то кровью забрызгали стены, окровавленная вода переливалась через края ванны и, стекая с трупа, брызгами долетала до самой кухни: это было неопишное зрелище, наполнявшее ужасом даже тех, что пришли сюда из простого любопытства. В прихожей два человека держали за руки Шарлотту, казавшуюся спокойной и покорной. Когда явился полицейский комиссар Гайяр-Дюмениль, ее втолкнули в салон, чтобы там приступить к допросу.

На улице собиралась толпа: карета, привезшая Шарлотту, стояла еще у дверей. Принялись допрашивать кучера Жозефа Генока и узнали от него, что убийцей была женщина, изящная молодая девушка, аристократка. Любопытные, пораженные изумлением, передавали друг другу эти подробности.

И теперь, через сто лет, изумление это еще не прошло.

Ни одно происшествие во всей истории не поражает так воображение человека. Эта молодая девушка хорошего происхождения, получившая религиозное воспитание, очень женственная, явившаяся из провинции

в Париж с обдуманно задолго до того намерением убить человека, совершила свое преступление хладнокровно и без колебаний и потом так же бестрепетно встретила ужасную смерть, которую мужественно ждала целых три дня. Это превосходит Цинну, и в сравнении с этим бледнеет подвиг Бруга. Благодаря поступку Шарлотты Корде, во Франции едва не возник культ убийства. Поэты воспевали ее; имя ее сделалось синонимом героини, ее преступление вдохновило сотни художников и скульпторов; и если ее статуя до сих пор не воздвигнута на одной из наших площадей, то лишь оттого, что тот, кого она убила, «причислен к лику», так что официально ему будут отдаваться все почести, в то время как его убийце принадлежат все симпатии.

Что же касается нас, если позволительно выражать здесь свое личное впечатление, то Шарлотта изумляет и волнует, но не пленяет нас. Сердце не играет никакой роли в этой навеки знаменитой трагедии. Героиня ее слишком величественна, чтобы быть трогательной. Она величественна, когда на один из вопросов Фукье-Тенвиля отвечает: «Чудовище, он принимает меня за убийцу!» Величественна, когда у нее спрашивают: «Кто внушил вам такую ненависть?» А она возражает: «Мне не нужно было ненависти других, достаточно было моей собственной». Величественна она и тогда, когда, желая отблагодарить своего адвоката, поручает ему заплатить ее маленькие долги. Она величественна всегда: в своем бесстрашии перед эшафотом, в своих письмах, в малейших словах и в молчании, в своей ясной и простой важности. Если бы ее предок Корнель в часы лучшего своего вдохновения написал для нее роль, превосходящую величием все его творения, он при всем своем гении не мог бы придумать таких речей и жестов, какие она почерпнула в своем характере, в своей природе.

Вот почему, по нашему мнению, поступок Шарлотты не греет наши души. Ее драма была бы невообразимо волнующей, будь она человеческой, но она не такова: она поднимается над реальным человеческим миром. Чтобы понять и полюбить Шарлотту, надо быть равным ей в героизме или безумии.

3. Платье, волосы и череп

В салон 1880 года четыре художника выставили портреты Шарлотты Корде. Г-н Авиа изобразил ее в белом платье; г-н Вер придумал ей полосатый, синий с голубым туалет; г-н Клер надел на нее юбку блекло-розового цвета, украшенную цветочками более яркого розового оттенка. Четвертый живописец, имя которого я забыл, нарисовал ее в ярко-красной рубашке отцеубийц.

Разве невозможно узнать, как была одета Шарлотта 13 июля 1793 года? Эта мелочь, кажущаяся неважной многим людям, послужила поводом для стольких различных мнений, что пора решить этот вопрос окончательно. Все живописцы, современники революции — Гойер, Гарнерар-отец, Гоке, Монне, Брион, Дене, Дюмулен — стоят за белое платье. Наоборот, все граверы изображают героиню в полосатом туалете. Это вопрос *эффекта*, характера искусства или традиции. Трудно себе представить, как часто художники жертвуют исторической правдой ради условностей своего искусства. Надо только порадоваться, что никто из них не вдохновился одной драмой, написанной в ту эпоху, автор которой под влиянием истории Юдифи, рассказал, как Шарлотта, *нарядившаяся во все свои украшения, в сопровождении своей наперсницы* проникла в шатер Марата, чтобы выведать у него тайны, при помощи которых он думает *овладеть городам*. Чтобы легче вкрасься к нему в доверие, она дает ему понять, что он царит в ее сердце. Марат, ослепленный и порабощенный, *приказывает тотчас же устроить пир*, и здесь, во время этого свидания, которое должно было быть нежным, происходит роковая развязка. Вероятно, через пятнадцать или двадцать веков историю Шарлотты Корде будут передавать именно в этой версии.

Впрочем, если у нас есть желание точно узнать внешние подробности какого-нибудь исторического события, то не следует обращаться ни к современным писателям, ни к современным живописцам: слишком много посредников прошло между ними и интересующим нас событием. В данном случае у нас имеется ис-

точник неоспоримых сведений — протокол судебного процесса, в котором записаны показания свидетелей. Итак, Катрина Эввар — в том, что касается туалета, свидетельство женщины неопровержимо — рассказала президенту трибунала Монтане, что в субботу 13-го, между восемью и девятью часами утра, женщина в *коричневом костюме и черной шляпе* спрашивала гражданина Марата.

Комиссионер Лоран Ба, находившийся в половине восьмого вечера того же дня у Друга народа, тот самый, который бросился на Шарлотту и довольно долго удерживал ее, объявил, напротив, что он видел *особу женского пола*, выходящую из наемной кареты в легком туалете с мушками, в высокой черной шляпе с кокардой и с веером в руках. Это была, конечно, та же шляпа, что и утром. Что же касается платья, то частью от зноя, частью по какой-то другой причине, она переменила его между этими двумя посещениями.

Из всех свидетельских показаний, из всех протоколов дела ясно вырисовывается один факт — то, что Шарлотта своей скромностью, своим изяществом, еще больше чем своим поразительным хладнокровием, произвела на всех людей, заполнивших дом тотчас же после преступления, довольно необычное впечатление. Что-то в ней внушало восхищение, уважение и нечто такое, что не поддается определению и объясняется, быть может, свободой нравов того времени, мужественным темпераментом молодой девушки и ее непоколебимым апломбом... За исключением Лорана Ба, маленького, злого и слабосильного, который хвалился тем, что «швырнул это чудовище оземь и удерживал ее за грудь», никто не тронул Шарлотты. Когда ей связали в прихожей руки, ее отвели в салон, так как его довольно большие размеры делали его более удобным для допроса.

Борьба с комиссионером и положение рук, связанных на спине, сдвинули платье молодой девушки, и во время обыска¹⁶¹ оно спустилось, так что верхняя часть груди оказалась обнаженной. Шарлотта нагнулась вперед в порыве инстинктивной стыдливости и попросила развязать ей руки, чтобы она могла исправить бес-

порядок своего туалета. Просьба ее была исполнена, она повернулась к стене, поправила свой корсаж, спустила рукава и надела перчатки, чтобы скрыть следы от веревок, которыми были связаны ее руки¹⁶². Потом, с тем спокойствием, которое ни на минуту не изменяло ей, она снова повернулась лицом к допрашивавшим ее комиссарам. Их было много, они наполняли салон, пожирали глазами героиню, и каждому хотелось сыграть роль в этой трагедии, которую они находили *достойной древности* — той древности, которую они грубо пародировали. Среди них были люди, пришедшие сюда из простого любопытства, которым совершенно нечего было здесь делать, как например Шабо, заслуживший со стороны Шарлотты слова, полные иронического презрения.

И пока сменялись допрашивающие ее лица, пока каждый старался вызвать ее на разговор, приблизиться к ней, рассмотреть ее, из соседней комнаты доносились звуки шагов докторов, хлопотавших у тела Марата, шум щеток и тряпок, которыми, не жалея воды, мыли паркет и каменный пол, а с улицы слышался грозный и величественный ропот толпы, ломившейся в двери. Весь Париж хлынул на улицу Кордельеров; каждую минуту новые волны народа стекались с улиц Лагарп, Ла Готфейль, Л'Обсервасьон, Вьель-Бушри и смешивались с густой толпой любопытных, уже занявших места под окнами Друга народа. Наступила душная, тяжелая ночь, а глаза всех были еще устремлены на окна спальни, обрисовывавшиеся ярко освещенными квадратами на темном фасаде; видно было, как в комнате мелькают тени: разнесся слух, что доктора готовятся к бальзамированию тела; приходилось принимать меры предосторожности, поскольку кровь на жаре начала разлагаться очень быстро. Для того чтобы можно было стоять у трупа, приходилось жечь благовонные курения, и огонь этот бросал колеблющийся свет на дома, стоящие с другой стороны улицы, и отблеск его озарял головы толпы внизу. Иногда ворота раскрывались и с глухим шумом захлопывались снова, пропустив какого-нибудь статиста разыгравшейся драмы. Его забрасывали со всех сторон вопросами, и он спешил скрыться в толпе. Извоз-

чик, на котором приехала Шарлотта, все еще стоял у дома. Толпа, ничего не видя, толкалась, теснилась около кареты, натыкалась на нее и раскачивала.

Наконец, около полуночи обе половинки ворот широко раскрылись; громкий крик пронесся над толпой; под сводами, освещенными лампами или свечами, которые несли несколько человек, показалась группа мужчин. Они толкали перед собою смертельно-бледную женщину в измятой шляпе, со связанными на спине руками... это была она!

Говорят, что, увидав через раскрытые ворота это сборище возбужденных, взбешенных лиц, ощутив на своем лице горячее дыхание этой толпы, Шарлотта, наконец, почувствовала, что мужество ее ослабевает, и ее почти без чувств втолкнули в извозничий экипаж; лошадь тихо тронулась неверными шажками, еле-еле двигаясь среди этого моря людей. Карета направлялась к тюрьме аббатства.

• • •

Была ли красива Шарлотта Корде? В этом можно сомневаться, если прочесть тысячи дифирамбов, сложенных в честь ее красоты. Арман де ла Моз описывает ее так: «...маленького роста, сложения скорее сильного, чем нежного, с овальным лицом, благородными, но немного грубыми чертами, пронизательными голубыми глазами. Нос у нее был хорошо очерчен, рот красив и зубы великолепны; волосы каштановые, кисти рук могли служить образцом художнику; ее манеры и движения дышали грацией и достоинством, а то, что я увидал лишь благодаря ее несчастью (когда ее корсаж расстегнулся), было достойно резца Праксителя».

И что же? Читая эти строки, я пришел к убеждению, что этот целомудренный распутник Арман вовсе ничего не видел и лжет, говоря об этом, как лгал на всем протяжении своих мемуаров. «*Реестр Революционного трибунала*» сообщает совсем другое: «Эта женщина, про которую говорили, что она очень красива, вовсе не была таковой; лицо ее было скорее мясистым, чем свежим, она была лишена грации и нечистоплотна, как почти все философы и умницы женского пола. Ее лицо

было грубым, дерзким и безобразным. Ее молодости и знаменитости (?) было достаточно, чтобы во время первого допроса ее сочли красивой... Шарлотте Корде было двадцать пять лет; то есть, по нашим понятиям, это почти старая дева, что немудрено, если принять во внимание ее мужеподобные манеры и мальчишеское сложение; к тому же она была лишена чувства стыда и скромности»¹⁶³.

Я нарочно привожу рядом два эти описания для тех, кто думает, что легко открыть истину в истории, обращаясь к свидетельствам очевидцев. То, что одни находят божественно прекрасным, кажется безобразным и отвратительным другим; все искренни — но что может вынести из их показаний читатель?

Ну что ж! — и на этот раз мы узнаем правду благодаря одной неизвестной, скромной, никем не замеченной подробности. Несколько лет тому назад в бумагах г-на Жоржа Мажеля, бывшего библиотекарем в Кане, была найдена коротенькая записочка, набросанная карандашом на клочке бумаги. Г-н Мажель написал ее, поставив дату «10 мая 1852 года», под диктовку одной восьмидесятилетней женщины, Бертело, которая когда-то знала Шарлотту Корде: вот что сказано в этой записке: «Мадемуазель де Корде была крупного телосложения, скорее высокая, чем маленькая, и ее нельзя было назвать красивой; но у нее было такое кроткое выражение лица, что она внушала к себе любовь даже раньше, чем успевала заговорить: это был ангел Божий!»

Итак, у нее были обыкновенные черты лица, но все же она была прекрасна. Вот что мы находим во всех описаниях — говорю о тех из них, к которым стоит отнестись серьезно, то есть оставленных нам современниками Шарлотты. Кроме того, существует ее маленький портрет, написанный во время процесса, и на нем мы видим ее именно такой, какой описывает ее госпожа Бертело. История его известна: во время заседания Революционного трибунала, судившего Шарлотту Корде, обвиняемая заметила, что один из офицеров национальной гвардии, дежуривших в судилище, пытается набросать карандашом ее портрет. Она повернулась к нему, чтобы облегчить его задачу; затем, после приго-

вора, она добилась, чтобы художнику разрешили часовое свидание с ней, он смог закончить свой эскиз. Факт этот, как и все факты, рассказывали, отрицали, раздували, приукрашивали и отвергали. Он действительно был, и я прошу разрешения подтвердить это личным воспоминанием.

В «*Историческом этюде*» г-на де Монтейрмара меня живо заинтересовало следующее место: «Именно в суде Гойер и нарисовал Шарлотту Корде. И во время самого процесса, а не в тюрьме, молодая обвиняемая, пользуясь перерывом заседания, отрезала локон своих волос и дала его художнику, который был более взволнован и растроган, чем она сама. При этом она сказала ему: “Я не знаю, милостивый государь, как мне отблагодарить вас за горячее участие, с которым вы, кажется, относитесь ко мне, и за портрет, который вы потрудились нарисовать. Я могу вам предложить лишь это; благоволите взять их и сохранить на память”».

Эти драгоценные и важные подробности, разрушающие басню, рассказываемую всеми без исключения историками Шарлотты Корде, не могут внушать ни малейшего сомнения. Их подтверждает почтенный и ученый аббат ДинOME, бывший раньше священником в Роморантене (департамент Луара-и-Шер), а теперь удалившийся в Орлеан, где он живет на улице Мадлен, 59. В 1824 году он был викарием в соборе в Блуа и сделался там другом Гойера, который переехал в этот город, где и умер в 1829 году. Из уст последнего аббат ДинOME и услышал эти подробности. Гойер раз сто с умилением и удовольствием пересказывал их ему, и они позволяют нам восстановить факты во всей их истине и точности. Басня о посещении живописцем тюрьмы после приговора, сочиненная газетами того времени и повторенная затем всеми авторами, писавшими об этой части истории революции, должна, таким образом, быть отвергнута как чистый вымысел и историческая неточность.

Итак, лишь гораздо позже, при помощи своих воспоминаний (из тех, которые никогда не забываются) и наброска, сделанного во время заседания Революционного трибунала, Гойер написал тот портрет Шарлотты

Корде, который мы видим теперь в музее Версаля. Он был куплен в 1839 году, через десять лет после смерти художника, за 600 франков дирекцией музеев у наследников Гойера. На этом портрете, безусловно, более других похожем на оригинал, Гойер изобразил Шарлотту блондинкой с голубыми глазами и очень белой кожей. В руках она держит нож, орудие мести, а на голове у нее тот чепчик, в котором она предстала перед трибуналом и который был на ней и тогда, когда она всходила на эшафот. На лице ее, чрезвычайно кротком, лежит печать серьезности. Конечно, в ее чертах нет особого героизма, но она кажется как будто озабоченной предстоящим ей печальным испытанием».

Все историки Шарлотты Корде сходятся во мнении относительно красоты молодой девушки, цвета ее пронизательных голубых глаз, безукоризненных линий ее носа и рта, правильности ее кротких и все же строгих черт, грации ее движений, но расходятся в определении ее роста: одни говорят, что она была маленькая, другие — что большая. Если верить Гойеру, по словам его друга-аббата, то Шарлотта Корде «была высокой, скорее сильного, чем нежного сложения».

«Что же касается цвета ее волос, то здесь не может быть никаких сомнений: она была белокурой. Абат Диноме получил из рук Гойера и в течение нескольких лет владел прядкой того драгоценного локона, который молодая девушка дала незнакомому ей художнику во время суда над ней. Диноме утверждает, что эти волосы, подлинность которых несомненна, были настоящего прелестного белокурого цвета, то есть ни рыжие, ни пепельные. К несчастью, он лишился этого сокровища по непростительному невежеству своего слуги».

Как я говорил уже, эти строки поразили меня: мне казалось, что из них с неопровержимой ясностью вытекает следующий факт: живописец Гойер дал своему другу аббату Диноме часть локона Шарлотты, и тот потерял его. Но другая часть, та, что осталась у Гойера, — что случилось с ней? Такие реликвии передаются как сокровище; наследникам художника, конечно, известно в какой коллекции, в чьих руках находится она теперь. И

вот я отправился странствовать по свету, разыскивая эту прядь волос...

Указания, данные г-ном де Монтейремаром об аббате Диноме, заставили меня сначала сосредоточить свои поиски на Блуа и его окрестностях. Я усердно разыскивал потомков Гойера на берегах Луары и открыл их в Арси-сюр-Об, куда меня привлекли воспоминания о Дантоне. Там я имел честь познакомиться с госпожой Гойер, невесткой портретиста Шарлотты Корде. Она¹⁶⁴ может считаться почти свидетельницей факта, рассказ о котором она слышала, по крайней мере, тысячу раз. Она была так любезна, что написала для меня записки, которые могут быть сочтены за чистую правду относительно свидания Шарлотты с художником. К тому же в них обрисован образ живописца — единственного, быть может, среди своих современников, кто старался быть точным и до мелочей подробным повествователем эпохи революции¹⁶⁵. Вот почему я позволю себе привести здесь несколько отрывков из этих интересных воспоминаний.

«Мой свекор, — пишет мне госпожа Гойер, — был, как это видно из его фамилии, немецкого происхождения. Он происходил из знатной фамилии Аугсбурга, изгнанной из этого города в XVII веке, так как она была католического вероисповедания и отказалась перейти в протестантизм. Имущество их было конфисковано, и вся семья с многочисленными детьми нашла себе пристанище в Мангейме, где в 1750 году и родился мой свекор. При крещении его назвали Жан-Жаком.

Эта семья, хотя и находившаяся в изгнании, сохранила прекрасные связи; благодаря им мой свекор воспитывался вместе с сыном курфюрста и мог развить свой художественный талант, из которого он и сделал свою профессию, когда приехал в Париж, после того как он был некоторое время секретарем кардинала де Рогана, помощника епископа Страсбургского. Я не знаю, когда мой свекор перестал писать картины и ничего не знаю о той из них, где он изобразил смерть Марата¹⁶⁶, но знаю, что долгое время он пользовался своим талантом, служившим ему источником средств к жизни, так как он потерял после какого-то процесса

остаток своего состояния. Я не знаю, что случилось с картиной, изображающей смерть Марата; может быть, она находится в одном из наших музеев, так как после смерти моего свекра дети его по просьбе правительства продали несколько картин, относящихся к революции, в том числе и портрет Шарлотты Корде.

Муж мой много раз рассказывал мне подробности относительно портрета Шарлотты Корде, которые он слышал от своего отца. Во время процесса Шарлотты мой свекор поместился со своими принадлежностями художника в зале заседания трибунала, где он набросал портрет подсудимой. Она, заметив это, старалась повернуться к нему лицом, чтобы он мог лучше рассмотреть ее. Она сама после приговора просила разрешения, чтобы художник мог прийти к ней в тюрьму. Разрешение это было дано без особых хлопот, так как свекор мой был хорошо известен правительству, потому что он состоял капитаном национальной гвардии секции Французского театра.

В течение нескольких часов, прошедших между приговором и казнью, Шарлотта Корде была совершенно спокойной и покорной. “Милостивый государь, — сказала она моему свекру, когда он вошел к ней в тюрьму, — мне остается жить всего несколько минут; я видела, что вы хотите написать мой портрет, я просила и добилась для вас разрешения окончить его до моей смерти”. “Я готова!” — прибавила она, садясь. Позируя, она совершенно спокойно разговаривала о совершенном ею убийстве. Она была далека от раскаяния — напротив, радовалась, думая, что это послужит ко благу Франции, которую она, по ее словам, избавила от чудовища.

Затем, рассматривая портрет, она дала несколько указаний, что надо прибавить или уничтожить в нем. Мой свекор находился в тюрьме около двух часов, когда раздался стук в дверь. “Войдите”, — сказала Шарлота. Дверь открылась, и показался палач, держащий в руках ножницы и красную рубашку. Лишь на мгновение ужас овладел Шарлоттой. “Как, уже?” — спросила она, бледнея. Но, тотчас же овладев собою, взяла ножницы из рук палача, отрезала длинную прядь своих волос и, обращаясь к свекру, сказала: “Милостивый государь, бла-

годарю вас за то, что вы сделали для меня. В виде благодарности я могу вам предложить лишь эту прядь волос¹⁶⁷. Примите ее на память от умирающей и позвольте мне просить вас сделать копию этого портрета для моей семьи и отослать ее ей". (Эта копия была сделана в уменьшенном виде и послана ее семье.) Затем она отправилась на эшафот, и свекор сопровождал ее. Волосы, которыми он чрезвычайно дорожил, к несчастью, потерялись во время переезда из Блуа в Париж, после его смерти. Я никогда не слыхала, чтобы кому бы то ни было была дана прядь этих волос. Мой муж знал бы об этом, и так как он был искренно огорчен этой потерей, то он, конечно, попросил бы то лицо, у которого они находились, возвратить их ему. Волосы Шарлотты были пепельного цвета. Мой муж часто их видел и держал в руках».

Итак, от рассказа де Монтейремара ничего не осталось; Гойер был в тюрьме Шарлотты и из собственных рук осужденной получил прядь волос, которой никогда ни с кем не делился и которую наследники его потеряли во время переезда. Прибавим, что портрет, написанный Гойером, действительно находится в Версальском музее. Эвдор Сулье в своем каталоге коллекций, хранителем которых он состоял, опубликовал об этой картине заметку, и в ней мы находим почти все подробности, которые соблаговолила рассказать мне госпожа Гойер.

И все же реликвия Шарлотты Корде существует. На выставке 1889 года на первом этаже отдела вольных искусств в секции антропологии находилась витрина, которой почти никто не интересовался — еще бы, там было столько более веселых предметов для осмотра! В этой витрине помещалось несколько человеческих скелетов, найденных в земле во время работ по прокладке фундамента Эйфелевой башни, на глубине 300 метров. Были ли это останки гугенотов, убитых в Варфоломеевскую ночь, чьи тела, унесенные Сеной, погребены в этом месте, или трупы людей, павших во время резни на Марсовом поле в 1791 году? Это неизвестно. Рядом с этими скелетами лежало несколько черепов, и на одном из них была маленькая надпись, гласившая:

«Череп Шарлотты Корде.

Принадлежит принцу Ролану Бонапарту».

Принц Ролан Бонапарт до сих пор не открыл, каким образом эта реликвия попала в его руки и какими доказательствами подтверждается ее подлинность; по-видимому, у него есть документы, не оставляющие сомнений. Скажем лишь, что около 1840 года Эскирос видел череп Шарлотты у господина де Сент-Альбана; затем он перешел, как мне кажется, к г-ну Дюрюи, который и преподнес его принцу Ролану Бонапарту.

Но за неимением доказательств своей подлинности, череп сам может поведать нам свою историю. По крайней мере, ученые, изучавшие его, господина Топинар и Бенедикт, открыли в нем некоторые не лишние интереса особенности. Если извлечь из отчета об их работах, написанного с технической точки зрения, многие слова, понятные простым смертным, мы узнаем, что цвет кости, блестящей, гладкой и желтоватой, как слоновая кость, указывает на то, что череп Шарлотты никогда не был погребен. Череп этот не зарывали в землю, не держали на открытом воздухе, а напротив, сначала препарировали, а затем долго хранили в ящике или шкафу — словом, в месте, защищенном от вредных атмосферных влияний.

Это довольно странное открытие. Значит, в 1793 году нашелся фанатик, настолько экзальтированный, чтобы, рискуя собственной жизнью, в ночь после казни вырыть из земли голову героини? Или мы должны думать, что кто-нибудь купил у самого палача эту кровавую реликвию? Или же следует поверить преданию, которое до сих пор всеми отвергалось и имело характер простых слухов, что правительство того времени, неизвестно из каких видов, приказало перенести труп Шарлотты в амфитеатр и тщательно его осмотреть. В таком случае, можно предположить, что голова ее была *препарирована* каким-нибудь врачом и сохранялась как редкость.

Никогда не слышно было, чтобы останки Шарлотты сделались священными реликвиями, тем не менее это так, и вот доказательство: кто бы ни был тот, кто сохранял череп, у него появилось много завистников, и он

великодушно раздавал им зубы. Действительно, пять передних зубов с каждой стороны были вырваны уже *после смерти*. С левой стороны сзади видно большое отверстие на месте второго большого коренного зуба, который болел и был вырван при жизни. То же замечается и с правой стороны. Очевидно, у этого субъекта было два испорченных зуба, которые вырвали незадолго до смерти.

Общий вид черепа нормальный, то есть в нем не замечается никаких искусственных или патологических изменений, никаких следов болезни (кроме одной или двух альвеол), никаких аномалий. Лоб низкий, как у самых прекрасных женщин греческих изваяний: общий вид — правильный, с тонкими и несколько мягкими изгибами женских черепов; хотя доктор Бенедикт нашел на лобной кости, в носовой ее части, особенности, свойственные черепу мужчины. В общем, говорит он, мы находим здесь анатомические особенности, не вполне отвечающие требованиям совершенного типа, но все же не дающие нам права считать этот образец патологическим или нетипичным.

4. Ванна Марата

Существует еще один свидетель драмы 13 июля 1793 года. Это ванна, в которой сидел Марат, когда он был убит Шарлоттой Корде. История этого трагического предмета так странна, одиссея его так удивительна, что мы посвятим ему несколько строк.

Во время прокладки бульвара Сен-Жермен, г-н д'Идевилль описал в серии статей, напечатанных в «*Moniteur Universel*», все воспоминания, исчезающие вместе со старыми домами квартала Кордельеров. Конечно, в них было отведено место и Марату. Когда два года спустя д'Идевилль издал свои очерки отдельным томом¹⁶⁸, он вскоре после этого получил следующее письмо:

«Милостивый государь!

Я прочел вашу книгу “Старые дома и молодые воспоминания”. Вы видели комнату, где принимал ванну

Марат, но я сомневаюсь, чтобы вы видели самую ванну. Более счастливый в этом отношении, чем вы, добрый священник Сарзо из Морбигана показывал мне ее во время каникул: она стоит в сарае, на птичьем дворе дома священника. Это не обыкновенная ванна; она имеет форму сапога, сделанного из меди. Отверстие ее такой величины, чтобы можно было сесть, со всех же других сторон она совершенно закрыта, вероятно, для того чтобы сохранялась теплота воды. Она недостаточно длинна для того, чтобы в ней мог лежать, вытянув ноги, мужчина... На верхней доске ее имеются два маленьких крючка, при помощи которых из нее можно сделать пюпитр» и т. д.

Письмо было подписано «Ив Ропар».

Господин д'Идевилль ответил, но больше писем не получал. Семь лет спустя он увидел на выставке портретов XVIII века знаменитую гравюру Давида*; тогда он вспомнил о мрачной реликвии и снова обратился к своему неизвестному корреспонденту и к священнику Сарзо. Г-н Ив Ропар безмолвствовал, а священник написал в ответ следующие два письма:

«18 июня 1885 года.

Милостивый государь!

Господин аббат Рио, брат писателя, был священником в одном приходе в Версальском епископстве, когда его болезненное состояние заставило его покинуть службу. Там он познакомился с одной старой девой праведной жизни, госпожой Каприоль де Сент-Илер. Лишь только она узнала, что он едет доживать свои дни на остров Арс, его родину, она просила его позволить ей последовать за ним со всей своей обстановкой, обещая предоставить в его распоряжение на дела благотворительности все свое скромное состояние. Среди ее мебели находилась и знаменитая ванна. Я приехал на *остров Монахов* два или три года спустя после ее смерти. Так как я каждые две недели виделся с господином Рио, он часто говорил мне об этой ванне и звал меня пройти на чердак, где она стояла, чтобы осмотреть

* Речь идет о гравюре, сделанной с известной картины Жака Луи Давида «Смерть Марата», ныне находящейся в Брюссельском музее.

ее. Но, частью из равнодушия, частью по недостатку времени, так как я всегда спешил возвратиться к себе на остров, я при его жизни ни разу ее не видел.

За два года до смерти он написал духовное завещание, назначив меня своим душеприказчиком. Его племянница наследовала все его имущество и по моей просьбе подарила мне ванну Марата».

И второе письмо:

«9 июля 1885 года.

Я не могу точно сказать вам дату, когда господин Рио и девица Каприоль де Сент-Илер покинули Версальскую епархию; мне кажется, что это случилось в 1858 или 1860 году. Он был священником в двух приходах; последним, если я не ошибаюсь, был приход Медон. Впрочем, очень легко узнать это в точности. Для этого надо лишь написать главному викарию Версальского епископства.

Я не сомневаюсь, что эта девица жила в одном из двух упомянутых приходов. Отец ее был бригадным генералом и вышел в отставку в 1830 году. У меня хранятся все его ордена, равно как и шпага. Викарий острова Арс, которого я видел вчера, сказал мне, что и теперь еще в живых остаются члены его семейства. Невозможно предположить, чтобы в Версале не были известны их местопребывание и обстоятельства, вследствие которых реликвия попала в руки этой девицы...

Господин дю Будан, депутат, живущий на острове Монахов, говорил однажды с Тьером об этой ванне и спросил его, известно ли ему, что с ней случилось. “Нет”, — отвечал тот. “Ну так я скажу вам, — ответил депутат, — она находится у одного из моих друзей!” — “Это не удивляет меня, — отвечал ему Тьер, — так как, несмотря на все мои старания, я не мог отыскать нигде следов ее существования”.

Если бы эта реликвия находилась в необразованной семье или в руках у торговца, я бы совершенно не верил в ее подлинность. Но я верю утверждениям старой девы праведной жизни, умершей в 1862 году в возрасте семидесяти восьми лет. Думаю, что сомнения здесь невозможны».

Странное открытие господина д'Идевилля наделало шума: заметка о нем появилась в «*Фигаро*»¹⁶⁹. Этого было достаточно, чтобы пробудить интерес к нему, и год спустя¹⁷⁰ та же газета описывала в следующих выражениях эпилог этого события.

«Приблизительно год тому назад (15 июля 1885 года) на этой полосе “*Фигаро*” была помещена заметка, озаглавленная “Ванна Марата”. Наши читатели, быть может, помнят еще одиссею этого странного исторического предмета, которую мы поведали тогда. Эта кровавая реликвия, существование которой было открыто благодаря довольно странным обстоятельствам, находилась в глубине Бретани во владении “*ректора*”, старшего священника маленького городка Сарзо (Морбиган). Добрый священник унаследовал ее от старой девы, роялистки и католички, девицы Каприоль де Сент-Илер, умершей в 1862 году.

Открытие “*Фигаро*” внезапно сделало скромного священника знаменитостью почти против его воли. Его слава сделалась невероятной. Республиканские газеты, разумеется, выражали сомнение в подлинности сокровища, и по этому поводу возникла полемика. Самыми сильными аргументами противников были следующие. Каким образом, говорили они, подобная вещь могла попасть в руки старой ханжи-католички? По нашему мнению, именно это долгое пребывание в одних руках и презрение, с каким относились к этой зловещей реликвии, служат доказательством ее подлинности. Девица Каприоль де Сент-Илер, умершая в 1862 году, очень хорошо помнила, что ее отец около 1805 года купил ванну Марата. Девушке было в то время пятнадцать лет, и она часто говорила людям, которые живы еще и теперь, об обстоятельствах, при каких произошло это приобретение: отец ее купил эту ванну у одного торговца железом на улице д'Аржантей».

Теперь остается лишь проследить и восстановить судьбу этой ванны с 1793 до 1805 года. Что стало после смерти Марата с обстановкой члена Конвента?

На другой день после убийства мировой судья секции Французского театра наложил печати на комнаты публициста на улице Кордельеров и составил опись

его имущества. Среди вещей, вошедших в этот очень подробно составленный инвентарь, мы находим «два книжных шкафа, два глобуса, ящик с хирургическим инструментом», но в нем не упомянута ванна. Вероятно, Марат ограничивался тем, что брал ее напрокат в ближайшем учреждении такого рода, когда ему надо было принять ванну. Нет ничего невозможного в том, что человек, сдававший ее, получил обратно ванну, в которой умер Друг народа, и сохранил ее. Затем она разделила участь всех вещей и была продана в железную лавку.

Как бы то ни было, но новость, объявленная на страницах «*Фигаро*», наделала шума. Добрый священник из Сарзо видел уже, как англичане наполняют золотом его неоцененную редкость. Он уже видел свою церковь перестроенной, он видел новую школу, великолепно обставленный госпиталь... К несчастью, его благочестиво-честолюбивые мечты не сбылись. Почтальон не принес ему ни одного письма со штемпелем «Лондон», и чудесные предложения не изливались на домик священника. Несколько скромных предложений было отвергнуто с презрением. Говорят, что музей Карнавале и позже музей Гревен получили лишь высокомерные отрицательные ответы.

Во всяком случае, шум, поднятый вокруг ванны, принес пользу обитателям Сарзо. Летом из соседних городов стали приезжать экскурсии для осмотра кровавого трофея революции. Однажды один ремесленник предложил счастливому обладателю за их общий счет провезти мрачную реликвию по всем городам Франции, за что сулил громадную прибыль, которую, конечно, пришлось бы разделить между «Барнумом» и благотворительными учреждениями. Священник отверг это предложение, так как справедливо счел его унижительным для своего достоинства, и не хотел лишать содержателей гостиниц Сарзо неожиданного дохода, который доставляли им экскурсии туристов.

Но увы! Наш добрый священник напрасно рассчитывал на лучшее будущее. Америка и Англия остались глухи и равнодушны: между державами Европы не началось конкуренции из-за приобретения ванны Друга

народа. Приходилось смириться и расстаться со своими иллюзиями. Это было страшное разочарование; мало-помалу предложения вовсе иссякли, и вокруг не оцененного сокровища грозило навеки воцариться молчание. Кюре из Сарзо видел, как одно за другим обращаются в дым здания его собора, его обширных богаделен, его великолепных школ, и очень рисковал не получить никаких выгод от обладания сокровищем, так долго скрытым в домике священника и лишь благодаря счастливой случайности снова появившимся на свет.

Вернувшись из своего дивного путешествия в страну грез и узрев действительность, добрый священник согласился, наконец, принять предложения музея Гревен. Сумма была все же довольно значительной, и цены, уплаченной за ванну, хватило на то, чтобы отстроить школу для девочек в городке Сарзо. Действительно, администраторы музея, которые ни за что не согласились бы заплатить ремесленнику или торговцу редкостями 3 тысячи франков за эту историческую вещь, не колеблясь, решились отдать эту сумму в руки почтенного священника, так как заранее знали, что она пойдет на дела милосердия. Таким образом, они сделали доброе дело и одновременно выгодное приобретение.

Ванна эта сделана из меди; она темного, почти черного цвета; формой своей похожа на сапог и вообще такова, какой изображена на гравюрах того времени и какой описал ее ученый Кузен. В глубине ванны приделан своего рода медный табурет, благодаря чему в ней можно было сидеть и работать. Под этой скамейкой помещалось приспособление для нагревания воды. Можно сказать, что время наложило свою печать на эту бронзовую утварь. Очень вероятно, что с 13 июля 1793 года ванна Марата не испытывала прикосновения воды. В ней, должно быть, еще и теперь сохранились пятна крови трибуна. Во всяком случае, в ней ясно видны горизонтальные полосы — след от лекарств, в которые входила серная кислота; их добавляли в ванну члена Конвента, страдавшего, как уже говорилось, кожной болезнью.

Вот почему настоящая ванна Марата в качестве главного аксессуара фигурирует в довольно верно воспроизведенной¹⁷¹ сцене, изображающей в музее Гревен смерть Друга народа.

5. Эпilog драмы

Когда Друг народа умер и апофеоз, о котором мы расскажем, закончился, дом на улице Кордельеров опустел. Через месяц после того, как разыгралась драма, Симона Эврар, «вдова Марата», обратилась к Конвенту с маленькой речью, в которой она просила для себя «только могилы». Впрочем, как мы видели, у нее не было никакого официального права называться вдовой *Марата*; прибавим также, что она в качестве таковой никогда не получала никакой пенсии от государства. Она пережила на тридцать один год любимого ей человека; Альбертина Марат не покидала ее; впрочем, вся семья трибуна обращалась с ней как с родственницей, и газета «Гора» опубликовала в августе 1793 года следующее странное удостоверение:

«Несмотря на то, что мы уже раньше убедились, что гражданка Эврар оказала важные услуги гражданину Марату, своему супругу, мы сочли нужным, во имя нашей благодарности, для удостоверения этого акта обратиться к свидетельству лиц, знавших положение, в которое впал брат наш вследствие жертв, принесенных им делу революции. Проникнутые чувствами восхищения и благодарности в адрес нашей дорогой и достойной сестры, мы заявляем, что лишь ей семья ее супруга обязана сохранением последних лет его жизни... Мы заявляем, что мы с чувством удовлетворения исполняем волю нашего брата и признаем гражданку Эврар нашей сестрой. Мы будем считать низкими тех членов нашей семьи, если таковые найдутся, которые не будут разделять чувств уважения и благодарности, питаемых нами к ней. А если, против нашего ожидания, такие члены нашей семьи найдутся, то мы просим их сообщить свои имена, не желая разделять их позора.

Составлено в Париже, 12-го сего августа, года II Французской Республики.

Мария-Анна Марат, в замужестве Оливье, Альбертина Марат, Жан Пьер Марат».

Какого бы мнения ни придерживались мы относительно нелегального положения Симоны Эввар, какое бы отвращение ни внушало нам все, касающееся Марата, есть одно, чем мы должны безгранично восхищаться — это тот культ, которым окружали его память две женщины, жившие с ним: его любовница и его сестра.

Энтузиазм во Франции, — вещь чрезвычайно кратковременная: через два года после смерти Друга народа о нем вспоминали лишь для того, чтобы проклинать его память. Симона Эввар и Альбертина Марат, объединенные своими чувствами и воспоминаниями, вместе ютились в тесной и бедной квартирке на улице Сен-Жак. Они присутствовали безмолвными и взволнованными свидетельницами при падении Директории, при эпопее Империи, при Реставрации... Всегда они вспоминали «его» и со вздохом говорили друг другу: *«Если бы он был здесь!»*

Как они жили? В дни, последовавшие за смертью Марата, вся Франция — искренно или притворно — до такой степени была потрясена горем, что граждане предлагали добровольно выплачивать пенсию *его вдове*. Доктор Кабанес ознакомился с неизданным документом, в котором гражданин Арну, директор военного госпиталя в Монпелье, назначает *вдове Марата* «ежегодную ренту в 50 ливров». Получила ли Симона Эввар другие подобные предложения? Этого я не знаю; но достоверно то, что ей удалось спасти при крушении маленькую ренту от государства, 560 ливров, на которые она и жила. Альбертина Марат исполняла самые тонкие ювелирные работы и зарабатывала этим свой хлеб.

Симона умерла от последствий падения в 1824 году, в доме 33 на улице Барильери; ей было всего шестьдесят лет. Альбертина Марат, жившая с ней с 1793 года, осталась одна в бедной квартирке, которую они сообща снимали: она жила еще там в 1835 году. Иногда она принимала у себя некоторых выдающихся людей, мыслителей, историков и философов, которым интересно

было услышать из ее уст повествование о событиях революционной эпохи. Альфонс Эскирос, Эмиль де ля Бедольер, полковник Морен, Эме Мартин составляли кружок старой женщины, все еще гордой именем, которое она носила. Трое этих последних — ярые коллекционеры — с нетерпением дожидались минуты, когда они смогут поделить между собой пожитки той, кого нужда каждый день заставляла расставаться с тем или иным обломком состояния, с семейными вещами, дорогими по воспоминаниям; она вынуждена была продавать их¹⁷². В эту свою квартиру на улице Барильери она пригласила Распайля, которому желала передать различные реликвии Марата, считая, вероятно, молодого революционера достойным принять наследие свирепого демагога 1793 года.

Альфонс Эскирос оставил красноречивое описание своего свидания с Альбертиной Марат в 1832 году.

«Я решил, — пишет он, — сразу по возвращении моем в Париж повидать сестру Марата, находящуюся еще в живых. Говорят, что она отказалась от замужества, чтобы не потерять фамилии, которой гордилась.

Был дождливый день. В доме на улице Барильери (адрес, указанный мне знаменитым скульптором Давидом*) я вошел в низкую дверь, ведущую в узкий и темный коридор. На стене увидел надпись: *«Швейцар на втором этаже»*.

Я поднялся по лестнице. На втором этаже я спросил девицу Марат. Швейцар и его жена молча переглянулись.

«Она живет здесь?»

«Да, милостивый государь».

«Она дома?»

«Всегда дома. У бедной девушки паралич ног».

«На котором этаже?»

«На пятом, дверь направо».

Жена швейцара, до сих пор смотревшая на меня не говоря ни слова, прибавила насмешливо: «Да, барышня не из молоденьких».

* Речь идет о Давиде Анжерском (1788—1856), ученике Жака Луи Давида.

Я продолжал подниматься. Лестница становилась все круче. При дневном освещении ясно была видна грязная известь некрашенных стен. Поднявшись на самый верх, я постучал в плохо затворенную дверь. После нескольких минут ожидания, во время которых я еще раз осмотрел ветхую лестницу, мне открыли. Я остолбенел от изумления. Существо, открывшее двери и смотревшее на меня, было самим Маратом. Меня предупреждали об этом почти сверхъестественном сходстве между братом и сестрой, но я не думал, что оно может быть так велико. Ее неопределенный костюм еще более увеличивал эту иллюзию. На голове ее была надета белая салфетка, из-под которой виднелось лишь немного волос. Эта салфетка напомнила мне, что у Марата была так же обвязана голова, когда он был убит в ванне. Я задал обычный вопрос: “Дома ли мадемуазель Марат?”

Она устремила на меня взор своих черных пронзительных глаз: “Да, войдите”.

Она ввела меня в темный коридор, где в уголке смутно обрисовывалось нечто вроде кровати. Через этот коридорчик мы вошли в единственную довольно опрятную, но бедную комнату. Вся мебель ее состояла из трех стульев, стола, клетки, где распевали два чижа, и раскрытого шкафа, где стояло несколько книг. Одно из стекол окна было разбито, и его заменили промасленной бумагой, через которую в этот дождливый день проникал в комнату жирный и тусклый свет...

Сестра Марата опустила на стул с ручками и предложила мне сесть рядом с ней... Когда она узнала о цели моего посещения, я осмелился задать ей несколько вопросов относительно ее брата. Она заговорила, но, признаюсь, скорее о революции, чем о Марате. Я был изумлен, что при наружности и одежде женщины из народа она выражалась довольно правильным, точным и сильным языком. Я узнавал все идеи и часто даже выражения ее брата. Поэтому в сумерках этой комнаты она производила на меня совершенно особое впечатление. Ужас, который связан с людьми и событиями 93-го года, мало-помалу проникал в меня. Мне было хо-

лодно. Эта женщина казалась мне не столько сестрою Марата, сколько его тенью...

Несколько раз заметил я, что она устремляет на меня подозрительные и инквизиторские взоры. Дух недоверия, владевший революционерами, не угас в ней с годами. Она созналась мне даже, что ей необходимо навести справки относительно моих *гражданских добродетелей*. Я заметил, как она запальчиво ответила на некоторые высказанные мною соображения: в ней видна была кровь Марата. Принципы, которые защищал ее брат, казались ей единственно заслуживающими внимания, подробности его частной жизни, по ее мнению, не представляли интереса, как все касающееся отдельного человека, существа недолговечного и несчастного, которого уничтожает смерть и скрывает маленький холмик земли. Все же я после долгих усилий добился от нее некоторых указаний относительно жизни и привычек Марата. О Шарлотте Корде она отозвалась как об авантюристке и девушке порочной жизни».

6 ноября 1841 года, в газете «Тан» можно было прочесть следующее:

«Скончалась сестра знаменитого Марата в возрасте восьмидесяти трех лет, на чердаке на улице Барильери, в самой глубокой нищете; у ее смертного ложа находились лишь единственный наследник ее, бакалейный торговец, и единственная подруга — жена швейцара. Эта дама, напоминавшая резкими, характерными чертами лица своего старшего брата, долго жила на то, что зарабатывала, делая часовые стрелки; говорят, что в этом ремесле она достигла замечательного мастерства. Она знала латинский язык. Когда с годами она сделалась калекой, то впала в нищету. Четверо друзей и соседей проводили прах ее до кладбища».

В этом состояло все надгробное слово. Один неизвестный заплатил 6 франков за право поставить крест на могиле, которую муниципалитет предоставлял беднякам на год, в пределах общей могилы¹⁷³.

У ДАНТОНА. АРСИ И ПАРИЖ

В конце царствования Людовика XV один торговец лимонадом открыл кафе в нижнем этаже дома на Школьной набережной, где до тех пор во всех лавках торговали только тряпичники. В нескольких шагах отсюда знаменитый шоколадник Генриха II Манури имел заведение, процветающее и поныне, где впервые во Франции начали подавать кофе. Его потомок в 1770 году внес целую революцию в игру в дамки, исключив из нее восемь пешек¹⁷⁴. Он не без некоторого беспокойства смотрел на открывшееся в ближайшем соседстве заведение, конкуренция которого казалась ему серьезной.

Хозяин нового кафе действительно был не из простых людей; звали его Шарпантье, и было известно, что он служил контролером ферм, где и нажил себе некоторое состояние. Он потратил 20 тысяч ливров на покупку лавки прохладительных напитков, и хорошо осведомленные жители квартала с восхищением рассказывали, что он хочет истратить еще 30 тысяч на обустройство своего заведения¹⁷⁵. И действительно, в конце 1773 года, когда были сняты леса, открылся одновременно серьезный и кокетливый фасад, на вывеске которого золотыми буквами была сделана надпись «Кафе Парнас»¹⁷⁶.

Новое заведение было открыто недалеко от Лувра, у начала Нового моста, вблизи Дворца правосудия; вско-

ре оно сделалось местом, где встречались судейские чиновники, адвокаты, прокуроры, служащие парламентских бюро, это была серьезная и верная клиентура, встречающаяся там ежедневно по окончании заседаний. Один из современников оставил нам живописный очерк этих собраний¹⁷⁷.

«Кажется, и теперь еще перед моими глазами стоит, — пишет он в 1815 году, — хозяин дома в маленьком, коротко остриженном парике, сером фраке, с салфеткой в руке. Он полон внимания к своим гостям, и они обращаются к нему с дружеским уважением. За кассой стояла достойная женщина, милая и кроткая, дочь хозяина заведения. Среди завсегдатаев, которые, казалось, особенно охотно останавливались у кассы, можно было заметить молодого адвоката, бывшего сначала очень веселым и жизнерадостным, но через некоторое время ставшего серьезным. Этим адвокатом был Дантон».

Жизнь этого молодого шампанца из Арси-сюр-Об была нелегкой. Адвокат без клиентов, он не имел ничего, кроме долгов¹⁷⁸, и очень мало зарабатывал во Дворце правосудия. У него была чисто буржуазная привычка приходить каждый вечер в «Парнас», чтобы выпить *полчашечки* и сыграть партию в домино. Он охотно рассказывал своим партнерам, что происходит из хорошей семьи города Арси. Когда мать его вторично вышла замуж за негоцианта по фамилии Рекорден, он решил жить самостоятельно и явился в Париж искать счастья. Он приехал сюда в 1780 году в карете почальона Арси-сюр-Об, который довез его бесплатно. Остановился он в скромной гостинице «Черная лошадь», которую содержал на улице Жофруа-Л'Асние некто Лагрон — у него обычно останавливались все шампанцы. Дантон столовался в трактире под неприятной вывеской «Скромность» и ежедневно возился с бумагами у одного прокурора. Он был добродушным малым, полным искренней, несколько шумной и грубоватой веселостью, дышащий энтузиазмом и энергией; его непоколебимый апломб пропадал, лишь когда он подходил платить за свой кофе к кассе, за которой царил прекрасная Габриэль Шарпантье.

Родители молодой девушки не без неудовольствия замечали ухаживания своего клиента; он уже делал некоторые намеки на свадьбу; но хозяин *Парнасского кафе* не решался выдать дочь за этого толстяка без заработка, будущность которого не обещала ничего блестящего. Несмотря на это, было ясно, что он тронул сердце Габриэль. Она восхищалась его умом, который другие находили слишком резким, его душой, которую считали слишком пылкой, его голосом, который казался всем громким и страшным и который она находила приятным¹⁷⁹. Когда говорили: «*Как он безобразен*», она возражала: «*Как он прекрасен!*»

Но в этом отношении глаза ее были жертвой обмана со стороны сердца: ее возлюбленный был действительно безобразен, и не без причин. «Дантон был вскормлен коровой: однажды эту корову увидел бык, который бросился на нее и при этом ударил рогами Дантона, разорвав ему губу. Эта рана обезобразила его. Через несколько лет мальчик семи или восьми лет от роду захотел отомстить быку и вступил с ним в борьбу, но удар рогами сломал ему переносицу. В другой раз он думал, что сможет разогнать стадо свиней, преградивших ему дорогу в дом. Он бросился на них с бичом, но поскользнулся и упал. Свиньи, разъярившись, кинулись на него и нанесли ему ужасную рану, наподобие той, от которой пострадал в детстве Буало, по словам Гельвеция, который приписывал этой ране недостаток чувства в творениях поэта. Верно или нет это наблюдение, но оно, во всяком случае, не может быть отнесено к Дантону. Его мужественность была в опасности, но он не потерял ее и сохранил всю свою энергию и смелость. Едва он успел оправиться после этого несчастного случая, как, увлеченный страстью к плаванию, чуть не утонул и схватил жестокую лихорадку, к которой присоединилась оспа вместе с краснухой. Казалось, все соединилось, чтобы обезобразить его¹⁸⁰.

Что же касается до Габриэль Шарпантье, если судить о ней по портрету, хранящемуся в одном семействе в городе Арси-сюр-Об, она была здоровой и свежей девушкой, с виду напоминавшей крестьянку. В коллекции полковника Морена, к несчастью ныне проданной и

разрозненной, была прекрасная гипсовая маска Габриэль, сделанная после ее смерти. Характерными чертами ее, по словам Мишле, были доброта, спокойствие и сила. Отец Шарпантье, видя любовь молодых людей и понимая, что пора позаботиться об устройстве дочери, которой уже исполнилось двадцать пять лет, навел справки, написал в Арси, посоветовался с женою и дал свое согласие. 9 июня 1787 года у нотариуса Дофо был заключен контракт между следующими лицами:

«Жорж Жак Дантон, адвокат бывшего Совета короля, живущий в Париже на улице Тиксерандери¹⁸¹, в приходе Сен-Жан-ан-Грев, сын умершего Жака Дантона, буржуа города Арси-сюр-Об, и госпожи Жанны-Мадлен Камю, его вдовы, в настоящее время состоящей в браке с Жаном Рекорденом, негоциантом вышеупомянутого Арси-сюр-Об, живущей у вышеупомянутого сына своего, здесь присутствующего, и Франсуа-Жермен Шарпантье, контролер ферм, и госпожа Анжелика-Октавия Сольдини¹⁸², супруга его, живущие в Париже, на Школьной набережной, в приходе Сен-Жермен л'Оксерруа свидетельствующие от своего имени за свою совершеннолетнюю дочь, девицу Антуанетту Габриэль Шарпантье, живущую с ними».

Супруги вступали в союз при условии общего владения имуществом. Имущество будущего мужа заключалось в «должности адвоката Совета», приобретенной у господина Шарля Николя Пюаде-Пези. Что же касается девицы, то ее родители давали ей сумму в 18 тысяч ливров, и, чтобы выплатить эту сумму, они в счет ее освобождали вышеупомянутого Дантона от долга в 15 тысяч ливров, которые ссудили ему 19 марта для покупки его должности, и выплачивали ему 3 тысячи ливров звонкой монетой. Кроме того, девица принесла в приданое 2 тысячи ливров, получившихся от ее барышей и скопленных ею¹⁸³.

Из этого мы видим, что новобрачные не были богаты. Правда, Дантон приобрел себе место адвоката в совете короля, благодаря 15 тысячам, которые тесть выдал ему авансом, в счет приданого, и некоторой сумме, великодушно ссуженной ему его земляками. Но место это было доходным лишь пропорционально умению

занимавшего его лица, а судебное крючкотворство не было ни по вкусу, ни по способностям Дантона. Это был человек широкого ума, громадного честолюбия, не созданный для кропотливой работы. Таким образом, средства молодой четы ограничились пятью тысячами ливров, принесенных в приданое Габриэль; причем и они, быть может, пошли на уплату каких-нибудь долгов ее мужа, так как известно, что в начале супружеской жизни они жили за счет отца молодой жены, который, говорят, давал им по несколько луидоров в месяц. Когда средства к жизни окончательно истощались, молодые уезжали на некоторое время в окрестности, в Фонтене близ Венсенна, где у Шарпантье был маленький домик.

За несколько дней до свадьбы, 17 мая 1787 года, — церковный брак состоялся 14 июня в церкви Сен-Жермен л'Оксерруа, — Дантон, собираясь переменить свою холостую квартиру на улице Тиксерандери, снял «квартиру на первом этаже, над антресолями, в доме на улице Генега и дал задаток господину Паскалю, собственнику или арендатору этого дома. Но, заметив, что по соседству были мастерские слесаря и седельного мастера, пользующихся молотом и производящих сильный шум, что крайне неудобно для людей с кабинетными занятиями, он взял обратно у господина Паскаля данный ему задаток»¹⁸⁴.

По всей вероятности, это был лишь предлог. Должно быть, имея в виду брак, казавшийся ему выгодным, Дантон мечтал устроиться в комфортабельном жилище, а Шарпантье-отец, человек деловой и экономный, узнав об этом проекте, наложил на него свое вето. Достоверно лишь то, что первое время после свадьбы Дантон и его жена вынуждены были жить у ее отца. Лишь спустя несколько лет молодые супруги поселились в номере 1 *Торгового двора*, построенного в 1776 году на месте, где раньше было здание для игры в мяч. В это время разразилась революция, должность адвоката в совете сделалась платной, и Дантон, владея некоторой суммой денег, мог привести в исполнение свою мечту: *зажить собственным домом*.

Соседями его этажом ниже были супруги Демулен¹⁸⁵. Обе молодые четы охотно бывали друг у друга. Дантон любил семейную жизнь, ему нравилось проводить вечера в обществе близких друзей, он нежно любил свою молодую жену. Очень часто в гостях у него бывали ее почтенная мать и одна из сестер, к которой он чувствовал горячую привязанность. Невестка ее, известная артистка госпожа Виктуар Шарпантье, также приходила иногда провести вечер в счастливом и тесном семейном кругу в *Торговом дворе*. Габриэль в конце 1789 года забеременела и разрешилась сыном, которого назвали Антуаном. Крестины его состоялись в церкви Сен-Сюльпис 18 июня 1790 года. Жизнь супругов Дантон была самая спокойная и буржуазная; преданный и любящий муж; добрая и кроткая жена, отличавшаяся глубокой и искренней набожностью, — это был единственный пункт, в котором супруги не сходились. Впрочем, скептик-муж ограничивался лишь легкими насмешками над верованиями, которых не разделял, и искупал их полною веротерпимостью, провожая жену до дверей церкви.

Какая перемена совершилась в душе Дантона, когда он почувствовал себя отцом? Проникнуть в это нелегко. Тот, кто судит без предвзятых мнений, основываясь лишь на фактах, смею сказать даже, лишь на мелких фактах, так как мы должны ограничиться в этой книге лишь собиранием подробностей, которыми пренебрегали великие историки, — тот усматривает в жизни Дантона три совершенно различных периода.

В первый период он является неутомимым, непокорным молодым человеком, полным бурных жизненных сил, немного авантюристом, сорвиголовкой, бросающимся в жизнь как человек, которому ничего не жаль и который рассчитывает лишь на случай, чтобы устроить свою судьбу. Лишь только начинает сказываться влияние Габриэль Шарпантье, лишь только эта прямая, здравомыслящая и мужественная женщина вносит в их жизнь спокойствие, предусмотрительность, экономию и некоторое благосостояние, Дантон превращается в доброго буржуа, у которого в погребке всегда есть вино, который угощает друзей и мечтает округлить свое со-

стояние. Это второе превращение. Позднее, когда революция разнуздала все страсти, а Габриэль умерла, Дантон дал свободу своей пылкой натуре, будто ему захотелось жадно выпить чашу наслаждений, на которые, как казалось ему, он имеет право. Знающий, что ему не вечно придется пировать, он словно старается съесть двойную порцию. Это третий период, благодаря которому он заслужил от Вадье прозвище «*Фаршированного палтуса*».

Но мы еще не дошли до этого. В 1790 году революция еще только начиналась и Дантон не подозревал о роли, которую ему суждено было сыграть. Ему нравилось бывать в Арси, откуда он несколько лет назад уехал без денег и без положения; по-видимому, ему было приятно показать своим соотечественникам, что он сумел устроиться в жизни. Может быть, он был недалек от мысли сделаться главным лицом в своей провинции и возбуждать зависть у добрых буржуа Арси, помнящих еще, как он ребенком резвился на улицах их города. Конечно, это невинное честолюбие, и если бы его всегда воодушевляло оно одно!

В наше время есть школа — я чуть было не сказал «вероучение», — избравшая своей специальностью безграничное восхищение Дантоном*. Эти фанатики, в искренности которых мы, впрочем, несколько не сомневаемся, возмутятся и скажут, что подобный человек не может питать столь низменных чувств, что его великая душа пламенела лишь любовью к отечеству... теории эти известны, и они не могут опровергнуть того факта, что в 1791 году Дантон так мало предвидел роль, которую ему предназначало будущее, что купил в Арси большое имение, продававшееся г-ном Пио де Курсе-лем, с очевидной целью поселиться там.

Была громадная разница между скромным жилищем, где родился Дантон¹⁸⁶, и тем комфортабельным домом, почти замком, владельцем которого он становился. Построенный на площади против моста, на берегу Об, он представлял собой, как представляет и те-

* Имеется в виду школа историков, крупнейшим представителем которой был Альфонс Олар (1849—1928).

перь*, так как он не изменился, длинное здание довольно правильной постройки, состоящее из нижнего и первого этажей. Со стороны садов службы и уголья его образуют большой двор, откуда виден парк, занимающий площадь около 11 гектаров между улицей Шалон, переулком Растений, дорогой Иль и переулком Кви-танций.

Ах, этот парк! Он был предметом постоянных забот Дантона, который только о том и думал, как бы округлить его площадь, прикупал смежные владения, обменивал полосы земли. Такой, каким он является теперь, окруженный живою изгородью с проделанными в ней двумя воротами — одними с улицы Шалон, другими с дороги Иль, — он походит скорее на двор фермы, чем на место отдыха владельца, но легко догадаться, что имение это осталось недоделанным и что Дантон не успел отделать его по своему вкусу; ручеек Плевар пересекает его поперек, образуя изгибы, напоминающие прелестные речки Трианона; в том виде, в котором он находится теперь, он представляет мечту помещика, любителя довольства и покоя, сон, который внезапно прервали¹⁸⁷.

Дантон любил это имение, где рассчитывал провести свою старость; он часто ездил туда, принимал там своих соотечественников и угощал их по-барски в большой столовой, почти не изменившейся за сто прошедших лет. В Арси сохранилось предание об одном из таких обедов, происшедшем в первых числах ноября 1793 года. В конце обеда в столовую вошел сосед и принес последние новости из Парижа, только что привезенные курьером: жирондисты мертвы...** Дантон, красный от гнева, вскочил из-за стола и большими шагами стал ходить по комнате, восклицая: «Негодяи! Так мы все погибнем! Они обезглавят Республику!» В первом этаже показывают спальню с широким альковом, где

* Дом был разрушен в результате бомбардировок во время Второй мировой войны.

** Вожди Жиронды, выведенные из Конвента и арестованные в результате народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 года, были казнены 31 октября по приговору Революционного трибунала.

под резьбой в стиле Людовика XV стояли парные кровати Дантона и Габриэль. Из окон этой комнаты можно окинуть взором весь сад; суровому трибуну нравился вид полей и лесов. Следует обратить внимание на эти контрасты в его характере: он любил деревню той любовью, которую чувствуют к ней люди, много страдавшие, люди, жизнь которых в Париже была тяжелой и нервной.

Соседом его в Арси был один из сотоварищей по Конвенту, о котором стоит сказать несколько слов. Дом, напротив моста, образующий угол с домом Дантона, принадлежал сто лет назад члену Конвента Куртуа. Этот последний, простой фабрикант сапог, также мечтал о широкой привольной жизни: но более ловкий, чем Дантон, он достиг исполнения своих мечтаний. Уехав из Арси в качестве члена Законодательного собрания, он затем сделался членом Конвента; получив лишь некоторое классическое образование, давшее ему большой запас цитат из древних авторов, он держался в тени Дантона до тех пор, пока ему казалось выгодной близость этого человека. Затем он скромно стушевался до термидора и, как только миновала опасность, стал разыгрывать из себя спасителя отечества. Известно, что Конвент поручил ему рассмотреть бумаги, найденные у Робеспьера. Государственный переворот 18 брюмера не имел более пылкого сторонника, чем он. Он вошел в состав трибуната, но обвинение во взятках разлучило его с коллегами; он ушел без сожаления, так как политика обогатила его. Он покинул Париж и поселился не в Арси, а в Рамблюзене, маленькой деревушке в департаменте Мёз.

Крестьяне Рамблюзена не были хорошего мнения о своем новом господине: у него была роскошная обстановка, которая, казалось, прямо взята из мебельных хранилищ Тюильри, и книги в богатых переплетах, большая часть которых была украшена инициалами и гербами, не принадлежащими роду Куртуа. Об этом перешептывались все время, пока существовала Империя: об этом громко заговорили, когда наступила Реставрация. Но Куртуа оставался совершенно спокоен: он был уверен, что все козыри у него в руках. Лишь когда был

обнародован закон 12 января 1816 года об изгнании цареубийц, подписавших обвинительный акт*, бывший взяточник, почувствовав себя в опасности, осторожно довел до сведения своего *августейшего повелителя*, что во время рассмотрения бумаг Робеспьера он счел своим долгом вынуть из папок, где они лежали, *документы, представляющие величайший интерес для королевской семьи*. И он предлагал уступить эти документы в обмен на помилование. Ответ властей был такой, как и следовало ожидать: в Рамблюзен командировали отряд жандармов, оцепили дом и завладели бумагами. Бывший член Конвента не хвастался понапрасну; действительно, у него были найдены собственноручное духовное завещание Марии Антуанетты, письмо королевы к ее дочери, различные реликвии, принадлежавшие дофину, волосы королевы, белье и платье, бывшие с ней в тюрьме, и т. д. Все это было отослано в Париж; затем Куртуа вручили паспорт для отъезда в Бельгию. Таким образом завещание Марии Антуанетты, в течение долгих лет считавшееся потерянными, попало в королевский архив¹⁸⁸.

Если мы рассказали эту историю, которая может показаться не относящейся к делу, то лишь потому, что контраст между двумя соседями поразителен. Куртуа и Дантон, начавшие одинаково, пошли по путям столь различным, и судьба одного из них так непохожа на судьбу другого. Сравнение, надо признаться, в пользу Дантона, и жители Арси не ошиблись в этом: воспоминания, сохранившиеся у них об этих двух членах Конвента, совершенно различны. Это своего рода инстинкт провинции; он образуется из тысячи терпеливых наблюдений, слухов, предположений, медленных и осторожных выводов и характеризует Куртуа как политического авантюриста, все искусство которого состоит из умения ловить рыбу в мутной воде. Заговорите в Арси о Куртуа, и вам осторожно дадут понять, что его земляки отвергли его или, в лучшем случае, не заботятся о его памяти. Напротив, Дантону прощается

* Речь идет о членах Конвента, подписавших 16—17 января 1793 года смертный приговор Людовику XVI.

все. Ни 10 августа, ни сентябрьские события, ни смерть короля* не являются помехами для чувства восхищения, с которым относятся к нему его земляки. Но следует признать, что политика не играет в этом никакой роли. Жители Арси в 1792 году видели в Дантоне своего соотечественника, сделавшегося знаменитостью и оставшегося добрым малым, не гордым, не пренебрежительным, с удовольствием возвращающимся в свой маленький город, где он охотно здоровался с людьми, считавшими за честь пожать ему руку. Следующее поколение знало и уважало сыновей члена Конвента; оно оценило их скромность, сдержанность, услуги, оказанные ими городу; этот культ коснулся и Габриэль, оставившей о себе в Арси память как о необычайно кроткой и доброй женщине, воспоминания о которой живы до сих пор. В высшей степени важно отметить это, так как это указывает, каким был Дантон в частной жизни: добрым буржуа, простым, любезным и откровенным товарищем. Именно этому человеку город Арси и воздвиг памятник, а вовсе не бурному политикану, которого он совсем не знал: такова провинция.

Но настало время, когда счастье это, созданное любовью и возросшее в среде умеренности, должно было рухнуть вместе со всем старым миром под напором бурь революции. Дантон, бывший президентом клуба Кордельеров, Дантон, в дни 14 июля и 5—6 октября появлявшийся всюду и возбуждавший жестами и речами народ¹⁸⁹, Дантон, слывший самым опасным врагом партии двора, которого парижские избиратели выбрали товарищем прокурора Коммуны — этот Дантон не мог не интересоваться событиями, разыгравшимися перед 10 августа. Парижский муниципалитет взял на себя руководство восстанием; Дантон... но в эти страшные дни мы не за ним будем следить, а за бедной, полной нервного ужаса женщиной, которая со слезами на глазах, прижимая к груди своего ребенка, прислушивалась к реву торжествующего бунта, раздавав-

* Дантон считал избиения роялистов в тюрьмах справедливыми и призывал не препятствовать им. Он также голосовал за смерть короля, хотя, по некоторым данным, тайно готовил его бегство.

шесюся на улицах. Письмо Люсиль Демулен позволяет нам час за часом проследить ужасы, пережитые Габриэль Дантон¹⁹⁰.

«8 августа¹⁹¹, — пишет Люсиль, — когда я вернулась из деревни, умы уже сильно волновались. Хотели убить Робеспьера. 9-го у меня обедали марсельцы; было довольно весело. После обеда мы все были у Дантона. Мать плакала, она была донельзя грустна, у ребенка ее было испуганное лицо; Дантон имел решительный вид. Они боялись, как бы чего-нибудь не произошло. Что же касается меня, то я смеялась, как безумная. “Можно ли так смеяться!” — говорила мне госпожа Дантон».

Раздались звуки набата; толпа под окнами кричит: *«Да здравствует нация!»* Все спешат вооружиться, и Демулен появляется с ружьем. Тогда бедная Люсиль начинает плакать, а Камилл успокаивает ее, говоря, что он не будет отходить от Дантона. Этот последний, на минуту прилегший, отправляется, наконец, ночью в ратушу. «Набат Кордельеров все звучал и звучал. Люсиль одна, закрыв лицо платком, стояла на коленях на подоконнике, заливаясь слезами», и слушала звуки этого рокового колокола. Госпожа Дантон была здесь же, рядом с ней; она чувствовала себя подавленной и волновалась¹⁹². Временами ночью приходили послания и сообщали бедным женщинам то утешительные, то тревожные вести. Когда настал день, госпожой Дантон овладела лихорадочная жажда движения и она поднялась к себе, потом, не выдержав, вернулась снова к своей подруге. Люсиль велела поставить в салоне кровать для Габриэль, и обе женщины, которые не в состоянии были заснуть, пытались на заре завтракать, читать, забытья.

Вдруг Люсиль, прислушиваясь, сказала: «...стреляют из пушек!» Госпожа Дантон прислушалась тоже, услышала, побледнела, и, не владея больше собою, упала в обморок. «Я сама раздела ее, — говорит Люсиль, — и едва не свалилась тут же, но сознание, что ей необходимо оказать помощь, придало мне силы. Она пришла в себя».

Вот прошла соседка с криком, что виною всему этому — Камилл. Затем захлопнула дверь перед носом Лю-

силь, когда обе женщины хотели пройти через лавку, чтобы выйти из Торгового двора. Наконец вернулся Камилл; но из предосторожности супруги Демулен ночевали 11-го на улице Турнон, у своего друга Робера. Самые противоречивые слухи носились в городе. «Во дворце разбивают зеркала, — пишет Люсиль, — нам принесли губки и щетки, взятые с туалетного стола королевы... На другой день, 12-го, вернувшись домой, я узнала, что Дантон сделан министром»¹⁹³.

Эта удивительная новость оказалась верной. Маленький адвокат, которого почтальон города Арси даром довез до Парижа, молодой человек без будущего, за которого содержатель кафе Шарпантье боялся выдать дочь, переселился 14 августа 1792 года в старинный и пышный дворец канцлера Франции. С высоты своих балконов он мог видеть под окнами обломки статуи великого короля, валяющиеся на мостовой Вандомской площади. Конечно, ему казалось, что его пребывание у власти даст величайшее счастье Франции!

А Габриэль? Что она думала, устраиваясь в пышном аристократическом жилище Миромения и Мопу? Какие кошмары овладели этой молодой мешаночкой, перенесенной от кассы кафе на Школьной набережной под украшенный белым султаном шелковый балдахин, где раньше лежали герцогини? Известно лишь, что эта головокружительная удача погубила семейное счастье молодой четы. Дантоном овладела жажда наслаждений, доступных людям высокого положения. Раньше он любил свою жену; сделавшись министром, он стал любить женщин. Это заметили и постарались этим воспользоваться. Мишле уверяет, что партия Орлеанов попыталась околдовать его, поручив это сделать интимной подруге принца, красавице госпоже де Бюффон... Бедная Габриэль не пыталась вступать в бесполезную борьбу, она молча плакала; когда спустя шесть недель после 10 августа она вернулась в печальную квартиру в Торговом дворе, она уже умирала. В воспоминаниях жителей города Арси, куда она в разное время ненадолго приезжала, она обрисовывается как покорная, набожная женщина, от природы меланхоличная и застенчивая. 2 февраля 1792 года у нее ро-

дился второй сын, Франсуа Жорж, но она не могла сама кормить его и отправила к кормилице в Иль-Адан. Волнения этого бурного года, внезапное возвышение и страшная ответственность за сентябрьские убийства, павшая на любимого ею человека, — все это разбило ее душу, созданную для тихой жизни и мирных семейных радостей. Теперь она проводила свои дни в одиночестве, вечно встревоженная какой-нибудь новой боязнью, новым подозрением. Муж, прежде такой верный и внимательный, теперь лишь изредка заглядывал домой; пробыв шесть недель министром, он был избран депутатом в Конвент и кинулся в водоворот политической борьбы, отдав ей свою страсть и жизнь. Какой печальной и безнадежной казалась теперь молодой женщине большая квартира в Торговом дворе, в которой они так радостно устраивались несколько лет назад! Каким опустевшим казался альков из желтой бумажной материи, где стояли две парных кровати, из которых одна почти всегда оставалась незанятой! Дантон проводил ночи в клубе, отсутствовал по нескольку дней, уезжая из Парижа в командировки... Она, как прежде, любила его; а у него были теперь дела поважнее! Он уехал в Бельгию; она проводила его со слезами; затем, оставшись одна, покинутая ради неблагодарной и жестокой соперницы, имя которой — политика, она умерла!

Как велика драма революции, и сколько драм открываешь еще, когда всматриваешься в великую тень, брошенную ей на историю!

Спустя три месяца Дантон женился на другой. Несмотря на его опытность и пресыщение, он полюбил эту другую как двадцатилетний юноша. Без сомнения, чудо это совершило воспоминание о набожной Габриэль; прощаясь с ним навеки, она почти обручила его с нежной и хорошенькой пятнадцатилетней Луизой Жели, дочь служашего в бюро одного из министерств. Луиза боялась Дантона; воспитанная в религиозном духе и в социальных предрассудках старинной буржуазии, она с ужасом относилась к революции и революционерам. Она сделала все, чтобы оттолкнуть своего страшного жениха... Она потребовала от него, чтобы

он исповедовался, чтобы он преклонил колени перед католическим священником, а не *присягнувшим*^{*}, как говорили тогда. Это было ценою ее руки.

• • •

В середине июня 1793 года человек, небрежно одетый в красный суконный фрак, с голой шеей и развязанным галстуком, спускавшимся ниже, чем его жабо, в сапогах с отворотами, постучал в двери запертого наглухо дома на одной из пустынейших улиц окрестностей Сен-Жермен-де-Пре. Никто не открывал ему; он постучал снова, и тогда послышались на лестнице осторожные шаги, и старая женщина приоткрыла дверь.

«Гражданин аббат дома?» — спросил пришедший.

«Но, гражданин, в этом доме нет никакого аббата».

Человек пожал плечами и, толкнув двери, вошел в коридор. «Аббат ждет меня, — сказал он, — мне нужно его видеть; это спешно». — «Значит, вы пришли на исповедь? Это другое дело; извините меня, видите ли, приходится остерегаться... Все боишься нашествия этих чертей из трибунала».

«Хорошо, довольно, — прервал человек, — проводите меня к господину аббату». Старая служанка пошла впереди, поднялась в четвертый этаж и постучала в маленькую дверь: в комнате, куда она ввела неизвестного, священник в рясе ходил большими шагами, читая свой молитвенник. Он остановился, увидев вошедшего, и с минуту смотрел на него. С первого взгляда он составил свое мнение о нем: волосы незнакомца были растрепаны, хотя на них виднелись остатки прически и помады. «Его шевелюра походила на гриву; на лице виднелись следы оспы, на лбу виднелась гневная складка, но линия рта изобличала доброго человека. У него были толстые губы, зубы крупные, сильные руки, как у носильщика, сверкающие глаза». Священник узнал его и побледнел: это был Дантон.

«Господин аббат, — сказал он несколько смущенно, —

* Священники, не присягнувшие конституции, были объявлены вне закона (см. выше главу об избении священников в сентябре 1792 года).

я пришел исповедоваться: не будете ли вы так добры выслушать меня и дать отпущение моих грехов?»

«Встаньте на колени, сын мой», — последовал ответ. Пока священник закрывал свой молитвенник и усаживался в соломенное кресло, Дантон опустился на колени на еловый аналой и, сложив руки, склонил свою большую, косматую голову перед висящим на стене распятием.

Из всех удивительных картин, завещанных революцией потомству, эта сцена, без сомнения, является одной из самых неожиданных и в то же время величественных. Этот аббат по фамилии де Керавенан, ставший впоследствии священником церкви Сен-Жермен-де-Пре, не дал присяги, требуемой конституцией. В течение восьми месяцев он скрывался в Париже, быть узанным одним из членов правительства означало для него верную смерть, и вот теперь к нему пришел человек, создавший кровавый Революционный трибунал, человек, своими сильными руками вырвавший с корнем древнюю католическую монархию... И перед ним, бедным священником, затравленным, как преступное существо, стоящим вне общества, вне закона, этот человек преклонил колени и каялся в своих грехах!

Аббат де Керавенан поднял глаза к небу, призывая божественное милосердие, и склонясь, слушал, как этот мощный голос, заставивший трепетать старый мир, попытался стать смиренным и прошептал:

«Отец мой, я обвиняю себя...»

Здесь история должна замолкнуть — тайна этой странной и торжественной беседы, конечно, не была нарушена. Когда в первые годы XIX века люди видели, как по улицам, окружающим церковь Сен-Жермен-де-Пре, проходил старый седой священник, задумчивый и молчаливый, они говорили друг другу, узнав аббата де Керавенана: «Он исповедовал Дантона». Но ничего больше никто об этом не знал. Тем не менее в факте этом нельзя сомневаться.

Луиза Жели, выросшая в буржуазной семье старого закала, была воспитана в строгости. Мы уже говорили, что к Дантону она чувствовала гораздо более страха и почтения, чем любви. Тщетно он старался спрятать

свои зубы и укоротить свои когти — она не могла испытывать доверия к этому чудовищу. Семья ее думала, что ставит жениху непреодолимое препятствие, требуя, чтобы он подчинился обрядам католической церкви. Но Дантон любил; он поспешил к указанному ему непокорному священнику; свадебный обряд был совершен в мансарде перед столом, обращенным в престол... Точно какой-нибудь церковный обряд в религиозной Бретани во времена Вандейских войн. И это была свадьба Дантона!

О политической роли Дантона в 1793 году уже сказано все в других книгах, но мы льстим себе надеждой, что совершенно новым способом, заставляя вещи рассказывать историю людей, мы можем добыть неизвестные доныне данные о его психологии. Известно, чем объясняли второй брак Дантона. Говорили, что он безумно влюбился в шестнадцатилетнюю девушку, обратился в смиренного агнца, пожертвовал всем за обладание ею, желая быть счастливым хотя бы несколько месяцев, так как знал, что должен умереть.

А вот город Арси рисует нам Дантона совершенно иначе. Мы видели, что там он думал о будущем, округлял свое имение, куда рассчитывал со временем удалиться, строил планы дальнейшей своей жизни, мечтая уехать к себе и жить спокойно и в довольстве вместе с женой и детьми. Смерть Габриэль внезапно разрушила эти планы, и, без сомнения, Дантон поддался порыву чувственного легкомыслия и думал развеять свое горе, предаваясь бурным страстям. Но очень скоро таившийся в нем добрый буржуа почувствовал себя несчастным среди этой разгульной жизни, полной грубых удовольствий. Женившись на Луизе Жели, дочери эскутора, с которым он познакомился в парламенте и которого затем устроил на выгодное место в морском министерстве, Дантон думал вернуть свою прерванную мечту. Он устал от революции, ему хотелось устроить собственную судьбу. Говорили, что, вступая в союз с этой шестнадцатилетней девочкой, он имел одну цель — весело провести последние дни своей жизни. Напротив, он хотел снова начать жить, и совершенно иначе, чем жил до сих пор.

Сейчас он снова начинает мечтать о своем милом Арси. Его самым горячим желанием стало как можно скорее уехать туда, увезти молодую жену и обоих сыновей и заставить всех забыть о себе, а главное, самому забыть... В ноябре 1793 года он побывал в Арси и прикупил к своему имению небольшой лесок¹⁹⁴. В декабре того же года он снова ездил туда: на этот раз он доставил своим землякам дерево, которое те хотели посадить как символ свободы на одной из городских площадей. Протокол этой церемонии, хотя и составленный в наивных выражениях, очень интересен. Это картинка провинциальной жизни во времена террора, заслуживающая быть сохраненной¹⁹⁵.

«Тридцатого фримера II года, в бюро не было занятий по поводу праздника декады; день этот был указан в протоколе от 24 фримера, вследствие постановления собрания граждан, состоявшегося 20 фримера, на котором было решено, что дерево Свободы будет посажено в этот именно день. Дерево находилось у дома гражданина Дантона, доставившего его. Все граждане, служившие в национальной гвардии, вместе с прочими гражданами и гражданками направились в следующем порядке.

С площади Оружия¹⁹⁶ гвардия двинулась двумя колоннами, неся знамена; во главе ее шел командир, а перед ней — барабанщики. Чиновники муниципалитета шли за правой колонной гвардии, члены трибунала — за левой, служащие администрации отдела шли посредине, затем следовали члены комитета надзора. Шествие замыкалось жандармами и бесчисленным множеством граждан, гражданок и детей, друзей свободы.

Посредине этих двух колонн, построенных, как сказано выше, восемь санкюлотов, добрых патриотов, торжественно несли бюсты Брута, Лепелетье, Марата и Шалье на четырех специально для этой цели сделанных носилках. Рядом с этими бюстами и за ними следовали молодые гражданки в белых платьях, опоясанные трехцветными кушаками. Они несли шесты, обвитые плющом, на вершине которых находились бумажные ленты с надписями: *Равенство, Свобода, Братство, Смерть тиранам, Мир патриотам*. Бара-

бан бил обычный марш, а когда он переставал бить, гражданки, сопровождавшие вышеупомянутые бюсты, пели куплеты из “Гимна марсельцев”. Затем снова бил барабан и шествие продолжалось, пока все участники церемонии не подошли к месту, где находилось дерево, которое должны были посадить.

Приблизившись к этому месту, молодые гражданки спели куплет “*Священная любовь к отечеству*”, после чего все присутствующее спели и повторили припев “*К оружию, граждане!*”. Затем многие добрые патриоты и санкюлоты, украшенные трехцветными лентами, понесли впереди колонн дерево, предназначенное для посадки. Сопровождая его, все граждане и гражданки без устали пели, а барабан отбивал “Марш марсельцев”, пока дерево не донесли до места, где его следовало посадить. Когда подошли к этому месту, были сделаны различные распоряжения относительно того, как сажать его и закапывать в разрыхленную землю, принесенную в яму в шесть футов глубиною и девять футов в поперечнике, вырытую согласно постановлению от 24 фримера. Присутствующие граждане и гражданки спели несколько подходящих к случаю куплетов, и прежде чем водрузили дерево, когда все уже было готово к посадке, гражданин Виншон¹⁹⁷ произнес речь, которую ему надлежало сказать, чтобы внушить народу, что он должен предпочитать гражданские праздники праздникам старого культа. Эти последние он обрисовал как “праздники заблуждения и суеверия”; он объяснил, насколько прекраснее праздники, подобные нашему, являющиеся торжеством истины и разума. Речь гражданина Виншона вызвала аплодисменты и сопровождалась криками: “Да здравствует Республика!”

При помощи отданных распоряжений дерево было установлено так скоро, что всем присутствующим показалось, что быстрота эта — дело самой природы, а не искусства людей. Высота дерева до верхушки была по крайней мере 40 футов, толщина приблизительно полтора фута, и его было так трудно посадить, что казалось, быстроте этого дела способствовала сама природа, а не меры, принятые для совершения его. Пока корни его зарывали в землю, было пропето бесчислен-

ное множество куплетов, один революционнее другого. И стройность, с которой пелись эти песни, была так велика, что можно было подумать, что все певшие их были настоящими музыкантами и музыкантшами. Когда дерево было посажено, вся гвардия водрузила вокруг него свое оружие, а знаменосцы — знамена, и вся семья патриотов, друзей свободы и равенства водила вокруг него хоровод с пением куплетов, дышавших самым чистым патриотизмом.

Эта церемония, длившаяся, по крайней мере, три-четыре часа, казалось, продолжалась всего одну минуту; радость сияла на всех лицах, и все дышало этим воздухом свободы, невинным удовольствием, истинным счастьем неиспорченной природы. Все граждане и гражданки затем обменялись в знак братства патриотическим лобзанием, и среди пушечных выстрелов отовсюду понеслись крики: “Да здравствует Республика!”, “Да здравствует Гора!” Потом бюсты Брута, Марата, Лепелетье и Шалье были торжественно отнесены в сопровождении всех участников и участниц церемонии в то помещение, где они обыкновенно хранятся, и во время этих проводов все гражданки и граждане пели песни. Тем сожалением, с каким они оставили бюсты в месте их сохранения, они доказали глубину горя, которое почувствовали при смерти оригиналов этих бюстов.

Затем чиновники муниципалитета выразили участникам и участницам церемонии свое удовлетворение по поводу чистоты нравов, выказанной ими во время этого празднества, и пригласили их на бал, устроенный в бывшей церкви Кордельеров¹⁹⁸, чтобы весело провести конец дня декады. Все без исключения граждане и гражданки танцевали там до полуночи, когда почувствовали, что пора расходиться. Праздник был возведен четырьмя пушечными выстрелами, его сопровождали и закончили еще двенадцать таких же выстрелов. Во время этого празднества были предложены различные угощения и за всеми столами слышалось пение гимнов и песен, соответствующих обстоятельствам. Все празднество хорошо началось и хорошо прошло, и то, каким образом отпраздновали эту первую де-

каду, предвещает, что в скором времени коммуна Арси будет на высоте положения и дух заблуждений и суеверия уступит место духу разума и истины.

Все это произошло и было записано в вышеуказанные год и день».

Ах, если бы они, эти граждане Арси, могли знать, что их Дантон в эти дни был у исповеди!.. Впрочем, может быть, они и догадывались об этом: громадное большинство французов никогда не относилось серьезно к официальным и вынужденным выступлениям против «мрака обскурантизма»: известно было, что это делается для формы, и этому не придавали особого значения.

Вероятно, в сентябре 1793 года Дантон в последний раз приезжал в Арси. Он вернулся в Париж для роковой битвы. Там, в его квартире на Торговом дворе, застали мы его в начале 1794 года. Пятнадцать лет назад на улице Медицинской школы прохожие могли видеть высокий дом строгого вида с узкими окнами, створчатыми ставнями и широким крыльцом под тяжелой аркой. Жители квартала хорошо знали его и называли «домом Дантона». Поблизости находилась арка с треугольным фронтоном, а чуть дальше бывший фонтан Кордельеров.

На углу улицы Павлина стоял старый дом с башенкой, за ним — дом Марата и, наконец, у самой школы, — дом, в котором жил сапожник Симон. Любопытно было бы взглянуть на этот революционный уголок — неправильный, разваливающийся, покосившийся, с окнами, заплетенными вьюнком, с выцветшей краской фасадов, с железными балконами на каждом этаже; на крышах виднелось скопище громадных дымовых труб и над ними — целый лес флюгеров.

В наши дни ничего этого уже не существует: живописные старинные дома сменились чем-то вроде площади, покрытой гладким асфальтом и обсаженной классическими муниципальными каштанами. По-видимому, у строительного ведомства были для этого свои таинственные причины. Затем, в один прекрасный день, архитектор провел линии, начертил план и сказал: «Это будет здесь». И было решено на этой самой

площади воздвигнуть памятник Дантону — должно быть, чтобы искупить разрушение его дома.

Я предпочел бы все-таки, чтобы остался стоять его дом. У старых зданий есть своего рода душа, состоящая из счастья, пережитого их жильцами, из постигших их горестей и из тысячи всевозможных мелочей, навеки умерших и все же живых. Самые интимные подробности имеют для нас особую прелесть: стершиеся ступени лестницы, заржавленный гвоздь, вбитый в деревянную перегородку, ручка двери, которой касалось столько давно уже несуществующих рук.

Когда в 1886 году в старой улице Кордельеров проделали широкую брешь бульвара Сен-Жермен, многие парижане в качестве паломников или любопытных посетили квартиру, где раньше жил Дантон. Со всех сторон квартал разрушался; в Торговом дворе, в наше время уменьшенном наполовину, прежде всего показывали друг другу низкую лавку, где помещалась типография Марата, и узкий навес, под которым испытывали на баранах пригодность гильотины¹⁹⁹. Затем поднимались к Дантону; возвышение перед домом служило входом в Торговый двор. Налево шла лестница, довольно широкая, но темная. Миновав антресоли, проходили на второй этаж к деревянной двустворчатой двери, выкрашенной в коричневую краску: это было здесь.

За сто лет здесь не изменилось ничего, кроме, может быть, цвета обоев. Несмотря на то, что все комнаты были пусты, список мебели, найденный доктором Робине, позволял до мельчайших деталей представить себе, в какой обстановке жил пламенный трибун. Прежде всего шла довольно большая прихожая, меблировку которой составляли два ореховых шкафа, маленький столик-бюро и шифоньерка красного дерева; в темном углу была скрыта корзина для белья. Следовавший за прихожей большой салон выходил на улицу двумя окнами, на которых висели шторы из бумажной материи. Стены его были покрыты наклеенными на холст обоями в арабесках. Две высокие резные двери, помещавшиеся напротив окон, и два больших зеркала — одно на камине, другое в простенке между окнами, на широкой

консоли с мраморным верхом и бронзовыми ножками, придавали этой комнате довольно торжественный вид. Меблирована она была в изящном стиле той эпохи. В ней стояли зеленый атласный диван с подушками и шесть таких же кресел, обыкновенно покрытых полотняными чехлами, десять стульев с соломенными сиденьями и спинками в форме лиры, а также стол орехового дерева, помещански уставленный кофейным сервизом из шести фарфоровых чашек и блюдца, разрисованных цветами. В маленьком соседнем салоне шесть кресел, крытых утрехтским красным бархатом, стояли вокруг стола красного дерева; перед письменным столиком-*гробницей*, украшенным мраморной доской, располагалось большое кресло, сиденье которого представляло собой зеленую кожаную подушку. За этим салоном шла спальня, где стояли комод, шифоньер и клавесин красного дерева, туалетное зеркало в раме из эбенового дерева, шесть стульев и кресло с соломенными сиденьями. В алькове с занавесками из желтой бумажной материи стояли две низкие кровати с колонками во вкусе Людовика XVI. Рядом с этим альковым была дверь в уборную.

Три другие комнаты выходили окнами на Торговый двор. Одна из них, столовая, имела окно, задрапированное бумажной занавеской; в стенных шкафах ее стояли три дюжины фаянсовых тарелок, дюжина стаканов и рюмок. Следующая комната, судя по инвентарю, была кабинетом Дантона; в ней помещались «стол, крытый зеленым сукном, другой маленький столик, на четырех ножках, большое бюро из штучного дерева с бронзой, в три ящика, два бронзовых подсвечника, восемь деревянных полок, на которых лежали папки с газетами, два кресла, крытых белым атласом, и два стула».

Чтобы дополнить это описание комфортабельного жилища Дантона — разве не интересно все, что может помочь восстановить психологию героев революции, чьи идеи потрясли мир? — прибавим еще, что прислуга его состояла в 1794 году из двух служанок: одну из них звали Катрин Мотен, а другую — Мари Фужеро. Хорошо обставленная кухня выходила на маленький темный двор; различные чуланы и кладовые дополняли

удобство его квартиры; в погребе хранился довольно большой запас красного и белого вина в бочонках и в бутылках, а в конюшнях Отеля де Тур на улице Павлина стояли его кабриолет, конь и кобыла.

Вот каково было жилище Дантона — по крайней мере, таким его рисует наше воображение с помощью списка мебели. Но нам хочется большего: чтобы дополнить нашу скромную галерею революции, нам следовало бы прибавить к ней план этой квартиры на Торговом дворе, где тот, кого, быть может, несправедливо называли «сентябрьским героем»*, жил, любил и страдал...

Задача эта не из легких: дом, сломанный семнадцать лет назад, принадлежал во время экспроприации рудоподам, наследникам Жирардо²⁰⁰. Представителем их был не нотариус, а ходатай по делам, живший на улице Сен-Мартен и умерший несколько лет назад. Так что невозможно отыскать прежние названия этого владения и планы, относящиеся к нему. Передо мной встала непростая проблема: начертить внутреннее расположение несуществующего дома при полном отсутствии документов, служащих обыкновенно для таких изысканий.

В надежде на помощь я обратился в полицию. Я обошел окрестности Торгового двора, заходил в старые дома, расспрашивал швейцаров, будил воспоминания старожилов этого квартала. Таким способом я узнал, что во время экспроприации первый этаж дома Жирардо был разделен на две квартиры. Одна из них сдавалась внаем, а другая составляла часть гостиницы Молинье, занимавшей довольно большое помещение в этом обширном владении; табльдот ее пользовался неплохой репутацией среди студентов. Мне даже любезно указали на древнюю старушку, госпожу***, занимавшую в пансионе Молинье должность прислуги; она могла бы дать драгоценные указания относительно расположения дома.

Мне возразят, что это не относится к истории. Согласен. Но, помимо того, что я считаю своим прямым

* То есть инициатором убийств в парижских тюрьмах в сентябре 1793 года.

долгом объяснить моим читателям ценность топографических документов, представляемых мной, мне кажется, что искатель, повествующий о своей удаче, заслуживает такого же внимания, как охотник, рассказывающий о своих подвигах, или альпинист, описывающий свои восхождения.

Итак, я пустился на поиски последних жильцов квартиры Дантона. Должно быть, есть свой бог у искателей, как он есть у пьяниц, потому что мои розыски увенчались полным успехом. До 1876 года во всех комнатах, составлявших большую квартиру члена Конвента, жил директор журнала «Реформа» г-н Делаге. Другую половину первого этажа во времена Империи занимал в качестве постояльца гостиницы Молинье г-н Жуванель, бывший депутат. Обращаясь к их воспоминаниям, направляя их внимание на ту или другую подробность описи, составленной после смерти Габриэль, мне удалось набросать по возможности точный план. По мере того как они рассказывали все больше, я мысленно восстанавливал этот забытый старый дом. Я видел перед собой широкую каменную лестницу, прихожую с окном, выходящим на Торговый двор, оба салона, спальню, восьмиугольную столовую и большой рабочий кабинет²⁰¹, где Дантон готовил свои громовые речи, потрясавшие старый мир.

Здесь находилась комната Луизы; там — кабинет, где хранились газеты. Незначительные подробности — расположение какого-нибудь камина или стенового шкафа, высота потолка, ширина кухни — интересовали меня больше, чем все эффектные тирады великих историков. Я видел Дантона, сидящего мартовским вечером у камина своей спальни и погруженного в размышления. Временами он порывисто мешает кочергой угли, потом опять погружается в раздумье. Рядом с ним — его молодая жена, она безмолвно смотрит на него. Вдруг с улицы долетает шум шагов идущего патруля; он останавливается: на лестнице слышатся шум, ругательства, крики. Дантон быстро вскакивает. «Они пришли арестовать меня!» — говорит он. Бледная от ужаса Луиза обвивает мужа руками, а он покрывает ее

лоб безумными поцелуями и твердит: «Не бойся, они не посмеют!»²⁰²

На бульваре Сен-Жермен еще и теперь стоит ряд домов с неровными стенами и узкими окнами: это случайно уцелевшая сторона улицы Кордельеров. Дома эти стояли как раз напротив дома Дантона. Мысленно представляешь себе эти старинные дома озаренными резким светом факелов; во всех окнах видны головы испуганных людей; они высовываются, переговариваются, спрашивают друг друга. Вот раздался женский крик, и по улице мимо этих домов проходит группа людей. Идущий в середине ее человек оборачивается и кричит громовым голосом: «Прощай, прощай!» Это Дантон. Его уводят...

Говорят, что, когда он всходил на ступени эшафота, он подумал о своей Луизе и на минуту мужество покинуло его. «О, бедная жена моя, — воскликнул он, — значит, я больше тебя не увижу!» Но тотчас же он овладел собой: «Ну, Дантон, не поддавайся слабости!» — и спокойно пошел на смерть. В эту минуту он заметил в толпе, окружавшей эшафот, человека, сделавшего ему знак. Это был аббат де Керавенан... Дантон склонил голову и мысленно принял предсмертное отпущение грехов²⁰³.

Все это дышит эпическим и страшным величием; роман Дантона почти затмевает его историю. Когда думаешь о бурях страстей, бушевавших в его сердце, то невольно делаешь сравнение между ним и его холодным соперником Робеспьером, этим заведенным, как часы, педантом, никогда не любившим никого, кроме себя, и пожертвовавшим всеми человеческими чувствами своему низкому и фанатичному честолюбию.

• • •

Меня часто поражает равнодушие, с которым историки говорят о кончине жертв революционного эшафота. Они рассказывают о том, как те ехали в роковой телеге, сообщают — если знают сами — несколько подробностей об ужасной драме, арене которой была гильотина; затем, описав смертельный удар ножа, они переворачивают страницу и переходят к другим. А ведь

драма не оканчивалась этим; она продолжалась в еще более волнующем и трагичном виде. Эти люди, полные жизни и сил, которых революция посылала на бойню, оставляли на земле частицы своей плоти и крови: у них были родители, жены, дети, которые потрясенно жались где-нибудь в углу квартиры и в смертной муке прислушивались к крику газетчиков, возвещавших, что посланные сегодня на бойню уже казнены...

Представляете ли вы себе весь ужас, перенесенный Луизой, молодой семнадцатилетней женщиной, на губах которой еще пылали последние поцелуи Дантона, когда она осталась вдовой с двумя чужими детьми на руках? Конечно, она увела мальчиков из этого проклятого дома; в безумии, стараясь убежать от страшного кошмара, боясь обернуться, она поспешила к своим родителям и приютилась у них, разбитая, подавленная, уничтоженная. Говорят, она не любила Дантона и лишь побоялась отказать ему; действительно, когда этот кошмар миновал и террор был окончен, она снова захотела жить. Ведь она была так молода, ей едва минуло двадцать лет! В последних годах столетия она снова приняла свою девичью фамилию и вышла замуж за члена одной очень уважаемой буржуазной семьи, чье имя отмечено на страницах истории. Могла ли она забыть, что она вдова Дантона? Конечно, это совершенно невысказано, но она набросила покров на свое прошлое; с ее уст никогда не срывалось ни слова о ее первом браке. К этому трагическому воспоминанию она относилась с немой и непроницаемым ужасом. Говорят, что она один раз побывала в Арси с целью урегулировать денежные счета с сыновьями Дантона, но и это лишь слухи. Умерла она в глубокой старости, всего лет тридцать тому назад.

Оба сына²⁰⁴ Габриэль Шарпантье почти сразу после смерти их отца были отосланы в Арси-сюр-Об. Оставшись сиротами без средств, они поочередно жили у отца своей матери, Шарпантье, затем у дяди и, наконец, у своей бабушки, госпожи Рекорден. Они выжили и также хранили молчание о сценах, которые видели их детские глаза и которых они не могли забыть. Сделавшись взрослыми, они жили одни в большом доме, где Дантон

надеялся провести свою старость. Жители Арси относились к ним с уважением и, быть может, жалели их. Подавленные именем, которое они носили, Антуан и Жорж Дантоны держались в стороне от света и вели бесцветный образ жизни провинциальных буржуа. У Антуана были художественные наклонности: он неплохо рисовал. От него осталась литография, изображающая мост Арси и часть города, видимую из дома Дантона. Но скрытность Антуана была так велика, что он даже не оставил своей подписи под этой литографией. Она была подписана именем одного его друга, гравировавшего ее. Жорж выглядел живым портретом своего отца с той, однако, разницей, что он был молчаливым и нелюдимым и отличался необыкновенной нервной чувствительностью. События, пережитые им в годы раннего детства, наложили на него неизгладимую печать. В 1848 году жители Арси, следуя примеру всех коммун Франции, решили посадить дерево свободы и в память о Первой республике постановили просить у сыновей Дантона один из тополей их сада. Муниципальный совет, сопровождаемый музыкой и толпой любопытных, направился к дому Дантона: оба брата показались на крыльце. Сейчас же раздались восклицания, заиграла музыка, и толпа хором запела Марсельезу.

Увидав эту торжественную обстановку, услышав этот шум, Жорж Дантон был так потрясен, что упал в обморок. Через два месяца он умер. Какое воспоминание внезапно пробудилось в нем? Какой призрак предстал перед ним, вызванный пением революционного гимна? Без сомнения, воспоминания его внезапно проявились и он увидел старый Торговый двор, где он жил ребенком, улицу Кордельеров, заполненную ревущей толпой людей, пришедших за его отцом, услышал крики ужаса Луизы... Быть может, перед его глазами внезапно предстало кровавое видение сентябрьских дней?..

Антуан, старший брат, остался один. Он жил почти затворником. Уединение его разделяла госпожа Ривьер, его экономка. От их связи родилась дочь. Он усыновил ребенка, хотя не захотел жениться на его матери. В Арси существует убеждение, что если бы у Софи Ривьер

родился сын, то Антуан не усыновил бы его, так как желал, чтобы род Дантона прекратился. По общему мнению, оба сына революционера сознательно стремились, чтобы имя их умерло вместе с ними.

Антуан Дантон скончался в 1858 году: его усыновленная внебрачная дочь вышла замуж за богатого нотариуса из Арси, господина Менюэля. Сын их Жорж неудачно вел дела, и его банкротство повлекло за собой финансовый крах довольно многих жителей их города. Ему пришлось продать все, включая дом Дантона, и постепенно госпожа Менюэль впала в совершенную нищету. Теперь она живет в Труа у одной бедной старой родственницы.

КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ

Серьезные умы, оплакивающие (встречаются и такие) равнодушные, с которым в наше время большинство людей относятся к политике, конечно, не думают о том, что она оставалась в моде почти столетие, а для такой обманчивой вещи этого вполне достаточно.

Из всех развлечений, предложенных парижанам, ни одно сначала не было встречено так радостно, ни одно не ценилось так высоко, как политика. Это было так ново! В тот день, когда простым буржуа объявили, что они будут играть в самоуправление, ликование было всеобщим. До тех пор власть была чем-то вроде роскоши, доступной лишь великим политикам, людям высокопоставленным по своему происхождению или карьере. В их среде государственные тайны и бремя общественных забот передавались от отца к сыну.

Буржуа, как голодные на еду, накинулись на это новое развлечение. Когда читаешь в отчетах о том жару, который депутаты третьего сословия вкладывали в исполнение своих обязанностей с первых дней созыва Генеральных штатов, то можно подумать, что до тех пор эти славные люди испытывали громадные лишения и только теперь, наконец, смогли отдаться своему настоящему призванию — произносить речи, выслушивать их, составлять проекты конституций, писать

бесконечные политические статьи и вести горячие дебаты обо всем, что касается управления страной. Два заседания в день едва удовлетворяют их; им мало ста газет, возникших в течение одного месяца... Давая им право говорить, думали, что открывают предохранительный клапан; но машина была слишком туго заряжена — и произошел взрыв. Несчастье заключалось в том, что все французы, видя, какое удовольствие доставляет их представителям это занятие, подумали, что оно включает в себе восхитительное наслаждение, и захотели испытать хотя бы подобие его. Им надо было получить его хоть в уменьшенном виде, иметь у себя трибуну для выступлений, произносить речи, выносить постановления, играть в парламентариев, как дети играют в солдатики... Вот почему появились клубы, вот каким образом революция сошла со своей колеи.

Мы получим совершенно ложное представление о жизни провинциального депутата Генеральных штатов, если станем судить о ней по жизни современных членов парламента. Депутат того времени вставал на заре и спешил на утреннее заседание. Выслушивал там речи, обычно представлявшие собой подражание тирадам Тита Ливия*, но бывшие значительно длиннее, заходил в бюро комиссии, членом которой был, писал своим избирателям красноречивые письма, в которых давал отчет о своих трудах и описывал в благородных выражениях общественное настроение. Затем он возвращался на дневное заседание, шел на собрание своей партии, писал несколько заметок в какую-нибудь газету, излагая письменно речь, которую не успел или не сумел произнести перед собранием и которую ему обязательно хотелось обнародовать. Тогда были в моде эти написанные речи, их печатали под неизменным заглавием: *Мнение господина NN о...* Наконец, наступал вечер; несчастный проводил его в обществе нескольких коллег, и снова они говорили о политике. Так как нельзя вечно говорить и ничего не пить при этом, то эти собеседования происходили обычно в одном из

* *Тит Ливий* — историк Древнего Рима, вставивший в свой труд множество реальных или вымышленных речей.

версальских кафе. Депутаты-бретонцы избрали для этой цели кафе Амори в центре Версаля; там они сходились каждый вечер, окрестив эту интимную говорильню новым тогда — и английским, что придавало ему особенно парламентский характер, — именем; его называли Бретонским *клубом*. Вскоре многие депутаты с севера и востока присоединялись в нем к своим западным коллегам. Амори, хозяин кафе, был значительным лицом. Задолго до революции он был известен как либерал, и благодаря той таинственной связи, тайному и могучему союзу, который соединял тогда всех врагов старого порядка, к нему, как в определенное, заранее назначенное место, сразу же шли депутаты либеральной партии, съехавшиеся в Версаль со всех концов королевства.

Дом Амори существует до сих пор; это 44-й номер по улице Помпы, один из фасадов которого граничит с аллеей Сен-Клу. Если верить преданию, то зал, который посещался депутатами, был первым в нижнем этаже и выходил на маленькую площадь, образуемую соединением улицы Помпы с аллеей Сен-Клу. Кафе занимало также антресоли, где, может быть, сходились депутаты, когда хотели обсудить что-нибудь втайне. Во времена Реставрации и Июльского правительства кафе Амори снова служило местом сборищ либералов. Не прошло еще и сорока лет с тех пор, как некто Оге, адвокат-консультант, имел привычку посещать это кафе и садиться там на место, которое, по его словам, всегда занимал Робеспьер. Этот адвокат присутствовал в Версале при начале революции и был уже в таких летах, что мог многое видеть и запомнить²⁰⁵.

Когда в октябре Собрание переехало в Париж, депутаты отдаленных провинций, — большинство из которых никогда не бывало в столице, — почувствовали гораздо больший, чем в Версале, ужас при мысли, что они окажутся одинокими и затерянными среди этого громадного города. Поэтому они почти все стремились поселиться как можно ближе к Собранию, чтобы в случае каких-нибудь событий им легко было встретиться там; но в то же время им было желательно иметь определенный пункт, где бы они могли сговариваться относи-

тельно направления общественных дел. Они обратились к людям, пользовавшимся их доверием, которые давно жили в столице. Те подыскали место в окрестностях Собрания и сняли за 200 франков в год трапезную монастыря якобинцев*, за такую же сумму мебелировали ее, то есть поставив в ней стулья и столы.

Что касается Бретонского клуба, то он с момента переселения Собрания в Париж поместился в доме 7 на площади Победы. Влился ли он в клуб, помещавшийся в монастыре Якобинцев, или, напротив, поглотил его? Это не имеет большого значения, но доподлинно известно, что всего за 400 франков было создано одно из самых страшных и могучих орудий революции.

Реформированное братство якобинцев²⁰⁶ было обязано своим существованием отцу Себастьяну Микаэлису, который добился у Людовика XIII и королевы-матери, регентши королевства, разрешения основать в Париже монастырь братьев-проповедников, то есть доминиканцев. В этом предприятии ему помогал Анри де Гонди, парижский епископ. Он пожертвовал монахам сумму в 50 тысяч ливров, и этот дар вместе с помощью от господина Тилле де ля Бюнесьера и других набожных людей дал им возможность купить участок в десять десятин, где они и выстроили монастырь и церковь, которым суждено было 180 лет спустя обрести совершенно неожиданную славу.

Постройки эти не представляли собой ничего замечательного. Вход в монастырь состоял из трех арок, выходивших на улицу Сент-Оноре в том самом месте, где начинается теперь улица Рынка Сент-Оноре. Средняя арка предназначалась для экипажей; под двумя другими, более низкими, проходили пешеходы. Над ними устроены были ниши; в правой из них стояла статуя святого Доминика, а в левой — святой Екатерины Сиенской²⁰⁷. Пройдя под этим порталом, входили в до-

* Якобинцы – французское обиходное название монахов нищенствующего ордена доминиканцев, основанного святым Домиником де Гусманом в Тулузе в 1215 году. Происходит от улицы Сен-Жак в Париже, где в 1218 году был основан первый доминиканский монастырь.

вольно большой мощный двор, в середине которого возвышалась церковь, примыкавшая со стороны хоров к зданию монастыря. Постройки эти отличались крайней простотой: один лишь монастырь, занимавший центр всего участка, был отделан несколько тщательнее. Он был даже расписан фресками, но в эпоху революции уже обветшал и наполовину разрушился.

Вначале устройство клуба было самое элементарное. Я не мог узнать, занимал ли он капитул или трапезную, но достоверно известно, что он помещался сначала в одном из залов нижнего этажа, находившемся совсем близко от церкви. Этот зал, как отметил Филипп Леба, казался предназначенным для своей славной роли. *«Действительно, в нем в царствование Генриха III происходили заседания членов Лиги...»** В этом не было бы ничего невероятного, если бы якобинский монастырь не был основан лишь при Людовике XIII.

Первое собрание клуба состоялось в воскресенье утром: на нем присутствовало лишь 15—20 депутатов, в числе которых было очень мало членов бывшего Бретонского клуба. Больше всего пришло депутатов от Анжу и Франш-Конте; здесь были Леклерк, Пиластр, Ларевельер-Лепо. Так как зал был очень большим, а члены клуба в течение первых недель были немногочисленны, монахи этого монастыря мало-помалу начали в виде развлечения приходить туда, чтобы присутствовать на заседании. Они теснились группами в глубине зала в своих белых одеждах с черными капюшонами.

Но имя клуба, все еще звавшегося *Бретонским*, не гармонировало более с его составом — оно придавало этому учреждению чисто провинциальный характер, представлявший контраст с теми общими задачами, которые там решались. Было предложено переименовать его в *«Общество друзей Конституции»*, и это предложение было принято. Но народ говорил *«Клуб якобинцев»*, и это название так и осталось за ним.

* Парижская лига — объединение противников короля в эпоху Религиозных войн XVI века.

С первых дней 1790 года общество урегулировало свою жизнь, выработало распорядок, установило правила приема новых членов. Это была сила, сознававшая, что она с каждым часом возрастает, и готовившая себя к той новой роли, которую ей предназначали обстоятельства. Чтобы стать членом клуба, не было больше необходимости быть членом Учредительного собрания. Каждый кандидат, предложенный к избранию, должен был иметь двух рекомендателей, ручавшихся за его нравственность и гражданские добродетели, а само избрание его решалось баллотировкой. Затем было создано бюро: были избраны должностные лица, цензоры, обязанные следить за порядком и благопристойностью собраний. Этим последним, кроме того, поручили проверять входные билеты, которые каждый член должен был иметь при себе. Может быть, здесь впервые осуществилась любимая теория той эпохи — равенство, когда наличие этих билетов уравнивало певца Лаиса и герцога Орлеанского²⁰⁸.

Журналисты, адвокаты, писатели — все это скопище энтузиастов, горевших желанием взять в свои руки общественные дела, все эти беспокойные умы, эти смелые характеры, эти озлобленные души, сошедшиеся в начале революции, — хлынули в Клуб якобинцев и дали окраску его облику и способу действий. Там говорили с силой и пылкостью, заставлявшими трепетать все фибры народной души; законодательные прения переходили на личности и сопровождались самыми резкими объяснениями. Наконец, оттуда начала исходить та могущественная инициатива, которой суждено было изменить все установления и разрушить трон.

Но мы не должны забывать, что наша сфера — только топография и что мы не собираемся писать политическую историю Клуба якобинцев, впрочем, еще никем не написанную и стоящую выше нашей компетенции. Общество друзей конституции существовало всего два месяца, когда помещение, где оно размещалось, оказалось слишком тесным для его многочисленных и все прибывавших членов. Стали подыскивать другое помещение в том же квартале, чтобы не удаляться от

Манежа, где заседало Собрание, но братья-якобинцы, допущенные из любезности на заседания клуба, не желали лишиться подобного развлечения и предложили ему больший по размеру зал своей библиотеки, помещавшейся под крышей церкви и занимавшей всю длину здания. Это была длинная комната с хорошей вентиляцией и прочными сводами, в ней было много света, падавшего из шести высоких окон, и ее украшали портреты восемнадцати знаменитых монахов ордена святого Доминика. На каждом конце зала были устроены кабинеты, куда прятали ценные книги. В одной из этих комнаток была проделана лестница, которая вела в кабинет, где хранились первопечатные книги на пергаменте.

Обыкновенно Клуб якобинцев описывают как мрачное место, нечто среднее между кабаком и игорным домом. Воображению рисуются картины бурных заседаний, шумных прений ораторов в красных колпаках, ревущих на трибунах «вязальщиц»... словом, нечто вроде современных собраний анархистов, где поют революционные песни и подражают крикам животных. Это совершенно неверное представление. Якобинцы вносили в свои собрания, может быть, даже больше спокойствия и пристойности, чем Собрание, заседающее в Манеже. Если бы, для того чтобы убедиться в этом, у нас не было журнала их заседаний и отчета об их трудах, одной маленькой незначительной с первого взгляда подробности было бы достаточно. Предлагая обществу зал своей библиотеки, отцы-якобинцы не подумали убрать оттуда 20 тысяч книг, занимавших стеллажи вдоль стен, причем большинство этих томов были весьма редкими и ценными. Они стояли там, защищенные лишь деревянной решеткой, все время существования знаменитого общества. Только гораздо позже, когда они сделались национальной собственностью, их перенесли в монастырь Капуцинов близ Манежа, где беспорядочно свалили в пустую часовню.

Из зала клуба не потрудились даже убрать довольно странную картину, висевшую над входной дверью галереи. Эта аллегорическая живопись, которую Пиганоль

приписывает ученику Симона Вуэ*, изображала святого Фому Аквинского сидящим на фонтане, из которого через множество отверстий истекает вода истины. Фонтан этот окружен монахами различных орденов, все они спешат наполнить чаши драгоценной влагой, лишь один, стоящий на переднем плане картины отец-иезуит, держа в руках кружку, колеблется и медлит. Якобинцы, как и большинство других религиозных орденов, охотно позволяли себе подобные невинные шутки над знаменитым орденом**, успеху которого они немного завидовали. Из этого видно, как мало эта обстановка походила на ту, какой упорно изображали ее художники, иллюстрируя разные моменты революции. Вместо рисуемого ими низкого, наполненного клубами табачного дыма зала, украшенного революционными эмблемами, с беспорядочно толпящимися санкюлотами с гнусными физиономиями, мы должны вообразить себе длинную галерею, вокруг которой амфитеатром расположены скамьи. С одной стороны ее — бюро и кресло президента, под ними стол, за которым работают секретари, а напротив — узкая и высокая трибуна оратора. Фоном для этой картины служат виднеющиеся между рядами книжных полок изображения суровых доминиканцев, задрапированных в белые одежды, и мрачных судей инквизиционных трибуналов. Даже алтарь для совершения литургии был сохранен и возвышался в конце клубного зала.

Заседания происходили по вечерам, почти без перерывов, каждые два дня. Они начинались в восемь часов и оканчивались к половине одиннадцатого. Что там делали? Там говорили, и, надо сознаться, часто говорили очень бессодержательно. Общество якобинцев, несомненно, являлось силой, но скорее влиятельной, чем активной. Те из его членов, которые были депутатами, являлись туда, чтобы ознакомиться с общественным мнением, другие получали оттуда свои директивы, но

* *Симон Вуэ* (1590—1649) — французский художник, «первый живописец короля». В его творчестве барочная патетика соединилась с рассудочностью классицизма.

** Имеется в виду орден иезуитов.

кроме этого там ничего не делали и не могли делать. Г-н Олар печатает подробные отчеты о каждом заседании; труд этот, когда он будет закончен, составит пять больших томов в 700 страниц каждый*. Это будет драгоценное собрание неизданных документов, очень полезное для справок, но прочесть его будет невозможно. Ум быстро утомляется этими длинными речами, очень громкими, очень напыщенными и очень пустыми.

«Тучи омрачают наш политический горизонт, но сияющие лучи свободы проникли даже в вертеп, где интрига плела свои гибельные сети... Французская нация заранее уверена, что времена, когда ее могли унижать, миновали...» и т. д. Вот типичный образец этих речей. Ораторы сменяют друг друга на трибуне, нанизывают фразы и периоды, постоянно говорят о решении победить или умереть, расхваливают свой патриотизм, восхищаются собственными добродетелями... Я думаю, что именно с трибуны якобинцев были впервые изречены известные метафоры, чей успех был так велик и эффект так долговечен, что они еще и теперь употребляются в известных кругах. Таковы, например: *гидра тирании*, *священные права свободного народа*, *факел гражданской войны* и т. п. В 1791 году Общество якобинцев достигло своего апогея: число его членов так возросло, что библиотека в свою очередь стала слишком мала, чтобы вмещать толпу, теснившуюся там в часы заседаний. Весь монастырь перешел теперь во владение нации: больше не приходилось церемониться с монахами, которые мало-помалу покинули свою обитель. Тогда было решено устроиться поудобнее: местом заседаний была избрана сама церковь. 29 мая 1791 года клуб переселился в нее.

Церковь Якобинцев была лишена всякого стиля, но в ней находилось несколько интересных памятников. Главный алтарь украшала прекрасная картина Порбуса**, изображавшая Благовещение. В приделах церков-

* Этот труд был завершен Оларом лишь к концу XIX века (Aulard A. La societe des Jacobins. Paris, 1889—1897).

** *Франс Порбус* (1569—1622) — фламандский художник, много лет работавший во Франции.

ного нефа стояли чудный саркофаг маршала де Креки, изваянный Куазево*, и гробницы Пьера Миньяра** и его дочери, графини де Фекьер. После революции их убрали отсюда и перенесли в Сен-Рош, где они и находятся до сих пор. Клуб ничего не изменил в общем расположении церкви и ее убранстве. Довольствовались тем, что по краям ее установили скамьи, более высокие и длинные, чем те, что стояли прежде в библиотеке; впрочем, все было расставлено в том же порядке, как и раньше: трибуна оратора по-прежнему возвышалась напротив бюро президента. Так как в подражание Собранию, заседавшему в Манеже, было учреждено несколько постоянных комитетов, то клуб распространился по различным зданиям монастыря, превращенным в его бюро. Более тысячи провинциальных отделов вели переписку с главным обществом, и эта непрерывная работа требовала известного количества служащих и довольно обширного помещения.

В трапезной, где, вероятно, вначале заседали «Друзья конституции», их сменил теперь другой, так сказать, добавочный клуб, представлявший собой, вероятно, довольно живописное зрелище. Некто по имени Данзар делал там сообщения на политические темы рабочим квартала. Это было знамение времени: в то время, как в церкви Якобинцев буржуа играли в Собрание, здесь, у входа, рабочие играли в якобинцев; от верхних до нижних ступеней социальной лестницы весь французский народ создавал маленькие частные парламенты на все вкусы и средства. В общем, Клуб якобинцев состоял преимущественно из буржуазии; члены его в большинстве были людьми, получившими известное образование; речи, которые они произносили, указывают на довольно высокий интеллектуальный уровень, несмотря на то, что большинство их разглагольствований были просто смешными. Можно составить целый сборник нелепых предложений, сде-

* *Антуан Куазево* (1640—1720) — знаменитый скульптор, работы которого украшают Версальский дворец.

** *Пьер Миньяр* (1632—1696) — художник, прославившийся женскими портретами.

ланных с этой трибуны, да еще таким напыщенным слогом!

«Господа! — воскликнул однажды²⁰⁹ один из членов клуба, далеко не безызвестный. — Господа, я предлагаю, чтобы мы взяли на себя торжественное обязательство не употреблять сахара ни в одном из наших кушаний, кроме случаев болезни, до тех пор, пока он не упадет в цене. Я не говорю о том, что он станет настолько дешевле, что будет доступным большинству из нас, нет — до тех пор, пока он не упадет до столь низкой цены, что даже самые неимущие граждане смогут покупать его... Кто из нас может находить удовольствие в лакомстве, которого, как он знает, лишена самая большая и самая драгоценная часть нации? Я предлагаю, чтобы мы воздерживались от употребления сахара до тех пор, пока он не будет стоить дешевле двадцати или двадцати пяти су. Пусть на столе патриота, даже самого богатого, не стоит больше этот отныне запретный товар; пусть благодаря этому новому постановлению народ еще раз убедится, что те самые якобинцы, на которых столько клеветают, — его истинные друзья... Не сомневайтесь, что примеру нашему последует вся столица, а вскоре и все департаменты государства. Пусть весть о нем распространится за пределы Европы; пусть, услышав ее, великий Вашингтон и его славные боевые товарищи гордятся своими союзниками...»

Надо быть совсем незнакомым с нравами революционной эпохи, чтобы сомневаться в том, что весь зал с восторгом принял это предложение. Манюэль даже внес в него поправку; он предложил воздерживаться не только от сахара, но и от кофе²¹⁰, что также было принято единогласно: было бы любопытно узнать, сколько якобинцев, уходя с этого заседания, отправились по привычке выпить *полчашечки* в соседнем кафе.

И все же, каким бы возвышенным ни было это самопожертвование, понятно, что масса парижан навострила уши при известии об этом подвиге. Сахар и кофе были дороги и представляли собой редкость в это голодное время, и вдруг теперь неожиданно открылось, что среди якобинцев есть и такие, которые ежедневно

употребляют их, — разумеется, это было неприятное открытие. Члены клуба, слывшие среди аристократов самыми яркими демагогами, сами — такова обратная сторона вещей — были аристократами в глазах бедного народа, который давно уже обходился без сахара и кофе, причем ему и в голову не приходило гордиться этим вынужденным воздержанием.

Вот это-то и понял Данзар, имя которого мы только что упоминали: он придумал читать и объяснять декреты Национального собрания рабочим этого квартала. Таким образом, эти последние могли не завидовать буржуазии и с гордостью говорить после работы: «Я иду в якобинский клуб... в свой клуб»... Собрания этого отдела общества происходили по воскресным и праздничным вечерам в бывшей трапезной монастыря. «Отсюда мы видим, — говорил Миллин²¹¹, — что душа получает спасительную пищу в том самом месте, которое так часто было свидетелем обжорства доминиканцев!» Вот чисто якобинская фраза!

Публика Данзара состояла преимущественно из ремесленников и местных торговцев фруктами и овощами. Они приводили с собой жен и детей. «Он каждый раз приносит с собой, — говорит *«Хроника Парижа»*²¹², — огарок свечки, огниво и трут; в последний раз, когда собрание едва не очутилось впотьмах, несколько слушателей купили в складчину новую свечу, благодаря чему заседание продлилось до десяти часов вечера к великому удовольствию всего собрания»... вероятно, за исключением детей. Это общество, как мы видим, вполне заслуживало названия «Братского общества», как оно себя именовало²¹³.

«Братское общество» поддерживало постоянные сношения с соседним большим клубом. Его название часто встречается в протоколах заседаний Общества якобинцев, которые печатает г-н Олар. Мы уже упоминали об этом обширном труде, и приходится сознаться, что можно подобрать лишь очень мало забытых им колосьев, даже в той скромной окраинной борозде, по которой следуем мы. И все же можно найти несколько точных подробностей, которые дополняют описание обстановки, в которой заседал знаменитый клуб. Мало-

помалу зал собраний потерял тот церковный характер, который остался от его первоначального назначения. Ряды скамей, расположенные вокруг, закрывали входы в приделы; кроме того, так как публики с каждым днем являлось все больше, решено было²¹⁴ построить две трибуны, по одной на каждом конце зала, и для возведения одной из них пришлось перенести на другое место алтарь. В своем замечательном труде о старинных библиотеках Парижа г-н Франклин утверждает, что каждая из этих трибун могла вместить полторы тысячи зрителей; это представляется преувеличенным, так как размеры церкви Якобинцев не были особенно велики. Кроме того, Франклин ошибается относительно места, где были воздвигнуты эти трибуны: он помещает их в библиотеку, откуда Общество друзей конституции ушло за полгода до того, как было решено их построить.

На эти трибуны входили по билетам, которые не всегда легко было получить. Ни один иностранец не имел права присутствовать там дольше одного дня, а члены местных обществ получали по предъявлении своих удостоверений контрамарку на три недели. Наконец, для того чтобы ни один непосвященный не мог проникнуть в ту часть зала, что была предназначена для действительных членов общества, эти последние должны были на все время заседаний прикреплять свои билеты к петлице фрака. Несмотря на эти предосторожности, с трибун часто слышался шум, происшедший оттого, «что общество слишком предупредительно открыло свои двери дамам». Это возмутило Луве, который предложил, «чтобы дамы ни под каким предлогом больше сюда не допускались».

Украшение зала стоило недорого. Сначала удовлетворялись тем, что по примеру «Лондонских друзей революции» водрузили перед трибуной английский, американский и французский национальные флаги²¹⁵. Затем было решено водрузить бюсты доктора Пристли и Франклина²¹⁶, к которым присоединили еще и бюст Мирабо; один из членов потребовал такой же чести и для Жан Жака Руссо, другой заставил собрание высказаться за установление бюста Сиднея, очень популяр-

ного в то время*. Третий, наконец, потребовал, чтобы воздвигли еще и бюст аббата Мабли. Все эти предложения были приняты. После этого приступили к обсуждению вопроса, в каком порядке расставить бюсты²¹⁷. Которому из этих героев свободы и философии надлежит занять первое место? Должен ли Жан Жак стоять правее Мирабо или Мирабо должен уступить ему свое место? Вопрос оказался таким трудным, что так и не был решен. Конечно, посередине зала лежал камень взятый из развалин Бастилии. Патриот Палуэ, предоставивший сам себе право по кускам распродавать старинную крепость, понятно, не упустил такого удобного случая сбыть часть своего товара. Кроме этого камня, там были и другие реликвии: пики, пожертвованные участниками событий 14 июля, автографы Мирабо, тайный приказ об аресте с неписанным в него именем арестуемого, подписанный «*Людовик*», и т. п.

Все это имело довольно жалкий вид: страшные герои 1793 года отличались своего рода наивностью, которая видна по деталям обстановки, в которой они разыгрывали свои роли. Но, какой бы партии мы ни симпатизировали, следует признать, что из этой церкви Якобинцев, передать облик которой мы старались, берет свое начало вся революция. Конвент со своей неограниченной властью, со своими всемогущими комитетами значил очень немного в сравнении с этим знаменитым клубом, *температура* которого передавалась всей Франции. Доказательством служит то, что, как только якобинцы были побеждены, для Собрания немедленно наступила эра слабости, эгоизма, инертности... Что, может быть, все же лучше того кровавого периода, который она сменила.

Как это постоянно бывает в политике, один из самых ярых якобинцев взялся нанести роковой удар Собранию, членом которого он состоял. Мясник Ле-

* *Алджернон Сидней* (1622—1683) — английский публицист, казненный за участие в республиканском заговоре, автор работы «*Рассуждения о правлении*». Упомянутые перед этим Джозеф Пристли (1733—1804) и Бенджамин Франклин (1706—1790) также были видными сторонниками республиканских идей.

жандр, бывший по очереди марагонистом, дантонистом, эбертистом, робеспьеристом, термидорианцем, в один ноябрьский день явился наложить печать на дверь церкви Якобинцев. Месть термидорианцев отличалась крайней жестокостью: подражая великому королю* в его гневе на Пор-Рояль, они решили, что монастырь, стоящий на улице Сент-Оноре, должен быть разрушен, так чтобы от него не осталось камня на камне, и что на том самом месте, где торжествовал Робеспьер, будет открыт рынок под названием «Рынок Девятого термидора»²¹⁸.

Это было в буквальном смысле попрание ногами павшего врага.

* Людовику XIV.

КЛУБ КОРДЕЛЬЕРОВ

Мне крайне затруднительно сказать, в какой местности Парижа находился Клуб кордельеров. Это, без сомнения, многих удивит, так как принято считать, что клуб помещался в монастыре Кордельеров*. Я также долгое время наивно этому верил; но в том, что касается истории, истина, которую неправильно изображают обнаженной, является, наоборот, закутанной в непроницаемые покровы и позволяет их снять с себя лишь после долгих упрасиваний и бесконечных церемоний. Можете сами судить, так ли это.

Общество друзей прав человека и гражданина, основанное в июле 1790 года жителями квартала Кордельеров, — заседало ли оно в монастыре Кордельеров? «Да!» — говорит предание. «Нет!» — считает г-н Олар²¹⁹. Перед теми вескими аргументами, которые он приводит в доказательство справедливости своего мнения, нам оставалось бы только преклониться, если бы не одно оставшееся сомнение. Клуб, говорит Олар, действительно до мая 1791 года заседал в церкви Кордельеров,

* Кордельеры (францисканцы) — нищенствующий монашеский орден, основанный Франциском Ассизским в 1207 году. Название кордельеров получил во Франции из-за того, что его члены подпоясывались веревкой (*corde*).

но потом муниципалитет выселил его оттуда и он перешел в зал музея на улице Дофина, где еще оставался 22 фримера II года.

Итак, предположим, что он заседал в зале музея, и посмотрим, что это было за помещение. Об этом нам поведаст Лефев²²⁰:

«Филолог Курт де Жебелен, бывший цензором печати, основал в 1780 году в двойном доме, который теперь значится под номерами 16 и 18 улицы Дофина, ученое общество, *Музей Парижа*. Драматург Кайльгава, бывший его членом, стал во главе партии, враждебной основателю... и Курт де Жебелен кончил тем, что закрыл музей в день, когда там должно было состояться большое заседание. Оно собралось лишь несколько месяцев спустя в залах *Научного музея* Пиластра де Розье, на улице Сент-Авуа (дю Тампль) под председательством Кайльгава, который вернулся в *Музей Парижа* лишь в конце 1785 года, после смерти своего соперника. Соединение обоих обществ сопровождалось различными преобразованиями, и в 1787 году помещение на улице Дофина было уступлено франкмасонам, а именно ложе “Девяти сестер”, где председательствовал герцог Орлеанский. Клуб кордельеров заседал в другом доме (№ 18), или же в бывших залах музея».

Таким образом, мы видим, что мнение г-на Олара совпало с мнением Лефева; значит, члены Клуба кордельеров действительно собирались в *Музее Парижа*. После этого нам оставалось бы только восстановить историю и обстановку этого в наши дни совершенно забытого здания. Но, просматривая различные описания, появившиеся в течение последнего века, мы случайно наткнулись на следующее указание Тьери. Но прежде мы должны отметить, что Тьери, писавший свой «*новый путеводитель для любителей и туристов*» в 1787 году, не мог предвидеть мнений Олара и Лефева. «Общество, — говорит он, — известное под названием “Музей Парижа”, прежде собиралось в *Королевском отеле* на улице Дофина. Но теснота и сутолока этого дома заставили клуб переселиться в *монастырь достопочтенных отцов-кордельеров* (францискан-

цев), обширные и спокойные залы которого были удобнее для собраний музея».

Итак, знаменитый клуб в 1791 году переселился из монастыря Кордельеров в залы Музея Парижа. Это установленный факт. Но Музей Парижа сам с 1787 года перекочевал с улицы Дофина в монастырь Кордельеров; таким образом, это двойное перемещение сводит на нет переселение *Общества друзей прав человека и гражданина*. Все это дает основания утверждать, что общество это вовсе не покидало старого монастыря, от которого оно и заимствовало то имя, под которым оно живет в истории²²¹.

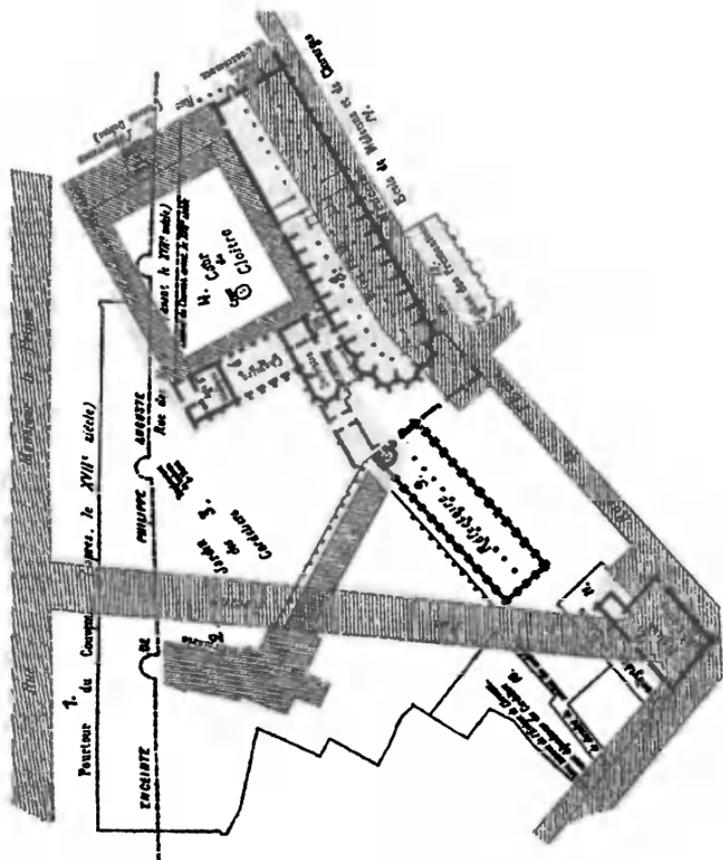
Установив это, постараемся отыскать среди новых построек Медицинской школы, возвышающихся в наше время на участке древнего монастыря, точное место, где, согласно пышному выражению Лефева, «гремел» бурный клуб, бывший одним из могущественных орудий революции.

• • •

Монастырь в прошлом веке не был, как в наши дни, скромным, спокойным и чистеньким жилищем, мирно стоящим в глубине сада какого-нибудь предместья, чья дверь, осененная крестом, едва отличается от дверей других домов той же улицы. Тогда монастырь представлял собой целый город; у него была своя история, свои законы; старые стены его выдерживали осады; здания его возводились в течение долгих лет, и среди них можно было видеть и суровую башню аббатства, пережившую десять веков, и элегантный павильон во вкусе Людовика XV, среди арабесок которого красовалось изображение какой-нибудь святой в легкомысленном стиле мадам Помпадур.

С этой точки зрения монастырь Кордельеров был одним из самых интересных уголков старого Парижа, так как он был одним из древнейших. Когда лет пять-шесть назад начались работы по постройке новой Практической школы медицины, расчищенный участок дал довольно точное представление о месте, которое занимали раньше постройки и сады монастыря. Они раскинулись от улицы Антуан-Дюбуа до стен ли-

ца Людовика Святого; с запада они граничили с улицей Господина Принца, а с востока — с церковью Сен-Ком; эта церковь возвышалась на том месте, где теперь образуют угол улицы Расина и Медицинской школы.



1 — галерея монастыря (после XVII века); 2 — больница; 3 — сад Кордельеров; 4 — двор монастыря; 6 — капитул; 7 — ризница; 8 — церковь; 9 — трапезная; 10 — старинный дом епископа Клермонского, перешедший в собственность монастыря; 11 — Сен-Комский священнический дом; 12 — Сен-Комская церковь; 13 — школа медицины и хирургии.

Вокруг этого большого монастырского поселка расположился густонаселенный квартал, главной артерией которого была улица Кордельеров. При входе на нее с улицы Лагарп, теперь расширенной и переделанной в бульвар Сен-Мишель, вы видели с левой стороны Сен-Ком, маленькую и скромную приходскую церковь, где находилась гробница г-на де Ля Пейрони, первого хирурга короля. И рядом, под тем же куполом, приютившим под сенью своею братство хирургов Сен-Кома, помещалась бесплатная Школа живописи; в ней в 1789 году насчитывалось полторы тысячи учеников, и она являлась одним из немногих учреждений старого режима, уцелевших во времена всех наших революций. Замечательно, что она даже не переменила своего места. Она и теперь помещается в старинных строениях Академии хирургии, возведенных в 1691 году архитекторами Шарлем и Луи Жуберами, где она разместилась в 1776 году, когда король велел построить чуть дальше по той же улице чудные здания Медицинской школы на месте, принадлежавшем Бургундскому училищу. Двери учебных залов Школы живописи и теперь еще украшены скульптурными изображениями ионического ордера и в честь хирургии, царствовавшей раньше в этих залах, носят соответствующую надпись:

*Ad coedes nominum prisca Amphitheatra patebant
Ut longum discant vivere nostra patent*.*

Но продолжим наше путешествие по улице Кордельеров, среди бывших владений монастыря. Старые дома, носящие в наши дни номера 11 и 13, составляют часть их, и в глубине их темных переходов видны почерневшие стены с высокими стрельчатыми окнами — это трапезная монахов. На уровне улицы Готфейль улица Медицинской школы теперь расширяется и образует площадь: здесь когда-то возвышалось массивное здание церкви Святой Магдалины кордельеров, в которую входили с улицы Обсерванс. Справа, напротив несуществующей ныне церкви, тянутся колоннады Медицинской школы, считавшейся тогда вторым по красоте

* Собравшись в этом древнем амфитеатре, мы долго учимся, чтобы охранять вашу жизнь (*лат.*).

зданием столицы²²². Напротив, на углу улицы Готфейль, виднеется еще и теперь круглый клирос часовни пре-монстрантов, ставший потом кафе, а еще позже почтовой конторой²²³. Старый монастырь премонстрантов²²⁴ выходил своей широкой папертью на улицу Готфейль; с паперти этой начиналась великолепная старинная лестница с железными скульптурными перилами.

За Медицинской школой улица Кордельеров сужается и старые дома скучиваются; некоторые из них, с левой стороны, пережили все перестройки и до сих пор выставляют напоказ свои облупившиеся старинные фасады, рядом с которыми красуются белые стены школы, не имеющие еще истории. Из окон этих древних строений, смотрящих теперь на деревья бульвара Сен-Жермен, можно было рассматривать квартиры Марата или Дантона; для того, кто любит мысленно переживать прошлое, эти развалины, крашенные известью и вызывающие презрение у любителей правильных линий, представляют собой немых свидетелей, которых тем не менее можно неустанно расспрашивать, как будто они могут говорить.

• • •

Церковь Кордельеров была одной из самых больших церквей Парижа²²⁵. Людовик Святой купил этот участок земли у аббатов Сен-Жермен-де-Пре, чтобы принести его в дар монахам ордена святого Франциска, жившим в Париже с 1217 года и по примеру своего патрона носившим вместо пояса веревку. Новая церковь была освящена в 1262 году во имя святой Магдалины. 19 ноября 1580 года в ней произошел пожар необычайной силы; огонь не могли погасить три дня, и церковь выгорела дотла, причем лишь с трудом удалось отстоять смежные постройки. Один францисканец, умерший позже в Понтуазе, перед смертью признался, что невольно был причиной этого несчастья. Этот монах²²⁶, желая окончить свои молитвы, взял свечу и прикрепил ее к образу в приделе святого Антония Падуанского, где висело уже множество пожертвованных восковых изображений; когда он заснул, начался пожар, который разгорелся так быстро, что через ми-

нута весь купол был объят пламенем и невозможно было принять какие-либо меры для его спасения²²⁷.

Церковь Кордельеров была отстроена и снова освящена в 1606 году. Трудно было найти более неудобную и неудобную церковь; несмотря на это, там имелось несколько интересных картин, и много знатных семейств устроило там свои склепы; назовем для примера Лонгвилей, Безансонов, Ламуаньонов, Бульонов, а также графа де Сен-Поля, «которому отрубили голову на Гревской площади», при чем присутствовало более двухсот тысяч человек». Это, по справедливому суждению Жермена Бриса, доказывает, что Париж не сегодня стал густонаселенным городом. Португальский король дом Антонио также был погребен в церкви Кордельеров, как и Франсуа Бельфоре, автор *«Летописи истории Франции»* и романа из рыцарской жизни, откуда Шекспир заимствовал историю своего Гамлета. Бельфоре умер в 1583 году.

Со своими гробницами, почерневшими от времени деревянными сводами, амвоном, украшенным статуями святых Петра и Павла, главным алтарем с мраморными колоннами, готическим порталом, где стояла статуя Людовика Святого, «весьма ценившаяся антикварами и считавшаяся близкой к оригиналу», церковь Кордельеров, темная, узкая и тесная, была тем не менее одной из самых популярных церквей Парижа. Там служили обедни с музыкой, пользовавшейся в XVIII веке заслуженной известностью. На органе, который славился своим звуком, играл знаменитый артист Мируар. Ежегодно 8 мая, в День явления святого Михаила, там происходило общее собрание рыцарей ордена святого Михаила в присутствии «командора королевских орденов, назначенного для этой цели Его Величеством». Члены Французской академии также заказывали в церкви Кордельеров службы в случае смерти одного из своих братьев.

Сам монастырь был одной из тех редкостей, которые парижане любят показывать иностранцам: его трапезная²²⁸ и кухня пользовались репутацией наподо-

* В 1475 году.

бие той, какой теперь пользуются подобные учреждения церкви Инвалидов. Главным предметом восхищения зевак служила знаменитая решетка на четырех колесах, на которой можно было одновременно жарить целый воз рыбы.

В монастырь входили через высокие двери, находившиеся с той же стороны, что и портал церкви, то есть с улицы Обсерванс (теперь улица Антуан-Дюбуа), приблизительно напротив дома, имеющего теперь номер 4. Над ними была следующая надпись:

БОЛЬШОЙ МОНАСТЫРЬ
ОРДЕНА СВ. ФРАНЦИСКА
1673.

Действительно, все строения вокруг церкви существовали с XVII века. Прежде всего шла широкая паперть, из-под навеса которой поднималась большая лестница, ведущая в здание для гостей, канцелярию и монастырскую гостиницу. Миновав паперть, входили в монастырь, который Пиганьоль описывал как «большое вытянутое здание с каменным полом». Все строения со стороны церкви имели всего один этаж, чтобы не затемнять окна приделов, тогда как корпуса зданий с другой стороны достигали трех этажей и включали в себя более ста комнат. Монастырь состоял из четырех коридоров с правильно выведенными сводами, низкие арки которых закрываются железными решетками, сделанными за счет нескольких жертвователей, в память о которых к решеткам прикреплены их гербы. Постройка этого здания была начата в 1673 году и окончена десять лет спустя, как видно из надписи, помещенной на двери близ капитула:

НОС CLAUSTRUM
DECENNIO ELABORATUM
EXTREMAM OBTINUIT MANUM.
ANNO 1683*.

В одном конце этого здания, противоположном входу, в корпусе, стоящем перпендикулярно к оси церкви, помещались ризница, капитул и *Aula theologica*

* Этот монастырь, строившийся десять лет, достиг завершения в 1683 году (*там.*).

(зал Богословия), где собирались теологи ордена. Ризница была настоящей часовней в готическом стиле, отделенной от клироса церкви крытым переходом; туда перенесли первоначальную маленькую часовню времен Людовика Святого, выстроенную раньше первой церкви, и там же сохраняли священные предметы.

Зал капитула выходил во двор монастыря пятью готическими аркадами; большие фрески, изображавшие монастырскую церковь, занимали целый простенок этого здания; вокруг него шла высокая деревянная панель, над которой висел ряд портретов кардиналов, патриархов, генералов, святых монахов и монахинь ордена францисканцев. Капитул соединялся дверью с залом Богословия, в который вел, кроме того, особый вход из монастыря, над которым висела черная мраморная доска с надписью:

AVIA THEOLOGICA²²⁹.

Если это длинное описание нуждается в оправдании, то мы можем заявить, что здесь впервые сделана попытка представить топографию монастыря Кордельеров и что нам удалось сделать это лишь ценой кропотливых и зачастую обманывавших ожидания розысков. Но так как от этого заявления наше мелочное описание ничуть не выигрывает, поторопимся окончить его, чтобы скорее вернуться к настоящей задаче нашего труда.

Низкое здание, служившее дортуаром, соединяло хоры ризницы с трапезной. За ним тянулось длинное старое здание, возведенное одновременно с первыми постройками монастыря. Оно включало в себя большие галереи, четыре зала, где помещалась библиотека, и оканчивалось высоким темным корпусом, отведенным под лазарет. Большой сад со множеством аллей и беседок расстилался между этой старинной постройкой и зданиями самого монастыря; огромный огород, доходивший до стен училища Аркура, занимал остальной участок.

Таким был в начале революции монастырь Кордельеров. Надо прибавить, что далеко не все перечисленные нами строения были заняты. С начала XVIII столетия в этот орден неохотно шли новые монахи —

частью оттого, что устав его был очень суровым, частью же потому, что другие, более новые монастыри привлекали к себе молодежь. В результате помещения монастыря Кордельеров сделались слишком обширными для небольшого количества послушников. Тогда захотели извлечь пользу из этого громадного участка: казенные архитекторы составили проект их выкупа в казну. Надо сказать, что великолепие нового здания Медицинской школы, возведенного, как мы уже упоминали, в 1766 году, возбудило желание создать здесь площадь с целью освободить колоннаду Гондуэна от соседства закрывавшей ее церкви Кордельеров, которая стояла напротив. С того времени стали думать о том, чтобы уменьшить церковь монастыря наполовину, а в оставшуюся часть перенести приходские службы церкви Сен-Ком, предназначенной к разрушению. Другие строения монастыря предлагалось переделать в тюрьму с одиночными камерами, надобность в которой в то время остро ощущалась.

Революция разрушила эти планы, но монастырь Кордельеров был уже обречен, и она лишь привела в исполнение с некоторыми изменениями уже произнесенный приговор. Начиная с 1785 года монастырь наполнили различные совершенно светские учреждения. В громадной галерее, «представлявшей собой верхний этаж монастыря со стороны церкви», поселили шестьдесят инженеров и рисовальщиков, которые под руководством архитектора Вернике должны были снять точный и подробный план города Парижа. Это был громадный труд; сохранившиеся от него гравюры дают о нем лишь слабое представление. Очертания каждой улицы были изображены в масштабе 1 сантиметр на 10 метров. Каждый дом, сады, дворы, пустыри занимали в нем свое место. Церкви и другие общественные здания были изображены во всех подробностях; план одной только старой части города имел *более тридцати футов длины*. Несколько лет назад, роясь на чердаках Карнавале*, я увидел на одном из шкафов кучу

* Музей истории Парижа, основанный в 1886 году в особняке XVI века на одноименной площади.

свертков старой, заплесневелой, истлевшей бумаги. Это были оригиналы дивного плана Вернике, спасенные от огня во время пожара ратуши... но спасенные в виде обрывков и лохмотьев, обгоревших, залитых водой и пожелтевших от дыма. Их нельзя было даже рассмотреть, так как они рассыпались при первом прикосновении к ним.

Кроме рисовальщиков Вернике в монастыре Кордельеров с 1785 года помещался еще, как мы видели, Музей Парижа — большое общество, состоявшее из писателей, ученых и артистов. Члены его делились на четыре класса: 1) действительных членов; 2) членов-сотрудников; 3) членов музея или почетных сотрудников; 4) членов-корреспондентов. Число действительных членов было ограничено шестью десятками; они собирались каждый вторник с пяти до девяти часов вечера в бывшем зале Богословия. Эмблемой этого общества, бывшего родоначальником Института французской истории, был улей, окруженный пчелами, с девизом: *Labor intus et extra* (Труд в своей области и вне ее).

В этом зале, занятом лишь один вечер в неделю Музеем Парижа, все время революции собирался Клуб кордельеров. Старинные описания монастыря точно указывают место, где находился этот зал, на протяжении столетия слышавший догматические прения последователей святого Франциска, а на старости лет внимавший вымученным речам Эбера, Лежандра и «американца» Фурнье. К югу от церковных хоров находилась, как мы уже упоминали, ризница, которая, в свою очередь, лишь одной стеной отделялась от зала капитула. Бок о бок с капитулом в том же корпусе, перпендикулярном церкви, находился знаменитый зал Богословия; дверь его выходила в южный угол монастырского участка, как раз в месте, занятом теперь Медицинской школой, а именно амфитеатром анатомии.

На этом мы вынуждены оборвать наше описание: о внутреннем устройстве зала, о его убранстве, даже о размерах мы ничего не знаем. Очень вероятно, что окна его выходили с одной стороны на двор, с другой — в сад монастыря. С виду это был, вероятно, низкий зал со сводами и стрельчатыми окнами, так как он составлял

часть старинных построек монастыря, которые никогда не переделывали, ограничившись пристройкой к ним в XVII веке более современного здания. Единственное описание этого зала — если только можно назвать так несколько строк, которые мы приводим, — находится в любопытной книге «Замок Тюильри» Русселя д'Эпиналя, которую мы уже цитировали. «Довольно большая часовня, — говорит этот автор, — служила местом собраний Клуба кордельеров; несмотря на то, что она была сильно изуродована, на сводах ее еще сохранились следы религиозной живописи. Этот зал представлял собой овал, усеченный на концах; в нем амфитеатром были расставлены скамьи, над которыми возвышалось нечто вроде трибун. Овал был усечен с одной стороны президентским бюро, а с другой — трибуной оратора. Примерно триста человек разного пола и возраста наполняли это помещение; одеты они были так небрежно и грязно, что их легко можно было принять за сборище нищих. За бюро президента на стене висела доска с Декларацией прав человека, увенчанная двумя скрещенными кинжалами. Гипсовые бюсты Брута и Вильгельма Телля, стоящие по бокам декларации, казалось, должны были служить ей охраной. Напротив, за трибуной, были симметрично расставлены бюсты Мирабо и Гельвеция с бюстом Жан Жака Руссо посередине. Толстые заржавленные цепи, свисавшие фестонами над ними, как бы увенчивали их. Мне говорили, что цепи эти взяты из Бастилии, но, как я узнал потом, их просто купили на складе железного лома».

Общество Друзей прав человека и гражданина организовалось, вероятно, в конце 1790 года. Правда, это лишь гипотеза, так как часто упоминаемый Клуб кордельеров принадлежит к числу тех явлений, о которых много говорят и ничего не знают. Вел ли он отчеты о своих заседаниях? Это неизвестно; во всяком случае, они не сохранились. Документы, касающиеся его, немногочисленны и являются большой редкостью. Все же известно, что клуб имел губительное и несчастное влияние на ход революции. Это был вулкан, всегда находившийся в действии и неустанно извергавший на город лаву кровавых постановлений и мятежных

призывов. Достаточно будет сказать, что в сравнении с кордельерами якобинцы считались реакционерами, хотя некоторые политики были одновременно членами обоих клубов.

Кордельеры первыми, еще в эпоху Вареннского бегства*, восприняли идею республиканского правления, бывшую в то время чистой утопией: по этому поводу они обратились к Собранию со знаменитой декларацией: «Мы опять в том же положении, в каком находились после взятия Бастилии: мы свободны и у нас нет короля. Остается решить, хотим ли мы избрать другого на его место. Мы заклинаем вас во имя любви к отечеству или немедленно объявить, что Франция более не монархия, а республика, или, по крайней мере, выждать, пока все департаменты выскажут свое мнение об этом важном вопросе, прежде чем вторично заковать прекраснейшую в мире страну в цепи монархизма».

Среди членов клуба нашлись даже остряки, не отступившие перед неблагодарной задачей — переделать стихи Вольтера и приспособить их к этому обстоятельству.

Вспомните, что на поле Марса, у этого божественного алтаря,
Людовик клялся быть верным и справедливым**.

Такова была связь между ним и его народом.

Нарушив свою клятву, он освободил нас от нашей.

Если среди французов найдется предатель,

Который пожалеет, что у нас больше нет короля,

И пожелает иметь властелина,

Пусть развеется по ветру его недостойный прах

И пусть имя его пользуется еще большим презрением,

Чем имена тиранов, внушающие омерзение свободному человеку.

Парижане читали эти странные произведения скорее с любопытством, чем с сочувствием; рассказывают даже, что однажды на афише клуба, вывешенной у дверей бывшей церкви Кордельеров, кто-то написал следующее смелое четверостишие:

* Речь идет о задержании в Варенне Людовика XVI и его семьи, пытавшихся в июне 1791 года бежать из Парижа.

** Имеется в виду торжественная клятва Людовика XVI у алтаря Отечества на Марсовом поле 14 июля 1790 года.

Народы, понимайте лучше свою пользу:
Исполненные равной жестокости,
Тираны двух родов угрожают отечеству:
Деспоты и мятежники.

Они действительно были мятежниками, притом самого опасного сорта; доказательством этого может служить хотя бы эта безумная декларация:

«Свободные французы, составляющие Клуб кордельеров, объявляют своим соотечественникам, что в их среде столько же убийц тиранов, сколько членов клуба. Все они единогласно поклялись убивать тиранов, которые посмеют напасть на наши границы или посягнуть на нашу конституцию каким бы то ни было образом.

Лежандр (*президент*). Коллин, Шампион (*секретари*)».

Этот Лежандр, председательствовавший в собрании бесноватых, был удивительным человеком: несколько строк, характеризующих эту мрачную личность, не будут здесь неуместными, так как мясник Лежандр, равно как и сапожник Симон, Марат и Дантон, жил на той же старой улице Кордельеров, в том месте, где она называлась Мясной, так как в этой части ее находились двадцать две мясные лавки.

Этот свирепый террорист, не умевший, если верить Мерсье, даже читать, оставался мясником и на скамьях Конвента. Красноречие его не лишено было известной выдумки; это он за несколько дней до казни короля воскликнул с трибуны кордельеров: «Зарежем эту свинью! Разрубим его на столько частей, сколько у нас департаментов, чтобы послать каждому по куску, а голова останется в Париже и будет висеть на сводах этого зала!» Позже он предлагал отобрать у мясников их скотобойни, чтобы рубить там головы аристократов и богачей. «Что касается меня, — добавил он, — то я с удовольствием распорол бы брюхо какому-нибудь дворянину, богачу, министру или писателю и съел бы его сердце». Впрочем, сам он с первых дней революции покинул свою бойню, чтобы отдаться политике, и, вероятно, лишь из чувства солидарности с бывшими собратьями выказывал себя столь свирепым сторонником резни аристократов. Будучи депутатом, он, впрочем,

продолжал жить в своей квартире на Мясной улице; может быть, ему нравились кровавые ручейки, всегда²³⁰ струившиеся по ней. Лежандр до конца выказал себя любезным и услужливым соседом — умирая, он завещал свое тело Школе хирургии, «чтобы и после смерти быть полезным человечеству».

• • •

Бесспорно, самыми великими днями Клуба кордельеров были дни похорон Марата. При первой же вести об убийстве Париж, изнервничавшийся за три года революции, взволнованный странными обстоятельствами этой драмы, был охвачен одной из тех вспышек безумия, которых насчитывается лишь несколько в его истории. Люди лихорадочно выхватывали друг у друга газеты с описанием подробностей преступления. Комиссионеру Ба, пришедшему в воскресенье вечером в Клуб якобинцев, устроили там торжественный прием; ему аплодировали, обнимали его, носили на руках. Это был маленький, тщедушный человек, в бешенстве кинувшийся на Шарлотту и швырнувший ее на землю. И за то, что он дрался с женщиной, его прославляли, считали необыкновенным человеком, даже героем! Его заставляли подробно описывать этот подвиг и, когда он заканчивал, требовали повторения... Впрочем, он говорил об этом весьма охотно и не заставлял себя упрашивать.

Со своей стороны, Клуб кордельеров испрашивал разрешения поместить в здании, где происходят его заседания, сердце Друга народа. Просьбу эту уважили. Была даже сделана «надбавка», как тогда выражались: один проситель, допущенный к решетке Конвента, предложил, чтобы набальзамированное тело Марата возили по всей Франции, через все департаменты. «Что я говорю? — поправил он сам себя. — Надо, чтобы celý мир видел останки Марата!» Это не показалось преувеличением, но существовало важное препятствие для исполнения этого патриотического пожелания — останки великого человека не перенесли бы этого путешествия.

Вскрытие тела Друга народа произведено было гражданином Дешаном, главным хирургом госпиталя

Милосердия, на другой же день после его смерти, 14 июля, в том же доме, где жил Марат, на первом этаже описанного нами выше здания на улице Кордельеров²³¹. Бальзамирование было произведено немедленно. Но так как живописец Давид проектировал в *античном* духе программу похорон, на которых на передвижной эстраде должно было появиться голое, театрально задрапированное тело трибуна, то набальзамировали лишь нижнюю часть туловища и ноги; хирурги не прикасались к груди и лицу Марата, «так как их надлежало показать его согражданам». Но природа делала свое дело, и от этого плана пришлось отказаться. Стало невозможно даже заканчивать бальзамирование в квартире Марата – так быстро шло разложение. Препарирование сердца и внутренностей происходило ночью в саду Кордельеров, и вокруг хирургов жгли ароматические травы, бросавшие зыбкий свет на эту мрачную картину. Четыре ученика сняли труп с кровати, где он находился, и положили его в свинцовый гроб, не закрывая его. На другой день, 15 июля, останки Друга народа были перенесены в церковь. Пришлось отказаться от плана выставить его у дома, где совершилось убийство, в силу различных причин.

Дело происходило на заре; толпа, стоявшая у дома со вчерашнего дня, устала и разошлась, и улица почти совсем опустела. Под светлым небом, уже заалевшим от первых лучей восходящего солнца, шли ритмическим тяжелым шагом шесть человек — они переносили закрытое простыней тело к церкви монастыря. Для этого снова открыли двери портала на улице Обсерванс, закрытые в течение последних двух лет, — те самые двери, что были украшены статуей Людовика Святого в венце из гербовых лилий со скипетром правосудия в руке. Марата положили в одном из приделов на помосте из досок, в ожидании возведения алтаря, который сооружался специально для этой цели²³². В это время Давид хлопотал об устройстве официальной церемонии. Он приказал выстроить на середине церкви эстраду высотой в сорок футов, украшенную трехцветными обоями. На этот алтарь положили тело, покрытое влажной простыней, которая должна была изобре-

жать мраморные складки античной тоги. Чтобы заглушить запах тления, вокруг катафалка неустанно жгли благовонные курения и поливали его духами. По одну сторону поставили ванну, по другую — положили окровавленную рубашку трибуна. Затем раскрыли двери. Толпа, в продолжение всего дня не перестававшая стекаться на это зрелище, с восхищением глядела на груды книг, сваленные в боковых приделах. Говорили, что это все произведения Марата, и восторгались плодovitостью его ума. А это были книги, перенесенные сюда из монастырской библиотеки в ожидании отправки их в какое-нибудь общественное книгохранилище.

Было решено, что Друг народа будет погребен под скалистым холмом в старинном саду монастыря. Дорога из церкви до могилы была короткая — каких-нибудь сто шагов; но это затруднение преодолели тем, что кортеж пошел кружным путем, так что толпа могла развернуться и рассыпаться по многим пунктам. Церемония началась во вторник 16 июля, часов в шесть вечера. Тело Марата покоилось на особом ступенчатом ложе, которое несли двенадцать человек²³³. Вокруг траурного катафалка шли девушки в белых платьях и юноши с ветвями кипариса в руках. За ними следовал Конвент в полном составе; затем шли городские власти, за ними толпа, разделенная на группы, каждая со знаменем своей секции. Этот огромный кортеж двигался в беспорядке, в котором один снисходительный современник нашел «что-то величественное». Вероятно, это был неопиcуемый хаос. Траурное шествие прошло по улице Кордельеров, по улице Тионвиля (прежде Дофина), перешло Новый мост, проследовало по набережной де ля Феррайль, вернулось через мост Ошанж, поднялось до Французского театра и оттуда вернулось в сад Кордельеров. Когда оно достигло сада, было уже за полночь. Толпа любопытных, теснившаяся в узких улицах, собиравшаяся у дверей, наполнявшая балконы и взобравшаяся даже на крыши, смотрела на это странное погребальное торжество, участники которого распевали на патриотические мотивы революционные песни. Через каждые пять минут на Новом мосту раздавались пушечные выстрелы. Наконец чернь, опьяненная жарой и

пылью, ввалилась в монастырь Кордельеров через двери напротив улицы Готфейль, прошла под бывшим дортуаром служащих, у подножия строгих стен существующей еще и теперь трапезной и проникла в сад, где угасали огни слишком рано зажженной иллюминации.

Скульптор Ж. Ф. Мартен придумал вместо памятника поставить на могиле каменный холм, изображающий кусок гранитной скалы — символ непоколебимой силы Друга народа. Между двумя камнями было проделано отверстие, которое вело в подземелье, закрывавшееся железной решеткой. Над этим живописным входом была временно поставлена урна, в которой лежало сердце того, кто так любил отечество²³⁴. Два других металлических ящика должны были стоять по сторонам гроба: в одном из них хранились почки мученика, в другом — остальные внутренности. По предложению Дюфурни творения неутомимого журналиста также положены были в его могилу. Над холмом, покрывавшим последнее прибежище Марата, стояло нечто вроде четырехугольной пирамиды, увенчанной урной со следующей надписью:

**ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МАРАТ,
ДРУГ НАРОДА, УБИТЫЙ ВРАГАМИ НАРОДА.
13 июля 1793 года²³⁵.**

Вокруг всего памятника посажены были цветы и кустарники: тело опустили у входа в подземелье, и начались нескончаемые речи. В течение всей ночи при свете факелов, укрепленных на ветвях деревьев, «листья которых слегка волновались, отражая и рассеивая мягкий свет», толпа не переставала подходить к саду Кордельеров и дефилировать мимо могилы²³⁶.

Когда все зрители разошлись, в присутствии хирурга Дешана был поднят гроб, временно поставленный у входа в подземелье. К двум часам ночи он был окончательно закрыт, затем его спустили в склеп под памятником и заделали вход камнями. Через день после этого (18 июля) состоялось торжественное перенесение в Клуб кордельеров сердца Марата; двадцать четыре члена Конвента и двенадцать членов Коммуны присутствовали на этой особой церемонии. При этом процес-

сия опять шла кружным путем; на этот раз она проходила через Люксембургский сад. В разных местах были устроены уличные алтари, причем для украшения их каждый приносил все лучшее, что у него было²³⁷.

Урна была подвешена к своду бывшего зала Богословия под аплодисменты всех членов клуба. Сердце Друга народа, которое при жизни оставалось недоступным для всех чувств, кроме ненависти, казалось, заражало своей желчью, злобой и фанатизмом всех членов клуба. В их числе были Венсан, Ронсен, Проли, Дюбюиссон, Перейра, безумный Клоотц — этот немец, бывший, по словам одного панегириста, величайшей личностью Французской революции, Моморо, сделавший из своей жены богиню Разума, а главное, Эбер, ужасный «Папаша Дюшен», мало-помалу занявший первое место в этом удивительном совете²³⁸. Здесь мы не будем ни писать историю Клуба кордельеров как политического кружка, ни изучать влияние, которое он оказал на революцию, но личность Эбера должна на минуту занять наше внимание. Этот монстр обладал очень приятной наружностью: он был прекрасно сложен, и лицо его имело открытое, веселое и приветливое выражение. «Под устрашающей маской его скрывались самая привлекательная наружность и самые изящные манеры»²³⁹.

Деженетт, главный хирург Восточной армии, земляк и друг Эбера, которому он помогал в то трудное время, когда будущий демагог еще только готовился к своему великому будущему и продавал контрамарки у дверей театров, оставил нам превосходную характеристику Эбера как человека. «Я встретил, — пишет он, — на Гревской площади, или, вернее, под арками Сен-Жана своего земляка и почти одноклассника Эбера, который выразил радость по поводу нашей встречи, а также рассказал, как часто он сожалел о том, что меня не было в столице в первые дни революции. “Вы, наверное, сыграли бы выдающуюся роль, — говорил он мне, — но приехали, когда все уже кончилось; я живу довольно близко отсюда на улице Сент-Антуан, напротив переулка того же имени, который выходит на улицу Короля обеих Сицилий. Я занимаю маленькую квартиру на

третьем этаже. Я прекрасно помню вашу постоянную доброту и все, чем я вам обязан; я говорю о деньгах, которые вы мне так великодушно ссужали. Не смею напоминать, да и не могу сосчитать всех денег, что вы так часто платили за меня рестораторам на улицах Паршеминери, Масон и Карусели. Без вас и добрейших Баризо с улицы Нуайе я давно бы умер с голода... Я не могу, милостивый государь, сказать вам точно, в какие часы я бываю дома, хотя почти ежедневно обедаю у себя и был бы счастлив и польщен, если бы вы пожаловали ко мне. Вы можете быть уверены, что во всякое время застанете дома мою жену, так как я женат. Госпожа Эбер — бывшая монахиня обители Зачатия в Сент-Оноре, она молода и чрезвычайно умна. Несмотря на ее горячий патриотизм, она осталась очень набожной, и, так как я нежно люблю ее, то не мешаю ей в этом отношении и ограничиваюсь шутками на этот счет»²⁴⁰.

Деженетт не замедлил явиться по приглашению. Он вошел в чистенькую, со вкусом обставленную квартиру, украшенную прелестными гравюрами. Гражданка Эбер²⁴¹ отдыхала после хлопот по приготовлению обеда: это была мирная, приятная, буржуазная обстановка, представлявшая странный контраст с отвратительными писаниями «*Папаша Дюшена*». Эбер был одним из тех многочисленных революционеров, которых народная шутка давно еще сравнила с редиской: снаружи они красны, а внутри — белы.

Впрочем, всем известно, что Робеспьер быстро положил конец этой комедии: Эбер и его банда были гильотинированы 24 марта (4 жерминаля) 1794 года. Клуб кордельеров впал в большое уныние, и страх подействовал на этих неистовых террористов самым смягчающим образом. 28 вантоза они отправили к якобинцам депутацию, чтобы просить о примирении. Якобинцы ответили надменно, что не желают вступать в сношения с кордельерами, пока те не очистят состав своего клуба. Очиститься для них — значило самоуничтожиться, и *Общество друзей прав человека и гражданина*, вероятно, просуществовало после этих событий недолго. Неизвестно, ни в какое время, ни каким образом оно погибло²⁴².

Старинный монастырь, где заседал этот клуб, ненадолго пережил его. Архитектор Гондуэн, выстроивший Медицинскую школу, страдал при виде того, как высокая постройка церкви заслоняет его любимое творение, и выжидал только удобной минуты, чтобы устроить на этом месте площадь, на которой его колоннада выделялась бы во всей красе. Архитекторы — отчаянные разрушители; чтобы создать обстановку, выгодную для какого-нибудь их произведения, они с радостью уничтожают дивные создания искусства. Старая церковь Кордельеров пала жертвой своей юной соседки; ее разрушили, и Гондуэн торжествовал. Ризница, залы капитула и теологии также были сломаны²⁴³. Уцелели лишь монастырь и трапезная. Эта последняя существует еще и теперь, и ее даже не переделывали. После того как в царствование Карла X ее назвали Мануфактурой мозаики, она в 1840 году превратилась в музей Дюпюитрена. Теперь ее ждет скорая реставрация. Дай бог, чтобы ее не слишком усердно реставрировали!

Что касается монастыря, то судьба его несколько раз круто изменялась. Сначала его превратили в тюрьму. Гондуэн поместил перед ним со стороны выходящей напротив решетки Медицинской школы фонтан в виде гробницы, который позже превратился в портик Клинического госпиталя, помещенного в уцелевших зданиях монастыря. Воспользовались и садом, построив там несколько павильонов для занятий анатомией. Это продолжалось до 1877 года, когда были начаты работы по постройке Практической школы медицины, не пощадившие старого монастыря. Во время его разборки пришли к заключению, что он был построен в XVII веке на фундаменте из очень древних камней, на некоторых сохранились еще следы скульптурных изображений. Без сомнения, они были взяты с развалин первой церкви, сгоревшей в 1580 году. На столбах монастырского двора виднелись еще остатки железных скреп, которые поддерживали дивные решетки, выброшенные на слом в эпоху революции; под церковью нашли несколько гробов, сохранившихся в целости; в числе них были гробы с останками нескольких дворян из семьи де Бульон, погребенных в родовой часовне. Гробы

эти, простоявшие некоторое время в бюро архитектора, были затребованы маркизом Галаром, потомком фамилии де Бульон, который перевез их в замок Видевиль. Если мы упомянем еще о статуэтке Людовика Святого, найденной во время раскопок, которая, вероятно, была зарыта в 1792 или 1793 году, чтобы спасти ее от поругания²⁴⁴, то перечислим все открытия, сделанные во время разрушения монастыря Кордельеров.

Когда на расчищенном участке приступили к сооружению зданий Практической школы, то на новом плане сохранили внешний вид и пропорции старого монастыря. Арки его той же ширины и их столько же; для их постройки воспользовались старыми камнями, обтесав их еще раз. Современный двор Практической школы до высоты второго этажа приблизительно напоминает, по крайней мере с трех сторон, старинный монастырский двор Кордельеров. Толстая стена, разделяющая профессорские лаборатории, является стеной древней церкви, сохраненной ввиду ее толщины и крепости. Из всех остальных построек монастыря кроме трапезной не осталось ничего.

КОНСЬЕРЖЕРИ

1. Тюрьма Дворца правосудия

«Консьерж (сторож) — имя существительное, мужского рода. Человек, охраняющий дом». Так говорит словарь, и он прав: слово «консьерж» происходит от латинского глагола *con-servare* (сохранять). Следовательно, «консьержери» или сторожевая служба есть во всех дворцах, во всех министерствах, во всех гостиницах. И все же — судите сами, как сильно история влияет на воображение народа, — на свете существует лишь один Консьержери. Название это совершенно потеряло свой первоначальный смысл и не вызывает больше у нас в сознании образа честного служаки, наблюдающего из своей каморки за порядком и благополучием дома. Напротив, при этом слове нам представляется грозная тюрьма, зияющая бойницами; на узких окнах ее — тройные решетки, по краям — огромные зубчатые башни. Внутри скрыт лабиринт извилистых лестниц, подземных темниц, темных переходов и смрадных камер. В том выражении, с каким народ Парижа произносит зловещее слово «*Консьержери*», есть что-то, говорящее, что это место ужаса и отчаяния, где все соединилось, чтобы мучить людей... При этом представлении в вас закипает гнев и разгорается ненависть, какую во все времена внушали народу Бастилии и их тюремщики.

У старой тюрьмы Дворца правосудия действительно суровый вид; ее почерневшие стены, узкие слуховые окна, высокие аспидные крыши — все способствует этому. Особенно впечатляет ее стрельчатая дверь, которая, кажется, выросла в землю, закрытая двойной решеткой и совершенно раздавленная громадой возвышающегося над ней здания. Дверь эта такая маленькая, низкая и узкая, что могла бы быть входом в подземелье; она почти совсем незаметна в тени двух соседних с ней башен — Цезаревой и Серебряной.

Я вспоминаю о странном удивлении — я чуть было не сказал «разочаровании», — испытанном зрителями во Французском театре на генеральной репетиции «Термидора» Сарду. Было известно, что последний акт пьесы происходит в Консьержери, и каждый ожидал увидеть традиционную декорацию двух старых башен, встающих черными силуэтами на берегу Сены, мрачных построек с маленькими решетчатыми окнами, никогда не озаряемых солнечным светом и придающих строгий вид набережной Часов...

Занавес поднят... Какая неожиданность! Сцена изображает маленький мощный дворик вполне современной архитектуры, холодной, но отнюдь не зловещей. В глубине виднеются колоннады Дворца правосудия; в одной из арок видна изящная решетка, окаймляющая бульвар у того же дворца. И это Консьержери в эпоху революции? Я знаю людей, которые не могли прийти в себя от изумления.

И все же эта картина совершенно правдива. Большой парадный двор Дворца правосудия, Майский двор, как его называют уже несколько веков, действительно не отличается живописностью. Его правильные очертания, выстроенные в торжественном вкусе, обладают всей необходимой банальностью официозных памятников. Одно лишь громадное крыльцо с его широкой лестницей и изящными фонарями представляет собой внушительное и поистине прекрасное произведение.

Если подняться по ступеням этого крыльца и подойти к низкому карнизу верхней лестницы, увидишь внизу маленький двор, соединенный с Майским дво-

ром посредством арок, закрытых решеткой. Из этого маленького, не имеющего названия двора в эпоху революции входили в Консьержери. Через него вели всех жертв кровавого трибунала; на этих ступеньках стоял палач, пересчитывая свою добычу; к этой решетке подъезжали роковые телеги... Ничто здесь не изменилось²⁴⁵: это те же стены, та же железная решетка, те же перила — тогда они были новыми, а теперь покрыты ржавчиной. Ни одно место в мире не было свидетелем стольких слез; ни один камень не присутствовал при таких потрясающих драмах. Впрочем, место это теперь забыто. Наше время обладает своего рода лицемерной стыдливостью, заставляющей его скрывать свои язвы; тюрьма еще существует и стоит совсем рядом с Дворцом правосудия, но она так замаскирована, так затеряна среди других зданий этого громадного учреждения, что можно обойти во всех направлениях его многочисленные галереи, не догадываясь даже, что под плитами, по которым ступает наша нога, находятся темницы.

Нам хочется попытаться изобразить это зловещее место, теперь сильно преобразившееся, таким, каким оно было в 1793 и 1794 годах. Труд этот можно назвать утомительным и неблагодарным, но он не бесполезен, так как древние строения Консьержери осуждены на гибель и должны уступить свое место новым постройкам. Эту картину много раз изображали, часто мастерски, но искусству при этом всегда отводилось больше места, чем истине. И здесь мы опять будем гордиться, если пышным фрескам, написанным историками или романистами, нам удастся противопоставить простой набросок, все достоинства которого будут заключаться в точности и правдивости каждого его штриха.

После того как «подозрительного» арестовывали в его квартире, агенты комитетов обычно на извозчике привозили его в тюрьму Дворца правосудия. Карета въезжала в Майский двор и останавливалась в нескольких шагах от решетки, замыкавшей маленький низкий двор Консьержери. На большом крыльце дворца почти постоянно, особенно в послеполуденные часы — время, когда телеги приезжали за ежедневной пищей гиль-

отины, — толпилось множество женщин. Казалось, они сидели в театре, дожидаясь любимого представления²⁴⁶. Когда арестованный выходил из кареты, весь амфитеатр вскакивал на ноги и выпускал долгий крик радости. Аплодисменты, топот, конвульсивный смех выражали радость этих фурий при виде новой жертвы. Короткий путь, который несчастный должен был пройти, был все же достаточно длинным, чтобы успеть услышать оскорбления, которыми его со всех сторон осыпали. Они падали на него с высоты этого крыльца и сопровождали до узкого двора, всегда переполненного солдатами, тюремщиками, помощниками палачей, шпионами комитетов, просителями и любопытными.

Тюремщик Ришар с женой и ее подружкой, исполнявшей обязанности кухарки, жили в квартире на антресолях, в которой еще совсем недавно проживал сторож Дворца правосудия. Гражданка Ришар относилась к заключенным предупредительно и гуманно. Она умерла в июле 1796 года, сраженная ударом ножа одного негодяя, отправлявшегося на галеры. Он убил ее в то время, когда она утешала его и передавала ему деньги. Когда она склонилась к нему, чтобы его поцеловать, он всадил ей нож в сердце. Причину такой страшной неблагодарности так и не смогли узнать.

Ришар был дедом прелестной двадцатидвухлетней девушки, «настоящего ангела кротости и красоты»; манеры ее указывали на ее благовоспитанность. Она почти ежедневно по утрам приходила в Консьержери и проводила весь день в канцелярии с дедом, облегчая заключенным долгие часы, которые им приходилось проводить там перед отправкой в суд и после приговора. Говорят, что эта сострадательная девица спасла жизнь старому президенту Ограну. Каждый раз, когда она узнавала, что его хотят взять на суд, она укладывала его в постель и говорила посланцам Фукье-Тенвиля: «Что вам нужно от этого старика? Он не в силах встать и, вероятно, сегодня же умрет», — и поступала так до самой смерти Робеспьера. Кроме того, в течение всего времени, что старец этот сидел в тюрьме, она по утрам приносила ему чашку кофе со сливками. Когда миновал террор, президент Огран, которому было в то вре-

мя 86 лет, как только силы позволяли ему, приходил на часок в комнату Ришара и там рассказывал всем входящим людям о необычайной доброте молодой девушки, спасшей ему жизнь.

Даже кухарка тюремщика и та сыграла известную роль в истории революции. У нее также были свои достоинства, и она прилагала все старания, чтобы своим кулинарным искусством скрасить королеве суровый режим заключения. Она и была той служанкой, которая увидав, что Мария Антуанетта без шляпы и косынки идет через двор, чтобы сесть в телегу, надела ей на голову нитяной чепчик (он был совершенно новым, так как она сама только утром того же дня получила его в подарок), а на плечи накинула белый полотняный платок²⁴⁷.

Мы уже говорили, что существовал всего один вход в тюрьму — тот, что вел через комнату тюремщика Ришара. Все жертвы революционного эшафота проходили через узкие двери этой комнаты, ноги их ступали по плитам, которые еще и теперь составляют ее пол. Сразу у входа в эту комнату направо была дверь в канцелярию, выходящую, как и первая комната, широким окном на маленький двор. Окно это до высоты человеческого роста было заделано камнями. В канцелярию приводили и там записывали новых заключенных, и туда же палач сдавал расписки в получении жертв, которых он увозил. Кресло регистратора, его бюро и ящики с записями занимали большую часть этого помещения; комнатка эта казалась тогда еще меньше, так как ее разделяла пополам решетчатая деревянная перегородка²⁴⁸. Это огороженное пространство называлось «внутренностью канцелярии» и предназначалось для осужденных: там они проводили бесконечные часы, отделяющие приговор от казни. Для них у стены была поставлена деревянная скамья, которую можно было видеть еще несколько лет тому назад. Только что арестованные видели здесь осужденных и даже, если у них хватало мужества, разговаривали с ними.

«В день, когда я прибыл в тюрьму, — вспоминает Беньо, — двое людей ждало прихода палача. С них сняли

верхнее платье, волосы их были распущены, а воротники раскрыты. Лица их не несли отпечатка особенного волнения. Намеренно или нет, но они держали руки в таком положении, в каком должны были быть привязаны, и старались держаться презрительно и гордо. Лежащие на полу матрацы указывали, что они ночевали здесь, уже перенеся пытку этой долгой мучительной ночи. Рядом виднелись остатки их последнего ужина. Платье их было разбросано по комнате, и две свечи, которые они не погасили, озаряли эту картину печальным мерцанием».

Миновав канцелярию и направляясь вглубь тюрьмы, наталкивались на другие двери, потом на третьи и четвертые... Направо оставались две узкие комнаты, таящиеся в самой глубине этого ужасного здания; из них беспрестанно слышались стоны, рыдания, вопли отчаяния; туда тюремщики запирали приговоренных женщин в ожидании казни. Несчастные мучились там около двадцати часов. Одна из этих комнат существует до сих пор: теперь она ограждена двумя толстыми решетками и постоянно освещена газовым рожком, до такой степени в ней темно. Укороченная в высоту часовней, она была обращена в 1793 году в больницу для арестантов. Она выходила левой стороной на женский двор, а правой — на Парижскую улицу, с которой был вход в мужскую половину.

Я знаю одного славного человека, которому доставлю большое огорчение: это сторож-чичероне, которому поручено каждый четверг сопровождать английских туристов, с «Бедкером»* в руках являющихся осматривать Консьержери. Басня, которую он рассказывает им, создана специально для удовлетворения их любопытства, и в то же время она дает возможность избежать щекотливых вопросов. Он с полной уверенностью показывает на весьма небольшом пространстве темницы всех знаменитостей: Андре Шенье, Робеспьера, госпожу Ролан и т. д. Надо иметь большое хладнокровие или недюжинные познания, чтобы заметить,

* Серия популярных путеводителей немецкого издательства «Карл Бедкер».

что его рассказ не опирается ни на какие серьезные данные. Очень мало людей обладают такими познаниями; что же касается хладнокровия, то никто не в силах сохранить его во время осмотра Консьержери; даже в своем современном виде он остается одним из самых волнующих и драматических зрелищ Парижа. И этот честный сторож, вполне уверенный в правдивости своих слов и такой убедительный со своей седой бородой, в темном плаще, со связкой звенящих ключей в руках, пользуется неизбежным волнением своих случайных клиентов, чтобы *разжечь* интерес, который возбуждает даже в самых равнодушных людях эта знаменитая тюрьма, пересказывая им действительно происходившие здесь драмы.

Но у меня хватит смелости, и я скажу: нет, Консьержери нашего времени вовсе не похож на то, чем он был во времена террора. Во-первых, вход в него теперь находится со стороны набережной Часов, и что бы ни говорили историки, даже самые знаменитые, этому входу не более сорока лет. Сто лет назад строения Консьержери были со стороны набережной совершенно скрыты постройками, разраставшимися в изобилии, по мере надобности в них, вокруг старинного дворца Людовика Святого. Благодаря этим изменениям совершенно преобразились три огромных зала, ставшие теперь главной частью здания: *зал Стражи, зал Людовика Святого и зал Парижской улицы*. Впрочем, это изменение не вызывает особых сожалений, так как эти три зала представляют собой один из лучших образцов готической архитектуры во Франции. Зал Людовика Святого, если не превосходит красотой знаменитое «чудо моста Сен-Мишель», то, во всяком случае, не уступает ему. Но, чтобы представить себе, чем были эти залы в 1793 году, надо мысленно изрезать их благородные контуры тысячью перегородок, галерей, ширм; надо вообразить целый улей разросшихся в них камер, беспорядочно теснящихся одна над другой, кишаших узниками, червями и крысами... Кроме того, прежнее *мужское отделение* до того изменилось, что можно сказать, что его больше не существует. И это до такой степени верно, что официальный чичероне Консьер-

жери даже не упоминает о нем. В старину оно состояло из темных строений с узкими окнами, поддерживаемых рядом стрельчатых арок, образующих в нижнем этаже навес для прогулок. По нему можно было обойти вокруг довольно узкого и очень длинного двора, из которого видны были только небо да крыши остроконечных башен Дворца правосудия. В наше время мужское отделение превращено в тюрьму для одиночного заключения с удобными помещениями, широкими коридорами, с обилием воздуха, усовершенствованными галереями для прогулок и камерами, устроенными согласно последнему слову науки; словом, это образцовая тюрьма, чрезвычайно привлекательная, но совсем не живописная.

В общем, от старой тюрьмы уцелел лишь конец галереи, идущей от часовни к Майскому двору и упирающейся на середине пути в толстую стену, преграждающую ей дорогу. Почти нетронутым остался и женский двор; вот все, что сохранилось от знаменитой тюрьмы Консьержери. По мере того как разрушали старые стены, все их предания переселились в этот маленький уголок, поэтому чичероне может с искренним убеждением указывать там столько интересных мест и вызывать столько воспоминаний.

К тому же следует признать, что галерея эта была центром тюрьмы; соседство двора, где собирались женщины, возможность увидеть узниц сквозь решетку и даже разговаривать с ними — вот что привлекало сюда всех заключенных. Кроме того, здесь был вход в тюрьму; здесь постоянно проходили вновь прибывшие, отсюда близка была приемная, сюда вызывали в известные часы тех, кто должен был завтра предстать перед трибуналом, — все это беспрестанно притягивало сюда шумную, лихорадочно возбужденную толпу. Какую картину можно было бы создать, соединив различные описания, рассеянные в рассказах очевидцев!

За канцелярией между двумя существующими до сих пор решетками заключенные могли разговаривать с пришедшими к ним с воли посетителями; это была приемная. Почти всегда узников навещали женщины: они усаживались на скамьи, стоящие вдоль стен, весело

болтали, смеялись и сообщали друг другу новости: лишь очень немногие проливали слезы. Вдруг из глубины канцелярии доносились шаги осужденных на смерть, которые, чтобы подбодрить себя, почти все время пели хором, как безумные. Через узкий просвет иногда можно было разглядеть лежащую на сеннике какую-нибудь страшно бледную женщину с широко раскрытыми, странно неподвижными глазами; ее сторожил жандарм, и она ждала часа своей казни. Жандармы, тюремщики, приставы трибунала беспрестанно сновали мимо, приводя *новичков*, вызывая на допрос, отдавая приказания, крича и ругаясь.

Немного дальше, в сердце тюрьмы, где угол, отрезанный от женского двора, образует своего рода отдельный дворик, отделенный от первого лишь толстой решеткой, можно было увидеть еще более удивительное зрелище. «Этот двор, — говорит Беньо, — был любимым местом нашей прогулки. Мы спускались туда, как только нас выпускали из наших камер. Женщины выходили в тот же час, но не так рано, как мы — туалет имел над ними необоримую власть. Утром они появлялись в кокетливых свободных костюмах, причем все на них было так хорошо прилажено и производило впечатление такой грации и свежести, что никто бы не сказал, глядя на них, что они провели ночь на сеннике, или, что бывало еще чаще, на вонючей соломе. Вообще воспитанные женщины, попавшие в Консьержери, до конца хранили там священный огонь хорошего тона и изящного вкуса. После того как утром они появлялись в свободных костюмах, они удалялись в свои комнаты и в полдень выходили вновь, нарядно одетые и изящно причесанные. Даже манеры у них были не те, что по утрам; в них появлялось что-то более тонкое и значительное; под вечер они опять надевали более свободные туалеты. Я заметил, что почти все женщины, которые только в состоянии были делать это, неизменно трижды в день меняли свои наряды. Прочие заменяли изысканность нарядов всей чистотою, которая только возможна была в этом месте. На женском дворе было одно сокровище — фонтан, дававший вволю воды, — и я каждое утро смотрел, как несчастные, кото-

рые захватили с собой, а, может быть, и имели всего одно платье, толпились вокруг этого фонтана²⁴⁹, стирали, полоскали и сушили. Первый утренний час посвящали они этим заботам, от которых их не могло оторвать ничто, даже смертный приговор. Ричардсон заметил, что забота о платьях и мания собирать свои вещи в пакеты занимали умы женщин столько же, если не больше, чем самые серьезные материи. Я убежден, что в эту эпоху ни одно гулянье Парижа не представляло зрелища таких нарядных женщин, как двор Консьержери. Он походил на цветник, усеянный изысканными цветами, но окаймленный железной решеткой».

«Невозможно вообразить себе подобную жизнь, — говорил позже другой вырвавшийся из Консьержери человек, — и в самом деле, в этом месте, один вид которого на протяжении целого столетия внушал печаль и ужас, тогда царствовало искреннее, неподдельное веселье, способное вызвать недоумение всех психологов. Чему приписать такую аномалию? Презирали они жизнь или устали страдать? Или правда, что ко всему можно привыкнуть, даже к мысли о самой ужасной смерти? Во всяком случае, это поколение до такой степени не походило на наше, что мы не можем разобратся в чувствах, одушевлявших его».

«Если я отношусь довольно хладнокровно, — говорил очевидец, — к минуте, когда расстанусь с жизнью, то обязан этим в первую очередь тому зрелищу, которое ежеминутно вижу здесь; этот дом — преддверие смерти. Мы сжились с ней. Мы ужинаем, шутим с товарищами по несчастью, а роковой приказ лежит у них в кармане. Во время завтрака их вызывают в трибунал; через несколько часов мы узнаем о произнесенном приговоре; они просят передать нам свой привет и уверяют в своем мужестве. Наша жизнь несколько от этого не меняется; она представляет собой смесь ужаса перед тем, что мы видим, и какого-то свирепого веселья; часто мы шутим над самыми страшными вещами и до такой степени, что на днях, например, мы показывали одному вновь прибывшему, каким образом это *делается*, при помощи стула, который нагибали. Да вот и сейчас, в эту самую минуту, кто-то распевает:

Когда они меня гильотинируют,
Мне больше не нужен будет мой нос...»

Эти заключенные, так философски относившиеся к жизни, в социальном отношении делились на два класса: *спящие на соломе и пистольщики* (пистоль — монета в 5 франков). Слова эти говорят сами за себя. Богатые заключенные, по крайней мере такие, которые в состоянии были платить тюремщикам 4 или 5 ливров в сутки, получали одну из камер в нижнем или первом этажах, образующих кольцо вокруг мужского двора. Остальные спали как попало, на соломе, которая очень редко менялась, и занимали нижний этаж, выходящий на тот же двор. Это было ужасно, и рапорт одного тюремного инспектора²⁵⁰ передает незабываемую картину этого отвратительного общего убежища.

«Отчаянию заключенных, — говорит он, — способствует та жестокость, с которой их втискивают в общую камеру, и бесчисленные мучения, испытываемые ими по ночам. Я посетил их в то время, как открывали двери, и не знаю выражения достаточно сильного, чтобы передать чувство ужаса, которое я испытал при виде двадцати шести человек в одной комнате, лежащих на двадцати одном сенном матрасе, дышащих отвратительным воздухом и прикрытых наполовину истлевшими лохмотьями. В другой камере сорок пять человек ютились на десяти скверных кроватях; в третьей — тридцать шесть умирающих теснились на девяти кроватях; в четвертой, самой маленькой, четырнадцать человек не могли разместиться на четырех ящиках; наконец, в пятой, шестой и седьмой комнатах восемьдесят пять несчастных отталкивали друг друга, чтобы получить место на шестнадцати кишущих червями сенниках, и не могли даже найти место, куда преклонить голову. Перед подобным зрелищем я в ужасе отступил и сейчас все еще вздрагиваю, когда вспоминаю о нем. С женщинами обращаются так же: пятьдесят четыре из них принуждены тесниться на девятнадцати сенниках, или же поочередно стоять, чтобы не задохнуться, лежа друг на друге».

«Мышеловка»²⁵¹ была еще ужаснее: это был ряд темных и низких комнат, куда никогда не проникали ни

свет, ни воздух. Спали там на подстилке, превратившейся в навоз; там людей кусали крысы, которые по сточным трубам поднимались из Сены; там дышали зараженным миазмами воздухом. На заре приходили со своими собаками тюремщики и раскрывали двери этой ужасной тюрьмы. Сейчас же заключенные устремлялись по темным переходам; кто шел в мужской двор, кто в маленький треугольный дворик, отделенный решеткой от женского двора, чтобы там хоть немного подышать воздухом и подбодрить себя видом кусочка небесного свода, который скорее угадывался, чем был виден из этих узких ям, где мучилось столько людей.

• • •

Возвращаюсь к решетке женского двора. Из всех предметов, уцелевших от старинного Консьержери, этот, может быть, более всего волнует нас. Решетка эта совсем не изменилась: старая, заржавленная, черная, она скрипит, как тогда, она заставляет вздрагивать, она пугает... Все женщины, вызываемые в трибунал, проходили через эту тяжелую железную дверь: и принцесса Елизавета, и госпожа де Ноайль, и госпожа Ролан, и Сесиль Рено, и столько других... Этих железных прутьев касалось белое платье Люсиль Демулен; за них цеплялась Жанна Дюбарри; у них спокойно и покорно принцесса Монако ждала минуты, когда тюремщик назовет ее имя.

«Кто это такая — принцесса Монако?» — спросят у меня.

Потомство иногда бывает несправедливым. Каким образом имя этой женщины не сделалось известным, хотя она совершила столь трогательные и прекрасные поступки, что они должны были обессмертить ее?

Здесь не может быть разногласия — казнь госпожи де Монако, бесспорно, была преступлением. Она оказалась в числе «подозрительных» лишь благодаря своему происхождению²⁵². Когда ее решили арестовать, она укрылась у одной приятельницы, но подумала, что может скомпрометировать ее, уехала в деревню, затем вернулась в Париж и дала арестовать себя. Когда ей пе-

редали обвинительный акт, она отказалась его читать. На лице ее не отразилось ни малейшего волнения. Она раздала нищим, которым всегда помогала, все оставшиеся у нее деньги, поцеловала свою горничную и, как говорит один из свидетелей этой сцены, «рассталась с нами так, как после долгого пути расстаются со спутниками, общество которых было полезно и приятно».

Она была приговорена к смерти. Известно, что эти приговоры приводились в исполнение немедленно, кроме тех случаев, когда приговоренная могла доказать, что она беременна. Тогда несчастную под надежным конвоем отправляли в госпиталь Революционного трибунала, где ей приходилось дать себя осмотреть докторам; если они признавали, что она действительно беременна, то ей давали отсрочку до разрешения от бремени. Потом ребенка отправляли в воспитательный дом, а мать — на эшафот. И подобные вещи происходили в Париже в самый разгар XVIII века, который так гордился своей чувствительностью и своей философией!

Принцесса Монако объявила себя беременной и была отправлена в специальный госпиталь Революционного трибунала, который помещался в здании архиепископства²⁵³. Больных принимали туда лишь по письменному приказу общественного обвинителя, выдававшегося им на основании заключения врачей. Больные стекались туда из различных тюрем Парижа, главным образом из Консьержери; если состояние их здоровья не позволяло им перенести утомительный переезд, их доставляли на носилках, снабженных ремнями и парусиновой крышей²⁵⁴. В таких носилках принесли туда расстриженного капуцина Шабо, члена Конвента, скомпрометированного в деле Индийской компании*; его доставили в архиепископство после неудачного покушения на самоубийство и оттуда отправили на эшафот.

Строения, отведенные больным, состояли из нескольких залов, названия которых частично дошли до

* Афера, затеянная депутатами Шабо и Делоне в целях наживы и разоблаченная летом 1793 года.

нас: мы знаем, что там были *нижние залы* и *чесоточный зал*, *третий зал*, *большой зал второго этажа*, *зал Республики*, *шестой зал*, *второй женский зал* и, наконец, *зал Равенства* или *Монтаньяров*. Некоторые из этих названий могут служить нам указанием, — за неимением ни плана, ни более полных описаний, — что больница занимала несколько этажей. Ванная комната была устроена в маленькой церкви Сен-Дени дю Па.

Бенье в своих «*Воспоминаниях*» оставил нам яркое описание того, чем были парижские тюремные больницы во времена террора. В Национальной больнице обращение с больными было не лучше. Оборудовали ее наспех; чтобы кое-как добыть необходимые инструменты, конфисковали аптеку, находившуюся в доме бывших «серых монахинь» святого Лазаря и других подобных учреждениях. Три врача, Нори, Баяр и Терн, навещали там больных два раза в день; гражданин Кинке исполнял обязанности аптекаря, а экономами были сначала Рай, а затем Фай.

Беспреданно следовавшие один за другим аресты до такой степени увеличили население больницы, что она была так же переполнена, как и парижские тюрьмы. Кроме того, больные заключенные по-прежнему находились в распоряжении Фукье-Тенвиля, то есть были очень близки к эшафоту. Их существование там, без сомнения, было еще более тягостным, чем в Плесси или Бурбе; дисциплина здесь была очень строгой — до такой степени строгой, что грубость сторожа-тюремщика Тарсильи вызвала даже вспышку возмущения. 6 жерминаля, ночью, он в сопровождении писца и ключника делал обход всех залов и спрашивал у заключенных их имена и фамилии, равно как и имена их жен и детей, а также адреса. На возражения он отвечал так, как может говорить лишь пьяный, что заставило многих заговорить с ним таким же тоном и потребовать, чтобы он дал им покой, необходимый больным²⁵⁵. Другие кричали, что книга тюремщика — это «проскрипционный список», пытались вырвать ее у него и зачеркнуть свои имена и имена своих жен²⁵⁶. Испуганный тюремщик стал звать на помощь: прибежал один из докторов,

Баяр, которому «мерами кротости»²⁵⁷ удалось восстановить порядок.

Таково было место, куда доставили принцессу Монако после ее заявления о беременности. Ее заключили в женский зал²⁵⁸, где она провела всего одну ночь²⁵⁹ и на другой же день написала общественному обвинителю: «Извещаю вас, гражданин, что я не беременна. Я хотела сказать вам это, но, потеряв надежду на ваш приход, сообщаю это письменно. Не из страха и не из желания избежать смерти запятнала я себя этой ложью, но лишь для того, чтобы прожить один лишний день и иметь возможность самой остричь свои волосы, а не доверить это руке палача. Это единственное наследство, которое я могу оставить своим детям, и надо, чтобы они получили его незапятнанным.

Шуазель-Стенвиль-Жозеф-Гримальди-Монако — иностранная принцесса, умирающая от несправедливости французских судей».

Письмо было адресовано: «Гражданину Фукье-Тенвилю (*очень спешно*)».

Принцесса употребила отсрочку, купленную ценой ее героической лжи, на то, чтобы кусочком стекла обрезать себе волосы. Она сделала из них пакетик и присоединила к нему два письма. Одно — гувернантке своих дочерей, другое — самим дочерям, ставшим впоследствии госпожой де Лувуа и госпожой де ля Тур дю Пен.

Письма так и не дошли по адресу. Их нашли в бумагах Фукье-Тенвиля, где они находятся и теперь. Она пишет гувернантке, оставляя ей на память один локон: «Пусть Луиза знает, какая причина заставила меня отдалить мою смерть, и не заподозрит меня в слабости». А детям она говорит:

«Дети мои, вот мои волосы, но мне хотелось самой отрезать эти бранные останки, чтобы дать их вам; я не хотела, чтобы это было сделано рукой палача, а для этого у меня было одно только средство; я лишний день провела в агонии, но не жалуюсь на это. Я прошу, чтобы волосы мои сохранялись в стеклянном сосуде, покрытом черным крепом, пусть они всегда будут спрятаны, и лишь три-четыре раза в год открывайте их

в своей комнате, чтобы взглянуть на останки вашей несчастной матери, которая умерла, любя вас».

Исполнив этот последний долг, она была готова встретить смерть. Ей не пришлось долго ждать – уже был отдан приказ о казни. До конца она была великолепна в своей неустрашимости, но, желая показать народу пример героической смерти, она все же боялась, как бы человеческая слабость по дороге не выдала ее, и нарумянила щеки, чтобы скрыть возможную бледность лица.

Если письма были найдены в бюро Фукье-Тенвиля, то волосы доставили по адресу. Каким образом? Потомки принцессы Монако до сих пор этого не знают, но прекрасно помнят, что видели их. Граф Фортюне де Шарбильон, внук маркизы де ля Тур дю Пен, сохранил эти волосы, священную реликвию, которую его бабушка, верная завету своей матери, показывала своим детям.

Это была прекрасная коса, заплетенная самой мученицей, и ее сохраняли неприкосновенной, завернутой в ту самую бумагу, в которую ее завернули, чтобы доставить из тюрьмы маркизе, тогда совсем еще маленькой девочке²⁶⁰. Реликвия эта еще и теперь хранится в семье Шарбильонов.

2. Темница королевы

Это главная приманка современной тюрьмы. По мере того как углубляешься в темный лабиринт переходов Консьержери, слыша за собой шум дверей, закрывающихся тройными запорами, и лязг спускающихся решеток, все более и более чувствуешь себя подавленным этой громадой; сознаешь, что она кишит людьми – снующими взад и вперед тюремщиками и заключенными, которых ведут на допрос. В то же время кругом не слышится ни единого звука.

Спускаешься по ступеням, скитаешься по коридорам, минуешь двери с решетками и, наконец, достигаешь самых недр тюрьмы. Здесь в темном углу едва видна маленькая, очень низкая дверь, проделанная в

другой, более высокой. Сторож раскрывает эту маленькую дверь и, указывая на только что отодвинутые им засовы, из которых самый узкий толщиной с руку, говорит соответствующим тоном: «Дверь темницы Марии Антуанетты».

Это всегда производит впечатление: слышится ропот ужаса: все женщины вздрагивают, мужчины обнажают головы. Затем, нагибаясь, чтобы пройти сквозь низкие двери, посетители друг за другом входят в это помещение. Комната производит действительно зловещее впечатление. Окно так глубоко и так загорожено решетками, что сюда едва проникает свет; низкие сырые своды, голые стены, кирпичный пол, алтарь из черного с белым мрамора, в глубине две картины. Вот все, что можно увидеть с первого взгляда. Мало-помалу общество собирается вокруг чичероне, и он начинает свой рассказ: здесь стояла кровать, там ширмы, отделявшие узницу от соседней комнаты, которую теперь уже не показывают и где тогда находились жандармы. В перегородке прежде было проделано широкое отверстие, теперь оно заделано камнями. Вот распятие — неизвестно, кто просунул его королеве через железные прутья оконной решетки... и сторож указывает на несколько перекладин, которые были распилены с этой целью. Картины чрезвычайно трогательного содержания; на одной из них Мария Антуанетта стоит на коленях перед алтарем, на котором горят восковые свечи. Священник в кружевном стихаре и вышитой рясе, обернувшись к ней, держит чашу и возносит Святые Дары. Оба жандарма также стоят на коленях, с руками, прижатыми к сердцу, и устремленными к небу глазами — они готовятся к причастию. Это изображение якобы происшедшего на этом самом месте.

Однако это совершенная ложь, что легко доказать. Никогда еще место, освященное трагическими воспоминаниями, не было так глупо осквернено, как темница Марии Антуанетты: ее *отделали* архитекторы времен Реставрации. Они перестроили стены, заделали наглухо ту перегородку, где было отверстие, и сняли другую; увеличили окно под вымышленным предлогом, что хотят ярче осветить это помещение. Таким об-

разом, ни минуты нельзя сомневаться в том, что оконная решетка здесь не та, что была в 1793 году. Это окно украсили даже чем-то вроде витража — стеклышек в виде ромбов мертвенно-синего и ядовито-желтого цветов, производящих очень неприятное впечатление.

Что же касается двери, этой знаменитой двери, нарочно сделанной такой низкой, чтобы заставить королеву склонить голову перед ее тюремщиками, то эта зловещая дверь со всеми своими замками и запорами подделана, как и все остальное здесь. Так как темница Марии Антуанетты состояла из двух комнат — той, которую мы только что описали, и соседней, где помещались жандармы, — то очевидно, что вход в обе комнаты должен был быть со стороны комнаты жандармов. Отверстия, проделанного теперь в этой стене, тогда не было, и если кто-то непременно желает верить, что это именно та дверь, которой касалось платье идущей на эшафот королевы, то надо предположить, что ее перенесли сюда из соседней комнаты во время переделки, когда заделали нишу, соединявшую обе комнаты. Лично я думаю, что это просто одна из четырех дверей, через которые надо было пройти, чтобы попасть из Майского двора во внутреннюю часть Консьержери. Вероятно, ее перенесли сюда во время перестройки канцелярии. В общем, от знаменитой темницы королевы не осталось ничего, кроме разве что старинного пола, сделанного из поставленных ребром кирпичей.

К тому же неизвестно даже, действительно ли здесь была темница, где сидела Мария Антуанетта. В этом позволительно усомниться, так как это утверждает одно только предание, которое опровергается многими документами. Счета по устройству помещения для королевы, опубликованные Кампардоном, указывают, что Мария Антуанетта, переведенная из Тампля в Консьержери 2 августа, лишь 11 сентября заняла свое последнее помещение в тюрьме. До этого времени ей была отведена другая комната, «Зал Совета»²⁶¹. Новая камера, где она должна была провести последние тридцать пять дней своей жизни, раньше служила помещением тюремной аптеки²⁶². В комнате этой было два окна, одно из которых выходило на женский двор, другое —

на больницу. «Первое из них заделали до пятого поперечного переплета железными листами, остальную часть окна забрали железной сеткой из очень мелких колец; другое окно совершенно заделали, равно как и третье маленькое окно, выходящее в коридор»²⁶³.

Этот документ, достоверность которого не подлежит сомнению, к тому же вполне совпадает с воспоминаниями свидетеля Беньо, который, пробыв некоторое время в больнице, перешел «в комнату, называвшуюся *Маленькой аптекой*. Комната эта предназначалась для заключения одной высокопоставленной дамы. Поэтому она была устроена иначе, чем другие; двойные двери ее толщиной в 5 дюймов были окованы железом и снабжены тремя огромными замками. Из двух окон, раньше освещавших ее, одно было теперь герметически закупорено, а другое почти заделано; но зато она была оклеена обоями, на которых пестрели эмблемы и слова *Свобода, Равенство, Права человека, Конституция*».

Несколькими строками ниже Беньо сообщает, что любимым местом прогулки его и его товарищей по камере был коридор и что они спускались туда, лишь только их выпускали из камер. Таким образом, он, как будто между прочим, дает нам указание, что *Маленькая аптека* располагалась не на первом этаже. Где же она помещалась? «Около больницы, — говорит упомянутый нами рапорт, — и одно из окон ее выходило туда». Постараемся найти эту больницу. «Это, конечно, самый ужасный из всех существующих госпиталей, — говорит тот же Беньо. — Его помещение шириной в 25 футов и длиной в 100 футов с двух сторон оканчивается железными решетками, а потолок составляют крутые своды. Построено оно из тесаного камня, пол состоит из громадных плит; в общем, вся эта постройка выполнена так грубо и безыскусно, что кажется высеченной в скале. Копоть от угля и от ламп покрыла ее стены черным налетом. Свет проникает туда лишь из двух косых, очень узких окошек, проделанных в дуге свода, так что вся она напоминает ад, как его изображают в Опере... От сорока до пятидесяти скверных кроватей составляют обстановку коридора...»

Этот *коридор*, запертый с двух сторон решетками и соприкасавшийся с Маленькой аптекой, одно окно которой выходило в этот «ад», а другое — на женский двор, был, как мне кажется, не чем иным, как частью самого прохода. Невозможно предположить, чтобы больница помещалась где-нибудь в другом месте. Во-первых, коридор совершенно подходит к описанию Беньо, так как вымощен плитами и над ним — своды; он мог двумя косыми, проделанными в дуге свода окнами выходить на мужской двор. Кроме того, «лестница, ведущая в какой-то из залов дворца, проделана в одной из стен больницы». Мы находим эту лестницу на указанном месте на старинных планах Дворца правосудия. Вероятно, как мы увидим дальше, именно по ней поднялась королева, когда шла на суд Революционного трибунала²⁶⁴.

Это сопоставление текстов и показаний покажется, вероятно, пустым занятием. Может быть, оно действительно заслуживало бы такого мнения, если бы не оправдывалось одним важным результатом. Согласовать топографию данного места с различными описаниями разыгравшихся там событий, на мой взгляд, является интересным, полным неожиданностей трудом. Исследуя разные подробности, приходишь к заключению, что достойны внимания лишь рассказы очевидцев, тогда как прекрасные истории, сложенные впоследствии, всегда грешат теми или иными неточностями. Верный план является в наших глазах лучшим доказательством правдивости любого повествования.

Выражаясь кратко, мы должны сказать, что темница Марии Антуанетты находилась на том самом месте, где ее теперь показывают, но несколько не походила на то, что представляет собой теперь. Это была довольно большая комната с мощеным каменным полом и двумя находящимися друг против друга окнами. Одно из них выходило на женский двор, другое, которое заделали, находилось как раз в том месте, где в настоящее время стоит знаменитая дверь с крепкими запорами. Если эта дверь действительно вела в темницу королевы, то она помещалась у входа в современную ванную комнату, составлявшую половину темницы королевы; имен-

но эту часть ее занимали сторожившие ее жандармы. Простые ширмы отделяли их от узницы.

Какова была жизнь несчастной, запертой в этом погребе женщины, которая никогда не оставалась одна, за которой всегда следили шпионы? Как провела она время с 11 сентября по 16 октября 1793 года? Несмотря на большое количество описаний жизни этой пленницы, на этот вопрос ответить очень трудно. В 1793 году у королевы не оставалось больше друзей. Конечно, она внушала сожаление своим тюремщикам, сторожу, двум или трем приставленным к ней женщинам; но, за исключением божественных безумцев Ружвиля и де Батца*, которые делали невероятные усилия, чтобы вырвать ее из рук палачей, ни у кого не хватало мужества компрометировать себя для того, чтобы скрасить последние дни жизни несчастной. Но вдруг начиная с 1814 года, через двадцать один год после ее смерти, открыли, что она до конца была окружена преданными слугами, готовыми умереть за нее. Тюремщик Ришар сознался, что потерял свое место из-за того, что желал спасти ее; сменивший его Боль вдруг вспомнил о том, как он заботился о своей узнице; жена Боля была провидением несчастной королевы; дочь Боля стала ее ангелом-хранителем. Тогда открылось, что жандармов оклеветали, что они были исполнены внимания к своей пленнице; тюремщики плакали от умиления при воспоминании о своей собственной преданности. Один говорил: «Я наполнял ее камеру цветами»; другой: «Я ходил на рынок за фруктами для ее десерта». «Я достал для нее туалетное зеркало, которое ей хотелось иметь!» — кричал третий... Словом, внезапно открылось столько трогательной заботы о ней, что позволительно изумиться, каким образом королеве, окруженной такими фанатически преданными слугами, пришлось все-таки взойти на эшафот.

Дело в том, что в 1814 году на французов дождем посыпались пенсии и красные орденские ленточки. Что-

* Речь идет о двух неудачных попытках роялистов спасти королеву, выкрав ее из тюрьмы. Одна из них описана в книге Ж. Ленотра «Барон де Батц».

бы получить их, стоило только доказать, что человек не трусил и оставался верным правому делу, и тот, кто в разгар террора бросал оскорбление в лицо скованной женщины, хвастался во времена Реставрации, что он был заступником несчастных и провидением для угнетенных.

Этот поток чувствительных воспоминаний мало-помалу попал в разряд достоверных рассказов и совершенно исказил истину. Жизнь Марии Антуанетты в Консьержери была, вероятно, не такой приятной, какой могла, если бы ее действительно окружали столь преданные ей люди, но и не такой ужасной, какой ее часто представляют. Само собой разумеется, что здесь идет речь лишь о физической ее жизни. Королева вставала в шесть часов; ее горничной или, вернее, служанкой была восьмидесятилетняя старуха по имени *матушка Ляривьер*, сын которой служил в Консьержери ключником. Через несколько дней матушку Ляривьер сменила служанка помоложе, госпожа Баррель, муж которой служил в бюро тайной полиции.

Марии Антуанетте подавали на завтрак кофе или шоколад и маленький хлебец. Обед ее состоял из супа, вареного мяса, овощного блюда, какой-нибудь птицы и десерта. На жаркое чаще всего подавалась утка, любимое кушанье королевы; иногда вместо жаркого давали паштет. В среднем обед этот обходился франков в 15²⁶⁵. Надо сказать, что вся провизия была хорошего качества и старательно приготовлена. «Все, что вы мне подаете к столу, превосходно», — часто говорила узница Ришару, выражая ему свою благодарность. Ужин состоял, по всей вероятности, из того, что оставалось от обеда. Известно, что Мария Антуанетта никогда не пила ничего, кроме воды, и утверждают, что до конца ей доставляли чудную воду из Вилль-д'Авре, которая так ей нравилась.

Утро ее проходило в устройстве своего туалета; королева до последних дней жизни сохранила известную кокетливость. Когда она покинула свою комнату, то в ней нашли «коробку пудры, лебяжью пуховку и жестяную коробку с помадой»²⁶⁶. Гардероб ее вовсе не был таким жалким, как хотят уверить нас некоторые рассказ-

чики. В состав его, между прочим, входили: «пятнадцать рубашек тонкого полотна, отделанных богатыми кружевами; накидка из дорогой ткани, два полных свободных туалета из той же материи, кофточка с воротником, юбка из индийской кисеи с широкими полосами, две кисейные юбки в мелкую полоску, пять корсажей тонкого полотна, платье с лифом из бумажной материи, двадцать восемь батистовых носовых платков, пара новых башмаков и две пары старых»²⁶⁷ и т. д.

Чтобы заполнить чем-нибудь свои дни, королева читала: в числе книг ей давали «*Английскую революцию*» и «*Путешествие молодого Анахарсиса*». Иногда, прислонившись к спинке стула, она мечтала, машинально следя взором за бесконечными партиями пикета, в который играли ее жандармы. Они никогда не оставляли узницу: звали их Дюфрен и Жильбер. Это была настоящая пытка; постоянное наблюдение, ежеминутное шпионство, жизнь с находящимися рядом, в той же комнате, двумя мужчинами — вот что делало существование королевы невыносимым. Но неужели же они никогда никуда не уходили? В это невозможно поверить; вероятно, в известные часы они по очереди удалялись, так как я не нашел доказательств, чтобы они ели тут же, у своей узницы: но достоверно, что по крайней мере один всегда был при ней. Им даже дали под конец помощника, чиновника по имени Бюна, который, по всей вероятности, должен был замещать того из жандармов, который выходил подышать воздухом, поесть или еще куда-нибудь. Что же касается Марии Антуанетты, то она никуда не выходила из своей темницы; туда с первого же дня поставили необходимое кресло за ширмой, служившее ей *уборной*, чтобы у нее не было никакого предлога выходить в галереи тюрьмы²⁶⁸.

Несмотря на этот постоянный надзор, несколькими людям удалось проникнуть в камеру королевы. Говорили, что посланник одного иностранного монарха имел с ней довольно долгое свидание. Одна англичанка, госпожа Аткинс, также хвасталась, что ей посчастливилось увидеть в Консьержери дочь Марии Терезии, во всяком случае, Ружвиль сумел хитростью проникнуть в тюрьму и обменяться несколькими словами с пленни-

цей. Мужества на такой же поступок хватило еще у нескольких человек... Здесь мы вернемся к содержанию одной из картин, украшающих в наше время эту камеру, то есть к «*Причастию Марии Антуанетты*».

Этот факт много раз оспаривали, подтверждали, изобличали и снова оспаривали, и сознаюсь, что, когда я прочел все, что писалось по этому поводу, у меня в душе осталось бы большое сомнение, если бы факта этого не подтверждало бесспорное доказательство — о нем неоднократно сообщал один уважаемый священник, служивший в одной из главных приходских церквей Парижа.

Вот краткое изложение обстоятельств этого таинственного происшествия. Аббат Маньен, бывший профессор маленькой семинарии в Отене, с начала революции жил в Париже²⁶⁹. В 1793 году священники, объявленные вне закона, вынуждены были скрываться. Аббат Маньен нашел себе надежный приют в доме вдовы Фуше, перекупщицы, на улице Сен-Мартен близ церкви Сен-Мери. У этой вдовы были две дочери, такие же набожные, как и она сама; звали их Тереза Виктуар и Мари Мадлен Фуше. Они прилагали все старания, чтобы помогать религиозным трудам аббата Маньена, который, ухитряясь исполнять обязанности священника, причащал верующих, посещал больных, утешал, наставлял и трудился во славу церкви. Кроме часовни Английских дам, стоявшей на высокой террасе на улице Фоссе-Сен-Виктор, где непрерывно во все время террора шли богослужения, аббат Маньен позже указал одному своему другу дом на улице Капуцинов, где он часто служил обедню в комнате, расположенной над квартирой, где в то время жил демагог Бабёф*.

Опасность, казалось, лишь увеличивала рвение аббата Маньена; чтобы обезопасить себя во время исполнения церковных треб, он появлялся на улицах в одежде тряпичника. Под мышкой он нес мешок, в котором спрятаны были его облачение и предметы, необходимые для совершения богослужения; под предлогом

* Имеется в виду Гракх Бабёф, будущий организатор и вождь «Заговора равных» 1796 года.

продажи старья он входил в различные дома, где его ожидали верующие. Имя, под которым он скрывался, было «господин Шарль».

Каким образом Мадлен Фуше удалось проникнуть в Консьержери и ввести *господина Шарля* к королеве? Она рассказывала, что, часто навещая заключенных, познакомилась с тюремщиком Ришаром; она умоляла его впустить ее в темницу королевы, и Ришар согласился. Это первая несообразность: ведь Ришар состоял там на службе и, дорожа своим местом, должен был тщательно избегать всего, что могло бы его скомпрометировать. И еще — как могла внушить королеве доверие незнакомка, явившаяся к ней от своего имени, без рекомендации, без поручительства? Пленница, в течение столь долгого времени окруженная кознями, без сомнения, должна была всюду подозревать ловушки, и такое посещение при данных условиях должно было показаться ей очень подозрительным. Но предположим, что мы неправы.

Священник, приведенный девицей Фуше, в свою очередь проник в тюрьму. После нескольких посещений, из которых одно продолжалось более полутора часов, аббат Маньен выразил желание доставить королеве утешение, отслужив обедню в самой ее темнице. Тем временем Ришар был отставлен после «дела с гвоздикой», и пришлось добиться от Боля, нового тюремщика, такой же снисходительности, какую выказывал его предшественник!.. Девике Фуше необычайно везло: Боль нисколько не воспротивился этим планам, не сделал даже ни одного возражения. Здесь уже неправдоподобность рассказа переходит за пределы допустимого. Боль был настолько любезен, что доставил подсвечники для украшения алтаря; в назначенный день аббат Маньен принес облачение, сделанное из простой тафты, — говорят, что оно было красное с белым, — серебряную чашу, скатерть, чтобы покрыть стол, служивший алтарем, маленький трепник, два сосуда и две свечи!

Тогда-то и произошла эта трогательная сцена, изображенная на одной из картин, помещенных ныне в камере королевы: священник стоит в полном облачении, а два жандарма, стоящие на коленях с поднятыми к не-

бу глазами, причащаются вместе с королевой и девицей Фуше. Это вымысел, не выдерживающий критики; но все же ввиду того, что мы можем предложить вместо этого ложного рассказа лишь гипотезу, нам нужно сначала доказать, что он не заслуживает ни малейшего доверия.

Во-первых, я с самого начала отнес его к числу исторических вымыслов уже потому, что оба жандарма названы там неверными именами. Действительно, в доказательство этого странного события обычно приводят показание, подписанное в 1825 году Леду де Жене, бывшим королевским швейцаром, притом *эмигрантом*, в котором говорится, что жандармы эти были Фердинанд де Ла Марш из коммуны Бриенн и Прюдом из коммуны Шаванже департамента Об и что оба они приговорены были к смертной казни за то, что допустили священника к пленнице, охрана которой была им поручена.

Все это — чистая выдумка. Во-первых, достоверно известно, что жандармы, сторожившие Марию Антуанетту, были все время одни и те же, звали их Жильбер и Дюфрен, и ни один из них не погиб на революционном эшафоте. Во-вторых, в списке лиц, призванных к суду трибунала, не встречается имен ни Ла Марша, ни Прюдома, и все это происшествие является выдуманным от начала до конца.

Мне с сожалением приходится признаться, что, на мой взгляд, рассказ девицы Фуше был написан с единственной целью — привлечь внимание королевской семьи. В повествовании этом, рассказанном деланным слогом, преисполненным аффектированной сентиментальности, нигде не встречаешь тех точных подробностей, тех правдивых мелочей, которые придают живость и составляют ценность автобиографических воспоминаний. Автор все время выражается с осторожной неопределенностью. Как исторический документ, рассказ этот ничего собой не представляет и не заслуживает ни малейшего доверия. Заметим все же, что девице Фуше удалось довести до сведения герцогини Ангюлемской, жившей тогда в изгнании в Курляндии, свою преданность, и дочь Марии Антуанетты *выразила ей*

свою благодарность способом, который нетрудно угадать. Что же касается аббата Маньена, то он держался в тени до эпохи Конкордата*; лишь в это время получил он назначение священника в приходе Сен-Рош, где прослужил четырнадцать лет. Во время Реставрации герцогиня Ангулемская, желая, чтобы в Тюильри служил священник, который принес ее матери последнее утешение, выхлопотала для аббата Маньена приход Сен-Жермен л'Оксерруа, к которому принадлежал дворец. Это знаменательно, но еще больше значения имеет тот факт, что аббат Маньен, достигнув такого высокого положения, которое может удовлетворить самого честолюбивого человека, и будучи в том возрасте, когда желаний больше не существует, узнал, что некоторые писатели отрицают факт причащения королевы. Во время одного большого церковного праздника он поднялся на кафедру и перед целой толпой верующих подтвердил, что причащение это действительно состоялось, но не рассказал никаких подробностей.

Очевидно, это истинная правда: нельзя сомневаться в том, что верные роялисты, скрывавшиеся в Париже до 16 октября, поддерживали с августейшей пленницей сношения, оставшиеся неразгаданными. При их содействии аббат Маньен проник в Консьержери. По всей вероятности, он прошел туда в костюме национального гвардейца, под платьем пронес причастие, за несколько минут совершил освящение Даров и причастил королеву. Какую роль сыграла в этом происшествии девица Фуше? Может быть, роль простой посредницы. Что же касается обедни, отслуженной по всем правилам, и причащения жандармов, то это сказка. К тому же факт этот остается великим, даже если откинуть всю мишуру. Его лишь портят, украшая различными бездоказательными подробностями, которые послужили поводом для прочувствованных статей, написанных с единственной целью, доставить авторам их знаки королевской благодарности.

* Договор между Наполеоном и папой Пием VII, заключенный в Фонтенбло 25 января 1813 года и восстановивший права католической церкви во Франции.

3. У Фукье-Тенвиля

Революционный трибунал заседал в том зале Дворца правосудия, который был Большой палатой парламента и где Людовик XIV в высоких сапогах и с хлыстом в руке провозгласил свою самодержавную власть, произнеся знаменитую фразу: «Государство — это я!»

В сущности, это первый зал гражданского отделения; но в наше время в него входят прямо из зала Потерянных шагов, а до перестройки, произведенной в течение последнего столетия, чтобы попасть в него, приходилось пройти через овальную прихожую, куда вела дверь из зала Потерянных шагов²⁷⁰, который тогда назывался Прокурорским. Дверь эта находилась как раз напротив крыльца, спускающегося в галерею Мерсер. В этом вестибюле, выходящем во двор, где в настоящее время устроен вход в Консьержери, налево находилась высокая дверь в Большую палату. Палата эта была выстроена Людовиком Святым и переделана в царствование Людовика XII. В последний раз отделка ее производилась в 1722 году по рисункам Бюффана: потолок был украшен дубовым набором, а по краям окантован раскрашенным и позолоченным навесом. По этому образцу в наше время совершается отделка всех приемных залов.

Странная вещь: немногие гравюры революционной эпохи, представляющие старинную Большую палату, преобразованную в зал заседаний трибунала, изображают ее совершенно неотделанной, без всяких украшений, без обоев, без малейших следов скульптуры; вероятно, что и здесь, как это было в Тюильри, сочли за лучшее уничтожить всё, сохранившееся от прежних времен. Зрителю, находившемуся в местах для публики в глубине зала, этот зал представлялся большой комнатой, длина которой немного превосходила ширину и которая выходила четырьмя окнами направо во двор²⁷¹. У пустой стены, за судьями, стояли три бюста — Брута, Марата и Лепелетье. Под ними, между двумя кинкетами (настенными керосиновыми лампами), висели скрижали закона. Под этой эмблемой на эстраде, возвышавшейся на одну ступеньку над паркетом зала, стоял

длинный стол, за которым сидел президент вместе с четырьмя судьями. Перед ним стояло стильное бюро, бронзовые золоченые ножки которого изображали грифонов. Налево уступами размещались скамьи, предназначенные для подсудимых; здесь стояло нечто вроде железного кресла, называемого *лавочкой* или *горшком*, для несчастных, которым предстояла казнь. У подножия этих скамей помещались защитники, а напротив, под окнами, стояли в два ряда кресла и столы присяжных. Высокая балюстрада отделяла судей от мест, отведенных публике.

Вот все подробности, которые нам удалось узнать при всех наших попытках воссоздать зал Революционного трибунала. Кто бы мог поверить, что не имеется ни одного удовлетворительного описания этой знаменитой комнаты и что мы принуждены довольствоваться сведениями, почерпнутыми из довольно фантастических гравюр того времени?

Здесь, в этом зале, названном, как бы в насмешку, залом Свободы, судили Марию Антуанетту, жирондистов, госпожу Ролан; но известно, что позже трибунал был удвоен и в другом зале, названном залом Равенства, предстали перед судом Дантон, Шарлотта Корде, Эбер. Где находился этот зал Равенства? Говорят, что окна его выходили на набережную Часов; сохранилось даже предание, будто громовой голос Дантона долетал до Нового моста и был слышен толпе, собравшейся на набережной²⁷². Но это лишь смутное указание, которое не совпадает со старинными планами Дворца правосудия.

Мы не можем в точности указать ни способа, каким обвиняемые доставлялись в суд, ни того пути, каким они следовали из тюрьмы в судилище. Еще и теперь существует узкая и темная винтовая лестница, начинающаяся в нижнем этаже, в зале Стражи Консьержери, и ведущая в первую комнату гражданского отделения, где она оканчивается маленькой потайной дверью. Ее зовут *Лестницей королевы*, и говорят, что именно по ней сюда привели Марию Антуанетту из ее темницы и по ней увели ее после приговора. Это возможно, хотя и неправдоподобно, так как, чтобы из камеры королевы

подойти к этой лестнице, надо было перейти Парижскую улицу и зал Стражи, то есть *Мышеловку*, и отдельные *спящих на соломе*, представлявшие собой неудобный для прохода лабиринт темниц и камер. Но, конечно, не все заключенные шли по одному и тому же пути. Эстамп Дюплесси-Берто, изображающий двадцать одного депутата Жиронды, выходящих из Революционного трибунала, достаточно известен: на нем мы видим, как приговоренные проходят через зал Потерянных шагов и направляются к галерее Мерсьер. Следовательно, их отвели в Консьержери, где они должны были провести свою последнюю ночь, не по Лестнице королевы, а по какой-то другой лестнице. По какой же именно? Вся эта часть дворца представляла тогда, как и теперь, такой лабиринт переходов, маленьких дворишков, винтовых лестниц, потайных ходов, что в них совершенно невозможно разобраться. К тому же разве можно предположить, что осужденных ежедневно подвергали случайностям длинного перехода по открытым для публики галереям дворца, всегда наполненным возбужденной толпой?

Другую версию сообщает нам аббат Соломон, который вспоминает, что, когда его вели на суд трибунала, он *стускался* по узкой и темной лестнице и шел по длинному подземному переходу, соединявшему тюрьму со зданием самого дворца. Повторим, что разобраться в этом невозможно, и я не думаю, чтобы можно было отыскать в записках той эпохи хотя бы одно слово, достаточно точное, чтобы дать любопытным указание на топографию Революционного трибунала и относящихся к нему учреждений²⁷³.

Этих последних, впрочем, было очень немного. В четырех комнатах и нескольких кабинетах, окна которых выходили на мужской двор Консьержери, а двери — в зал Потерянных шагов, помещались все бюро этого скорого и неправого судилища. Узкая галерея, окружающая еще и теперь зал, где заседал трибунал, соединяла эти бюро с маленькой квартирой, расположенной в башне Цезаря и Серебряной башне. Там жил Фукье-Тенвиль, оттуда он выходил каждое утро, с неизменной точностью, одетый в свой костюм общественного об-

винителя, то есть черный фрак с медалью на трехцветной ленте и шляпу с поднятыми боками во вкусе Генриха IV с султаном из черных перьев над широкой трехцветной кокардой. Вечером он выходил из зала заседания, до такой степени утомленный своей страшной обязанностью, что у него хватало сил лишь добраться до кровати, которую он приказал поставить в своем кабинете, в первом этаже одной из двух башен.

Постараемся дать правдивый портрет этого человека, бывшего в течение двух лет жильцом Дворца правосудия, — этой мрачной и отталкивающей личности, которую всегда рисовали слишком сгущенными красками, излишне драматизируя ее, так как никто не подумал, что в простом и интимном освещении она предстанет еще более ужасной.

Опишем сначала его наружность. Это был высокий плотный человек с круглой головой, очень черными волосами и полным рябым лицом. Когда он смотрел пристально, под его взглядом опускали глаза. Когда он говорил, то морщил лоб и хмурил брови, бывшие еще чернее, чем это требуется в мелодрамах. Голос у него был громкий и повелительный. В 1793 году ему исполнилось сорок семь лет, так как он родился в 1746 году в Геруэле близ Сен-Кантена. Его отец, земледelec, вряд ли был так богат, как потом утверждали. Когда Фукье изменил на дворянский лад свою фамилию, по тогдашнему обычаю превратив ее в Фукье *де Тенвиль*, и приехал в Париж, чтобы закончить образование, его доходы были более чем скромными. «Признаюсь вам, — писал он матери, — я бы от всего сердца желал иметь какие-нибудь средства для существования... Этой зимой я не смогу обойтись без рубашек²⁷⁴, домашнего костюма и сюртука»²⁷⁵.

Все же с грехом пополам он окончил образование и 26 января 1774 года купил себе место прокурора при суде, то есть то, что мы называем теперь местом *поверенного первой инстанции*. Почти тотчас же он женился на одной из своих двоюродных сестер, Женевьеве Доротее Согюйе. «Супруги, — говорит свадебный акт, — получили отпущение грехов и приготовились к таинству брака свершением таинств исповеди и причащения».

Говорят, брак этот был не из счастливых, но тем не менее в течение четырех лет Доротея Согюйе подарила мужу четырех детей. В 1782 году она умерла в скромной квартирке, которую они занимали на улице Бурбон-Вильнев: ей было двадцать восемь лет. Что предпринял Фукье-Тенвиль, когда овдовел? Это неизвестно: в 1782 году он продал свою должность прокурора за 30 тысяч франков, на которые, вероятно, и жил в течение десяти последующих лет, так как остался без дела, могущего доставлять ему средства к жизни. Почти ежегодно он менял квартиры. После смерти жены он покинул квартиру на улице Бурбон-Вильнев и в 1785 году жил в Сент-Антуанском предместье; в 1786-м — на улице Вьель дю Тампль; в 1788-м — на улице Сен-Круа де Ла Бретонери; в 1789-м — на улице Буртибур; в 1791-м — на улице Шартр; в 1792-м — на улице Сент-Оноре напротив церкви Зачатия²⁷⁶.

Во время этих непрерывных переселений он вторично женился. Неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах он вступил в брак с девицей Жерар д'Акур, дочерью земледельца из Сен-Доменга. На портрете, уцелевшем до сих пор, она изображена «некрасивой, но милой и кроткой, со смышленным выражением глаз и умным высоким лбом».

Любила ли она Фукье? Конечно да, если верить стихам, которые она посвятила ему однажды, в День святого Антония, на его именины. Когда вспомнишь о трагической роли, сыгранной тем, кому предназначалось это наивное произведение, написанное на мотив: «*Отчего я не бокал?*» — оно производит впечатление странного контраста:

Если бы, желая увенчать тебя,
У меня бы спросили,
В какой день твои именины
И когда надо их праздновать,
Я знаю, чтобы я ответила:
Моя любовь к Антуану
Так велика всегда,
Что не может стать больше в этот день.
Чтобы знать, когда твои именины,
Мне не надо искать в календаре —
Я не беспокоюсь о том,
Что могу забыть этот день.

По календарю твои именины
Бывают лишь один раз в году,
Но мое сердце семь раз в неделю
Празднует их.
Что ты хочешь, дорогой Антуан,
Чтобы я подарила тебе сегодня?
Если бы у меня был венец,
Я бы отдала его тебе;
Но я в большом затруднении,
Так как у меня ничего нет,
А подарить тебе любящее сердце
Означает дарить то, что уже принадлежит тебе.

На мотив: «Я — *Линдора*»:

Сегодня Флора увенчала твою главу,
Сердце твое всегда украшено добродетелями;
И если бы был день, посвященный заслугам,
То у Антуана были бы еще одни именины.

Наконец настало 10 августа; как все люди без определенных занятий — а к ним можно причислить и Фукье-Тенвиля, проживавшего в Париже без состояния и без дела, — бывший прокурор обрадовался перевороту, благодаря которому он мог многое выиграть, ничего не рискуя потерять. Как только он узнал, что его земляк и родственник Камилл Демулен получил видное назначение в министерстве юстиции, он написал ему просьбу о месте. Ему не пришлось долго ждать ответа; через пять дней он был назначен директором жюри обвинения при трибунале, учрежденном законом 17 августа 1792 года. 1 сентября он приступил к исполнению своих обязанностей и сразу обнаружил суровость, усугубившуюся в дальнейшем.

Здесь мы возвращаемся к нашей теме. Лишь только Фукье-Тенвиль был назначен публичным обвинителем, он поселился в квартире, расположенной над квартирой, занимаемой комендантом Консьержери. Больше четырнадцати месяцев Фукье-Тенвиль прожил там, целиком отдавшись своему ужасному делу; он выходил из дворца только для того, чтобы в важных случаях договориться со своими хозяевами из Комитета общественного спасения или когда ему приходилось делать обход тюрем, чтобы запастись достаточным количеством жертв для эшафота. Изредка он уходил обедать к

каким-нибудь пользовавшимся его доверием приятелям; но к ночи возвращался во дворец и снова принимался за свое дело. Запоздавшие прохожие, спешившие по набережной Часов, видели на втором этаже Серебряной башни узкое освещенное окно, вырисовывающееся сияющим прямоугольником на темном фоне здания. Они опускали глаза и спешно проходили мимо — все знали, что там работал Фукье-Тенвиль, составляя обвинительные акты. В соседней комнате секретарь делал с них копии, по числу присяжных. Зловещая судебная машина работала, таким образом, денно и нощно, чтобы не терять ни одной минуты.

Фукье, «как бык под ярмом сгибавшийся под бременем своих обязанностей», без усталости трудился над своим ужасным делом. Он спал в своем кабинете в Серебряной башне, и его вспыльчивый, злой, грозный характер внушал ненависть даже тюремщикам. Робер Вольф, регистратор трибунала, рассказывал, что после издания Прериальского закона* Фукье, завтракая с несколькими присяжными, хладнокровно высчитывал, ковыряя в зубах, число жертв, которые должны *«отправиться туда»*. «Надо, чтобы это дело пошло, — говорил он. — Для этой декады требуется не менее четырехсот голов, а для следующей — четыреста пятьдесят». По его расчету, нужно было казнить в среднем пятьдесят-шестьдесят человек в день.

Этот Вольф, занимавший место, благодаря которому он мог все видеть, был честным человеком, и мы можем верить ему. Он оставался всегда умеренным, спокойным, хладнокровно исполняющим свой долг; убеждения его были самые крайние, но искренние. Мне выпала удача во время моей охоты за вещами и людьми времен революции встретиться с внучатым племянником этого секретаря Фукье-Тенвиля. Вольф до глубокой старости сохранил свои убеждения и свои воспоминания — и какие воспоминания! Этот человек, изображенный на миниатюре, хранящейся у его потомков, спокойным, элегантным и холодным, видел

* Закон от 22 прериала (10 июня 1794 года), ускоряющий и упрощающий судебную процедуру.

вблизи весь ужас революционной драмы. Он жил бок о бок с Фукье, он присутствовал при ежедневной отправке телег с осужденными; его голос, читавший обвинения или называвший имена, леденил ужасом несчастных, предаваемых палачам... Состарившись, он ничего не рассказывал. Иногда к нему приходили старики, бывшие заключенные, которым он тогда оказывал услуги и, может быть, спас от смерти. И они, спустя пятьдесят лет после пережитой опасности, все еще питали к нему благодарность.

Во время процесса, начатого против публичного обвинителя, показания Вольфа были одними из самых тяжелых. Он просто рассказал с негодованием честного служаки о скандалах, свидетелем которых был. Он говорил об обвиняемых, которых судили всего несколько минут и, не выслушав их возражений, отправляли на казнь, говорил о равнодушии Фукье-Тенвиля, отпускаявшего шутки, затыкавшего рот подсудимым и записывавшего их показания на полях обвинительных актов...

Но ведь для этого-то его и назначили. Удивительно ли, что этот человек, привыкший требовать смерти, стал хладнокровно относиться к своему ужасному ремеслу? Не в этом ли состоит страшное, неотвратимое зло человеческого правосудия? Фукье произносил смертный приговор так же хладнокровно, как в наше время председатель суда определяет месяцы тюремного заключения! Преступление его заключается в том, что он в точности исполнял возложенную на него обязанность, так как от человека, занимавшегося таким ремеслом, смешно было бы ожидать чувствительности и мягкосердечия. Проработав весь день для того, чтобы получить известное количество голов, убедившись, что телеги отправлены, выслушав от вернувшихся *оттуда* приставов, что все прошло без осложнений, после того как двери Консьержери запирались до следующего дня, Фукье уходил из дворца и шел обедать к своим друзьям. Многих возмущает такое душевное спокойствие... Уж не хотят ли они, чтобы по вечерам он запирался у себя и оплакивал своих жертв? Нет, отвратительным преступлением был сам режим террора, а Фукье-Тенвиль был лишь его покорным орудием.

ем, таким же, каким был Сансон, — хотя лично я предпочитаю палача.

Итак, публичный обвинитель, окончив свою работу, уходил в известные дни отдыхать и обедать с друзьями; конечно, обеды эти не были теми оргиями, какими их описывают. Два раза в неделю бывал он на улице Серпент, в доме 6, у некоего Деме, называвшего себя юристом и жившего во втором этаже со своей любовницей, девицей Мартен; в другие дни он ходил через Красный мост в один ресторан, где в хорошую погоду ужинал, сидя в беседке. Всю свою важность он охотно оставлял в трибунале и на этих интимных собраниях являлся веселым собеседником и любезным товарищем. Но я думаю, что все же иногда сотрапезникам его не было ни весело, ни приятно: слишком много призраков реяло над их столом, слишком много мрачных мыслей должно было отягчать их головы и сковывать их разговоры. Один из участников этих обедов рассказывает, что, когда однажды он около полуночи возвращался во дворец с Фуке, тот остановился посередине Нового моста, почувствовал головокружение и, смотря на реку, несколько раз громко повторил: «Она красная! Какая она красная!»

Известно, каков был конец этого рокового человека: настал его черед, и его потащили на тот эшафот, которому он так долго доставлял пищу. По дороге он слышал насмешки и оскорбления громадной толпы народа — той самой толпы, которая в течение трех лет освистывала побежденных. Он оставался спокойным и непроницаемым. Ему пришлось перенести ужасающую пытку: он видел, как скатились в корзину головы пятнадцати его соучастников. Он взшел на платформу последним, и как только его казнили, палач показал его голову толпе, как это было принято делать с важными преступниками.

• • •

Помимо развязки драмы революции, мы интересовались печальной судьбой второстепенных личностей, близких людей Марата, Робеспьера и Дантона. Скажем также несколько слов о том, что случилось с теми, кому

Фукье-Тенвиль оставил в наследство одно лишь проклятое и внушающее ужас имя.

Г-н Жорж Лекок, написавший о публичном обвинителе интересную брошюру, говорит в ней лишь о вдове его и *одной дочери*; а ведь у Фукье-Тенвиля от двух его жен было шестеро детей, из которых пятеро были живы в 1795 году. Все они скрылись. Куда и каким образом? Это неизвестно²⁷⁷.

Лишь в 1812 году стало возможно узнать кое-что о госпоже Фукье. Она жила в то время на улице Шабане, в доме 9. Дочь ее, Генриетта, получила в Бурже скромное место в лавке, затем вступила компаньонкой в торговое предприятие, вышла замуж и не была счастлива. Умерла она как-то таинственно... возможно, что это было самоубийство.

Прошло несколько лет, и, наконец, после стольких несчастий, после столь бурно прошедшей жизни для госпожи Фукье наступил час вечного покоя. Но перед ним ей пришлось пережить еще много испытаний: одиночество, нищету, голод. Это было в конце 1826 года. Она обратилась с просьбой о помощи к семье мужа; там было несколько родственников, которые могли бы помочь ей. Один из братьев ее мужа, Кантен-Фукье, мог сделать для нее очень мало: он был стариком семидесяти двух лет, калекой после несчастного случая и вынужден был, за неимением средств к жизни, исполнять скромные обязанности секретаря в мэрии Сен-Кантена. Но у него было доброе сердце, и он взялся быть посредником между госпожой Фукье²⁷⁸ и своими родственниками, а именно:

1) вдовой, госпожой Фукье-Вовилье, ее сыном, сахарным фабрикантом в Дюри, и ее зятем Модюи, мировым судьей;

2) господином Фукье д'Эруэлем.

Все вместе они прислали ей 200 франков, но эта скромная сумма очень скоро была истрачена. И после 1827 года она пишет письмо за письмом господам Фукье д'Эруэлю и Кантен-Фукье. Она напоминает им, что муж не оставил ей денег даже на покупку фунта хлеба. «У меня, — пишет она, — есть только рента в 400 франков, но и она досталась мне не от мужа. Лишь трудом я

поддерживала свое существование. Здоровье мое не позволяет мне больше работать; я постоянно больна, и у меня нет даже самого необходимого. Вот в каком я нахожусь положении». Родственники ответили, что обсудят это, и ничего больше ей не послали.

К ней явилась лишь смерть. 27 ноября 1827 года госпожа Генриетта Жанна Жерар д'Окур, вдова Антуана Кантена-Фукье-Тревиля, скончалась в своей скромной квартире на улице Шабоне. Ни один родственник не явился для получения наследства или для того, чтобы купить что-нибудь на память на аукционе, произведенном в пользу казны. 28 марта 1828 года в государственном складе на улице Сен-Жермен л'Оксерруа оценщик предлагал тому, кто даст больше, купить не только скромную мебель госпожи Фукье-Тенвиль, но и ее портрет, ковчежец с мощами и прелестный образ Богоматери, который — как это ни странно — все время, пока длился террор, висел на стене в комнате публичного обвинителя. Продавались также записки, написанные им в свое оправдание, письма, различные вещи, данные ему на память родными, и даже прядь волос, которую Фукье, перед тем как взойти на эшафот, послал своей жене!

За все это на аукционе было выручено 332 франка и 20 сантимов²⁷⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Дом в Аррасе, в котором жил Робеспьер, не был тем, где он родился. Отец Максимильена часто менял место жительства. В 1758-м (год рождения Максимильена) он жил в приходе Мадлен, в 1762-м (год рождения Огюстена) в приходе Сент-Этьен: метрические свидетельства других детей показывают, что он жил также в приходах Сен-Жери и Сент-Обер. Максимильен был еще непостояннее своего отца. По возвращении из Парижа в 1781 году он жил сначала на улице Со-мон, а в 1783 году поселился у своей тетки, жены доктора дю Рю, на улице Тринитер. В 1786 году он жил на улице Коллеж и лишь в 1787 году снял для себя и своей сестры Шарлотты дом на улице Рапортер, наследственную собственность семейства Фетель. Эти указания даны г-ном Барбье из Арраса.

² Этот носильщик, некто Лантилет, славился по всему Аррасу ловкостью, с которой он вытаскивал из колодца утонувшие ведра.

³ Парижский дилижанс отходил из Арраса по вечерам. В нем было десять мест, билет стоил 35 ливров и 10 су.

⁴ По крайней мере, такое утверждение находим мы у г-на М. Пари, в его замечательном труде о Жозефе Лебоне. Давая некоторые подробности о семействе Робеспьера, он считает датой бракосочетания отца трибуна Максимильена Бартоломе Франсуа 3 января 1758 года. А Робеспьер родился 6 мая того же года. Следует прибавить, что М. Гамель, восторженный панегирист Робеспьера, обходит молчанием дату бракосочетания родителей своего героя. Он ограничивается замечанием, что родители будущей матери Неподкупного Жаклин Маргариты Каро были сначала против ее брака и согласились на него лишь поневоле и что несколько месяцев спустя родился Максимильен.

⁵ На самом деле, фамилия Робеспьера, кажется, ирландского происхождения: вначале она писалась Роберт Спиер и уже затем Робеспьер.

⁶ Автограф этого труда сохранился до сих пор в библиотеке Меца.

⁷ Я видел на чердаке лица Людовика Великого большую старую доску, служившую когда-то столом в одном из классов, на которой среди сотни вырезанных ножом ученических имен можно прочесть имя Робеспьера.

⁸ Всем этим его снабдила, если верить легенде, сохранившейся в Аррасе, госпожа Маршан, подруга Шарлотты Робеспьер.

⁹ Теперешняя улица Дюплесси.

¹⁰ Улица Дюфо проложена была через бывший монастырь Зачатия, занимавший все пространство между улицами Камбон, Сент-Оноре и Рояль.

¹¹ Опубликование этого контракта вызвало между Викторьеном Сарду и Гамелем чисто топографической спор относительно распределения помещений в бывшем доме Дюпле. Сарду, лично изучив документы, хранящиеся в архивах, и бумаги господина Вори, теперешнего собственника этой недвижимости, восстановил с неоспоримой точностью историю дома Робеспьера. Местоположение его не изме-

нялось, и он был лишь надстроен в 1816 году. Мы признаем правильными планы, приложенные к этой работе, и считаем, что эта часть истории Парижа в дни революции установлена точно и не может возбуждать сомнений.

¹² У г-на Гамеля есть ее портрет, показанный на исторической выставке «Французская революция» в 1889 году.

¹³ Если мы приводим этот отрывок из «Воспоминаний» мадемуазель Гемери, то это не значит, что мы вполне доверяем ей. В отношении многих событий рассказ ее носит совершенно фантастический характер. Ни Шарлотта Корде, ни Мария Антуанетта не проезжали по Луврской набережной, следуя на эшафот. Мы все же не сочли нужным выпустить этот отрывок, бросающий довольно интересный свет на нравы той эпохи.

¹⁴ Экс-депутаты Учредительного собрания не могли быть избранными в Законодательное собрание: Робеспьер был назначен общественным обвинителем и покинул этот пост в апреле 1791 года.

¹⁵ Она была из той семьи де Шалабр, которая в течение сотни лет содержала один из главных игорных домов Парижа.

¹⁶ Этот любопытный документ принадлежит в настоящее время господину Бенжамену Филону, собравшему очень солидную коллекцию бумаг Робеспьера.

¹⁷ Донесение Куртуа Конвенту.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Это Г. обозначает некоего Герина, бывшего, по слухам, шпионом на жалованье у Робеспьера.

²⁰ Саладен, донесение № 46. С. 214.

²¹ См.: *Сарду В.* Дом Робеспьера. Изд. Оллендорфа.

²² В доме 40 на улице Сент-Оноре. Эта булочная поставляла хлеб к императорскому столу при Наполеоне III. Что же касается лестницы, ведущей в комнаты Робеспьера, то ее не уничтожили, а лишь переместили. В настоящее время она находится в одном деревенском доме в окрестностях Парижа.

²³ Они были арестованы лишь спустя недели две после 9 термидора (регистр полицейской префектуры). Две другие сестры были в то время в Бельгии.

²⁴ В тюрьме Сент-Пелажи заключенные, услышав звуки набата днем 9 термидора, подумали о пожаре. Потом они поняли, что произошло важное событие, когда услышали, как тюремщик по имени Симон крикнул своей собаке: «Ложись, Робеспьер!» «Через несколько минут, — говорит «Тюремный альманах», — привели все семейство Дюпле. Один из заключенных воскликнул: «Представляю вам Ганимеда Робеспьера и его первого министра!» От них сейчас же узнали обо всех подробностях падения тирана... Удовольствовались лишь тем, что наносили им незначительные оскорбления, так как в них нуждались, чтобы узнать все подробности востания. 11 термидора распространился слух, что жена Дюпле ночью повесилась. Объявил об этом один гражданин, который сказал: «Граждане, объявляю вам, что вдовствующая королева совершила несколько неосторожный поступок». — «Что такое? Что случилось?» — воскликнули отец и сын Дюпле, не понимая, что он хотел этим сказать. «Граждане! — пояснил тот. —

Сегодня для Франции — день великого траура. У нас нет больше принцесс».

²⁵ Улица Комартен, дом 3. До этого Сен-Жюст жил в гостинице Соединенных Штатов на улице Гальон.

²⁶ Противоречия эти произошли оттого, что поэт-историк не позаботился о том, чтобы согласовать с частью работы, просмотренной Леба, главы, написанные до этого полезного сотрудничества. Например, Филипп Леба непременно восстал бы против того параграфа, в котором Ламартин рассказывает, что Дюпле умер на эшафоте в один день с Робеспьером. Дюпле, как мы увидим, умер лишь в 1820 году. Точно так же он опроверг бы утверждение, будто Робеспьер вошел в дом Дюпле «в первый же день Учредительного собрания», то есть летом 1789 года. Достоверно известно, что депутат Арраса познакомился со столоярм лишь 17 июля 1791 года.

²⁷ Я долго думал, что могло внушить Ламартину это нескромное и необъяснимое предположение. Говорят, что Сен-Жюст любил Анриетту Леба, сестру своего коллеги, но не пользовался взаимностью. В одном из писем, написанных Леба из Эльзаса своей молодой жене, встречается следующая фраза: «Сен-Жюст шлет тебе свой привет, *он надеется, что ты перестанешь сердиться на него*». В чем заключалась причина гнева госпожи Леба? Позднее, в 1794 году, когда оба молодых человека встретились в Северной армии, в письмах Леба к жене вновь попадаются довольно загадочные слова: «Мы теперь стали добрыми друзьями, Сен-Жюст и я; между нами не было речи *ни о чем*». И еще: «Мое положение не из приятных: *домашние неприятности* присоединились к неизбежным огорчениям, связанным с моим назначением... *Но пусть я стану несчастнейшим из людей*, лишь бы Республика победила! У меня не было с Сен-Жюстом никакого разговора о моих или его семейных привязанностях. Только с тобой я могу говорить обо всем, *так мало на свете друзей*. Мой привет всей семье, Генриетте. *Известный тебе человек неизменен*». Конечно, можно на основании этих отрывков сделать некоторые заключения в духе Ламартина, но это было бы несправедливо и неуместно.

²⁸ Процесс Бабёфа.

²⁹ Национальный архив. О. 1672.

³⁰ Национальный архив. О. 1681.

³¹ Там же.

³² Там же.

³³ Национальный архив. К. 528.

³⁴ Вот как приблизительно — так как это описание появляется здесь впервые — были распределены королевские апартаменты в 1790—1792 годах. Войдя в замок со двора Карусели, вы попадете в галерею центрального павильона, называвшегося «павильоном Часов». Направо шла большая лестница. На первой площадке (на высоте антресолей) находилась часовня; затем лестница разделялась на две и вела в большой вестибюль (ставший потом залом Маршалов), занимавший весь первый этаж центрального павильона. Направляясь к павильону Флоры, попадали в большие апартаменты — зал Швейцарцев, зал Круглого окна (прихожую, названную так по аналогии с прихожей Версаля), комнату Кровати — или Балдахина, кабинет ко-

роля или зал Совета и галерею Дианы. Все эти залы выходили окнами во двор, кроме двух первых, окна которых выходили и в сад, и во двор. На южном конце галереи Дианы была дверь, выходившая на лестницу павильона Флоры. Этим путем пришла толпа 20 июня 1792 года.

Чтобы попасть в личные апартаменты королевской семьи, надо было подняться по «Лестнице королевы» — туда вела дверь в углу двора, близ павильона Флоры. Поднявшись по нескольким ступенькам в нижний этаж, подходили к двери апартаментов королевы. Они помещались направо и выходили в сад. Сначала шла прихожая, служившая хранилищем; за ней бильярдная зала, приемный покой королевы, спальня — кровать ее помещалась в своеобразном алькове, образованном четырьмя толстыми колоннами, пустыми внутри; «в каждой из них могло спрятаться по человеку». Затем шла уборная королевы, потом кабинет архива, затем коридорчик, выходивший окном в сад. Напротив этого окна имелась стеклянная перегородка, закрытая с внутренней стороны кисейными занавесками, скрывававшими темную комнату, где помещалась слесарная мастерская короля. За ней следовали комната отдыха короля и крошечная комнатка, служившая ему будуаром. Вся эта анфилада апартаментов заканчивалась длинным темным коридором, вход в который находился рядом с «Лестницей королевы».

Вернемся на «Лестницу королевы» и поднимемся на второй этаж, чтобы осмотреть апартаменты короля, расположенные над апартаментами королевы и также выходящие окнами в сад. Они состояли из первой комнаты, служившей прихожей, комнаты, где помещались прислужницы принцессы, спальни принцессы, спальни дофина, комнаты, где на самом деле спал король, парадной спальни, где происходил «прием во время одевания короля», и кабинета-библиотеки. Одна лишь стена разделяла кровати Людовика XVI и дофина, причем в этой стене было окошечко, чтобы король, не вставая с постели, мог видеть, что делается у его сына. В этой же стене был сделан *железный шкаф*. Он помещался в темном деревянном кабинетике в глубине алькова. В другом соответствовавшем ему кабинетике помещалось судно. Несколько узких лестниц служили сообщением между покоями короля и королевы. Слуги жили на антресолях как в первом, так и во втором этажах.

Повторяю, это описание, может быть, и не вполне верно в деталях. Оно имеет, по крайней мере, то достоинство, что соответствует всем рассказам о 20 июня, 10 августа и т. п., а также удивительному повествованию П. Ж. А. Д. Е. (*Руссель Д'Этиналь*. Замок Тюильри), ставшему для меня неоценимой подмогой в моем труде.

³⁵ Национальный архив. К. 528.

³⁶ Национальный архив. О. 1674.

³⁷ Членами комиссии были знаменитый доктор Гильотен, герцог д'Эгильон, Сенье Ле Кольбер, епископ Родосский, Ля Пуль, Ги д'Арси и Лепелетье де Сен-Фаржо.

³⁸ Те, что были в зале Генеральных штатов, в Версале.

³⁹ Монитор. 1789. Октябрь.

⁴⁰ Национальный архив. О. 1681.

⁴¹ Национальный архив. О. 1681.

⁴² Доклад, поданный Национальному собранию господином де Вилемоттом, королевским конюшим.

⁴³ Ему все же предоставили квартиру, которую он занимал в Манеже, и он сохранил ее за собой до 1793 года.

⁴⁴ Название этого монашеского ордена произошло от слова *carus*, означавшего остроконечный капюшон, какой носили эти монахи.

⁴⁵ Это имя происходит от аббатства Фельян в епископстве Рие, где находилось первое отделение ордена. В самом Париже в 1790 году ордену принадлежало два монастыря.

⁴⁶ Церковь Фельянов была украшена картинами, мрамором, бронзовыми решетками, и в ней находилась серия интересных надгробных памятников, под которыми были похоронены благодетели ордена; в числе самых пышных из этих саркофагов были памятник Жанне де Роган, умершей в 1706 году, и памятник семейству Фелипо. Памятник Гийому де Монтолону сторожили две статуи белого мрамора, изображавшие Религию и Осторожность. Мавзолей маршала де Марильяка представлял собой бронзовую Минерву, прислоненную к белой мраморной пирамиде. В одной из часовен, находившейся в боковых галереях, можно было любоваться картиной Симона Вуэ, считавшейся шедевром этого художника, а внутри церкви, напротив кафедры, находилась гробница Генриха Лотарингского, графа д'Аркура, мраморные группы которой изображали Время, побежденное Бессмертием.

Кроме того, ризница монастыря славилась богатством реликвий и всевозможных украшений. Примечательны были также монастырская гостиная; монастырь, украшенный драгоценными витражами начала XVIII века работы Мишу и Семпи по рисункам фламандца Эли; трапезная с большими картинами Ресту, изображавшими истории Эсфири и Агасфера; и, наконец, библиотека, состоявшая из 24 тысяч томов. Последним зданием, пристроенным к этому громадному монастырю, была постройка, сооруженная в 1782 году на улице Сент-Оноре. Этот корпус, предназначенный для сдачи внаем, — единственное, что сохранилось от монастыря Фельянов до нашего времени.

Монастырь Капуцинов, хотя и более древний и принадлежавший ордену большего значения, был устроен гораздо проще. Церковь его, построенная в XVII веке, не заключала в себе никаких сокровищ, кроме нескольких картин и гробницы отца Анжа де Жуайеза, бывшего одновременно капуцином и маршалом Франции — совмещение, очень смешившее Генриха IV. Монахи этого ордена занимались в основном изучением греческого и древнееврейского языков; их библиотека была знаменита на всю Францию. Она занимала галерею длиной 100 футов и шириной 22 фута; в этом зале стояла модель церкви Гроба Господня в Иерусалиме из жемчужного перламутра, присланная турками г-ну де Верженну, бывшему послу в Константинополе, и принесенная им в дар капуцинам. Тут же были два замечательной работы глобуса, земной и небесный, сделанные Коронелли в 1693 году.

⁴⁷ Национальный архив. О. 1681. Этот вопрос часто возбуждал протесты со стороны фельянов, когда у них оспаривали права собственности на этот проход.

⁴⁸ Национальный архив. К. 528.

⁴⁹ Национальный архив. Неизданные планы.

⁵⁰ Публики платящей, поскольку наемные слуги выдавали иностранцам входные билеты за плату в 5 ливров, а также публики, получавшей плату, так как Лакретель-младший рассказывает («Десять лет испытаний»), что большая часть публики на трибунах находилась на жалованье. К тому же там было гораздо больше женщин, чем мужчин.

⁵¹ Пруссак во Франции в 1792 году.

⁵² В настоящее время в этом помещении находится контора нотариуса Толлю, одного из преемников Дени де Вильера. В одном из бюро конторы можно и сейчас видеть портрет этого последнего.

⁵³ Этот манускрипт Мориса был до 1890 года во владении девицы Эмилии Морис, его дочери, которая, умирая, завещала его Ксавье Мармье. Самые интересные отрывки из него были напечатаны в «Обзрении исторических вопросов» в октябре 1892 года.

⁵⁴ Рукописный отрывок, написанный 10 августа. — Архив министерства иностранных дел.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ «Лестница королевы» близ павильона Флоры.

⁵⁷ *Мерсье Ж.* Новый Париж.

⁵⁸ Дневник англичанина в Париже в 1792 году.

⁵⁹ 10-го король выпил лишь стакан лимонада и съел маленький бисквит, а королева съела немного супа. В следующие дни обед для них брали у соседнего трактирщика и подавали в ту же ложу (Дневник англичанина в Париже).

⁶⁰ Из Тюильри кое-какую мебель перевезли в это помещение, точное место которого я никак не мог узнать. Оно состояло из четырех смежных келий и двух отдельных маленьких комнат, куда поместили принцессу Елизавету (Подробности четырех дней, проведенных Людовиком XVI и его семьей в Собрании. Сочинение А. Дюфуре).

⁶¹ *Морис Ф.* Воспоминания.

⁶² Хроника Парижа. 1792. 21 августа.

⁶³ Термометр дня. 1792. 22 августа.

⁶⁴ Этот зал со времени постройки замка служил просто вестибюлем, и об украшении его совсем не заботились. Лишь во время царствования Луи Филиппа он был декорирован и получил название зала Маршалов.

⁶⁵ Национальный архив. Ф.13, 278.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Национальный архив. О. 453.

⁶⁸ Площадь Карусель. Ее называли площадью Режюньон (Воссоединения) со времени первого празднования Дня федерации 16 января 1793 года.

⁶⁹ Новости национальной и иностранной политики. 1793. № 131. 11 мая. Согласно пожеланию Конвента муниципалитет приказал воздвигнуть эшафот на площади Революции.

⁷⁰ Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷¹ Список нужных работ включал много дверей и шкафов, требовавших починки. — Счета гражданина Файяра, столяра. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷² Эту решетку сняли в 1888 году. Ее купил тогда князь Штирбей и поместил у себя в имении.

⁷³ Счета гражданина Дуайена, обойщика. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁴ Эта работа стоила 65 ливр 17 су. — Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁵ Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁶ Записки о работах подрядчиков и т. п. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁷ Вот эта «Записка», относящаяся к гипсовой статуе Свободы, сделанной гражданином Дюпаскье, бывшим пансионером Французской академии в Риме, по указанию и рисункам гражданина Жизора в начале 1793 года. За то, что он три месяца работал над этой статуей, задрапировал ее в полотно, накиннул на нее одежду в виде туники, а сверх нее плащ, также из полотна, причем на одну из этих одежд пошло 35 футов ткани, а на другую 24 фута, и выкрасил эту статую в цвет старой бронзы, ему причиталось 600 ливров.

В счетах гражданина Ледуайена говорится:

«За поставку для статуи Свободы рубашки и плаща из голландского полотна — 105 ливров. За выкройку вышеупомянутой рубашки — 30 ливров». — Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁸ «Сделано две химеры из липового дерева для нижних панно по 50 ливров каждая, итого — 100 ливров.

За шесть розеток в виде звезд, в 3 дюйма шириной — 27 ливров. — Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁷⁹ «Драпировка из зеленого сукна для главной двери зала, сделанная по заказу, присоединена к упомянутым сицилийским (*sic*) зеленым драпировкам из саржи. Печатный бордюр. Спешная работа. Работали по ночам». — Счета гражданина Ледуайена, обойщика. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁸⁰ Термометр дня. 1793. 13 мая.

⁸¹ Эти углубления со стороны двора, сделанные исключительно для симметрии, были необходимы со стороны сада, так как в них было пять окон, освещавших зал.

⁸² «Я никого не застал в этом Комитете (общественного спасения), так как все члены его ушли в Собрание. Я пошел туда и нашел их всех в маленьком салоне за креслом президента». — Исторический очерк о Девятом термидора. Соч. Меда.

⁸³ Счета гражданина Ледуайена, обойщика. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁸⁴ Счет гражданина Роже, скульптора. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁸⁵ Счет гражданина Марга, обойщика с улицы де л'Апп. Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁸⁶ Национальный архив. Регистр инспекторов зала.

⁸⁷ Там же.

⁸⁸ Бюллетень Революционного трибунала.

⁸⁹ Национальный архив. Регистр инспекторов зала.

⁹⁰ Национальный архив. Ф. 13, 278.

⁹¹ Комитет общественной безопасности не помещался в замке. Он

занимал дворец Бриона на маленькой площади Карусели. С замком его соединяли дощатые переходы.

⁹² Длинное крыльцо действительно шло на всем протяжении дворца; несколько ступенек вели на него из сада. Лишь в царствование Луи Филиппа его сровняли с землей.

⁹³ 12 брюмера II года Комитет общественного спасения потребовал две кровати с колоннами для двух главных секретарей. — Национальный архив. Ф. 453.

⁹⁴ Обязанности *мальчика* при этом бюро исполняла *гражданка* Юзеппи. — Национальный архив. Ф. 453.

⁹⁵ См.: Эхо Парижа. 1890. 11 ноября.

⁹⁶ Записки Филиппа Мориса.

⁹⁷ *Амель А. Робеспьер.*

⁹⁸ Лестница королевы.

⁹⁹ *Флери Э. Сен-Жюст и террор.*

¹⁰⁰ Этот стол находится в настоящее время в архиве. Это очень красивое бюро в стиле Людовика XV, украшенное замечательной бронзой. На гравюрах, изображающих Робеспьера в комитете 9 термидора, стол рисуют обычно покрытым сукном.

¹⁰¹ *Амель Э. «Робеспьер».*

¹⁰² *Флери Э. Сен-Жюст и террор.* Здесь рассказы расходятся. Очевидец Филипп Морис говорит, что Сен-Жюст отведен был в отдельную комнату, где его сторожили два жандарма. Он ходил там взад и вперед со скрещенными на груди руками. Именно там, увидев экземпляр «Прав человека», вставленный на место зеркала в раму над камином, он произнес слова: «А все же это сделал я!»

¹⁰³ Существует довольно правдоподобное предание, что это кресло находится теперь во «Французской комедии». — См.: Фигаро. 1891, 25 января.

¹⁰⁴ *Морис Ш. Анекдотическая история театра и литературы.*

¹⁰⁵ Называемой ныне улицей Гозлен.

¹⁰⁶ Из строений этого двора уцелел лишь один флигель. В настоящее время там живет священник церкви Сен-Жермен-де-Пре.

¹⁰⁷ Сообщения аббата Соломона имеют громадное значение в том отношении, что благодаря им можно исправить множество ошибок, сделанных историками сентябрьских событий. Была, например, найдена *записка о пище, данной узникам аббатства 2 и 3 сентября*, где действительно фигурировали *пулярка, индейка, два цыпленка* и т. п., *доставленные гражданином Ленуаром, трактирищиком.* Однако было установлено, что заключенные в *тюрьме аббатства* в течение этих двух дней не получали никакой пищи. Так как до сих пор не знали, что *не только в тюрьме*, но и в самом монастыре помещалось много узников, то из этого вывели заключение, что обед, доставленный гражданином Ленуаром, был съеден убийцами во время перерыва между избиениями.

¹⁰⁸ Действительно, именно в эту минуту на дворе аббатства происходило убийство двадцати двух священников, привезенных из ратуши в извозчичьих каретах.

¹⁰⁹ Аббат Соломон написал свои воспоминания, по всей вероятности, около 1800 года.

¹¹⁰ Один из людей, бывших с интернунцием в одном месте заключения в течение этого дня.

¹¹¹ Аббат был одет в светское платье.

¹¹² Следует заметить, что аббат Соломон не сказал о *тюрьме* аббатства.

¹¹³ Поддержав горячей речью марсельцев, просивших пощадить его.

¹¹⁴ «Меня свободно пропустили через ворота, разделяющие оба двора». — Сообщения гражданина А. Ж. А. Журдана, бывшего председателя отдела и т. д.

¹¹⁵ Во времена революции она называлась улицей Голубятен.

¹¹⁶ Я не мог установить ее местоположения; вероятно, это была большая часовня Девы Марии.

¹¹⁷ Несколько арок монастыря видны и сейчас в глубине двора дома 13 на улице Аббатства.

¹¹⁸ Где спрятался аббат Сикар.

¹¹⁹ В записках аббата Сикара содержатся следующие слова: «Пока все это происходило, дверь нашей тюрьмы с сильным шумом открылась и в нее ввели новую жертву. Какую жертву, боже мой! Это был один из моих товарищей по городскому совету, которого я считал уже мертвым, аббат С...».

Кем был этот аббат С...? Кассаньяк считает, что это аббат Симоне. Но нет — это был аббат Соломон, и, если вспомнить о его звании доверенного престола Святого Петра, восклицание «*какая жертва*» становится понятным.

¹²⁰ Может быть, и в это число вошли еще не все жертвы; один из членов комитета сказал аббату Соломону. «Есть еще третья тюрьма после той, где находитесь вы, и избиение будет продолжаться».

¹²¹ «Его привели на место казни вместе с другим священником. Я видел, как он сел на стул и исповедовал этого священника, который должен был умереть вместе с ним. Он, казалось, был спокоен».

¹²² По договору, заключенному в 1635 году между монахами и архитектором Гамаром, этот последний взялся «построить тюрьму и портал церкви (существующий и ныне), а господин аббат соглашался, чтобы вышепоименованный господин Гамар открыл рынок на площади перед тюрьмой; площадь эта останется в общественном пользовании, кроме мест, занятых мясными лавками и ларьками, которые господин Гамар может построить в том количестве, какое ему будет угодно» (нынешнее название этой улицы «Малая Мясная» произошло именно от этих мясных лавок). Эти обязательства тотчас же принесли плоды, и вскоре были воздвигнуты три этажа и башенки тюремного здания; говорили даже, что предусмотрительный Гамар устроил на глубине тридцати футов под землей ужасные подземные темницы, где узник не мог даже встать во весь рост. Но монахи аббатства Сен-Жермен не успели сгноить в этих темницах большого числа узников, так как с самого начала XVIII века тюрьма аббатства была превращена в военную тюрьму, предназначенную в дореволюционное время главным образом для французской гвардии. Туда заключали также должников, дворян и военных, не уплативших долг чести. Путеводитель

де Флери (1787 год) рассказывает, что в тюрьме была еще часовня, где служил священник из церкви Сен-Сюльпис. Ежедневно в ней служили обедню, а по праздникам и воскресеньям там бывала, как в приходских церквях, служба «с проповедью и водоосвящением». Заключенные слушали обедню, стоя на хорах, а публика имела свободный доступ в часовню во время богослужений. Плата за стулья поступала в пользу арестантов.

¹²³ Единственный план тюрьмы имеется в «Архитектонии тюрем» Бальгарда, но он касается главным образом улучшений, произведенных в этой постройке после революции.

¹²⁴ Мне казалось, что президент произнес этот приговор против желания; несколько убийц вошли в помещение и произвели здесь большое волнение.

¹²⁵ Один из тюремщиков, с которым Сен-Меар завел знакомство и который успокоил его. Далее рассказчик упоминает о своем сновидении — ему снилось, что он спасся от палачей.

¹²⁶ Майяр жил в 1792 году на улице Жаклен-Молле, близ ратуши. Позже он поселился на площади Коммуны (Гревской).

¹²⁷ Морис жил в окрестностях Красного Креста.

¹²⁸ Тюрьма Ла-Форс, где как раз в это время шла резня.

¹²⁹ Орден кармелитов, реформированный святой Терезой и носивший в Испании название ордена «босоногих кармелитов», обосновался во Франции вскоре после смерти Генриха IV. Регентша поместила кармелитов в предместье Сен-Жермен-де-Пре в монастыре, освященном 22 мая 1612 года в День Святой Троицы нунцием Убальдини, племянником папы Льва XI и родственником регентши Марии Медичи. В доме, ставшем монастырем Святого Иосифа, «гугеноты, — пишет Клод Маленгр, — говорили свои проповеди, а светские люди устраивали блестящие приемы». У вещей, как и у людей, бывает иногда очень странная судьба, причем относительно вещей она выражается еще более ярко, так как они живут дольше людей.

Через три года после размещения здесь кармелитов они начали постройку церкви и монастыря, существующих и в настоящее время. Часовня была окончена в 1620 году и торжественно освящена во имя святого Иосифа Элеонором д'Этамп де Валансе, епископом Шартра. Община так разрослась, что через несколько лет после своего открытия приобрела обширный участок земли, представлявший собой пространство, ограниченное с востока улицей Казетт, с запада — улицей Регар, с севера — улицей Шасс-Миди и с юга — дорогой в Вожирар. Кармелиты построили на улице Казетт и на улице Регар дома, которые сдали внаем частным лицам. Средства кармелитов, значительные для той эпохи и еще увеличенные доходом от продажи «кармелитского эликсира», шли на покрытие расходов по постройке монастыря и часовни и на выплату многочисленных пожизненных пенсий. Остальное поступало в пользу бедных.

Кармелитский монастырь всегда пользовался большой популярностью в Париже, так что монахов этих не только не беспокоили во время революции, но даже в ужасный день, когда в их саду убивали священников, нескольким монахам, еще оставшимся в монастыре,

не причинили ни малейшего вреда. Мало того, их разыскали в их кельях, чтобы успокоить. Несмотря на такое заботливое отношение, они рассудили, что было бы неосторожно долго полагаться на расположение убийц, и вернулись к гражданской жизни, согласно закону 17 августа, предписывавшему всем религиозным общинам до 1 октября очистить все занятые ими помещения, которые будут проданы в пользу государства.

¹³⁰ Майяр, конечно, лишь на несколько минут появился в кармелитском монастыре, чтобы организовать там избиения, и сейчас же вернулся в аббатство. Вероятно, резней в кармелитском монастыре руководили Жан Дени Вюлетт, член Люксембургской секции, закройщик Вертело, Мартен Фромен, Жоаким Сейрат и другие лица.

¹³¹ Дом, в котором провела детские годы госпожа Ролан, не изменился — по крайней мере снаружи. И сейчас еще можно видеть узенькое окошечко, выходящее на набережную и освещавшее ее каморку. Дверь, как и тогда, выходит на улицу Дофина, но все внутреннее убранство изменено. Г-н Добан напечатал план этого помещения в том виде, в каком оно было сто лет тому назад.

¹³² Неизданная переписка, цитированная госпожой Клариссой Баде // Корреспондент. 1892.

¹³³ Дворец министерства внутренних дел стоял на улице Нев де Пти-Шан как раз на том месте, где впоследствии провели улицу Мегюль. На этом участке был выстроен старинный театр Вендатур. Этот дворец, где жила госпожа Ролан, можно восстановить во всех подробностях благодаря рисункам и планам де Котта, хранящимся в Кабинете эстампов Национальной библиотеки.

¹³⁴ Лемонтей.

¹³⁵ *Добан А.* Госпожа Ролан и ее время. Г-н Добан опубликовал неизданные до сих пор письма госпожи Ролан, не оставляющие никакого сомнения относительно чувства, которое она питала к Бюзо. Письма эти были написаны уже в аббатстве. «Не жалею меня! — пишет она. — Подумай, ведь мы не можем сделаться недостойными чувства, которое внушили друг другу: с этим сознанием нельзя быть несчастным. Прощай, мой друг, мой возлюбленный, прощай!»

¹³⁶ Бульвар Сен-Мишель давно уже сменил улицу Лагарп, и дом, где жил Ролан, исчез лет сорок тому назад.

¹³⁷ Его звали Лавакери; это был тот же тюремщик, что служил здесь во время избиений священников в сентябре 1792 года.

¹³⁸ Благодаря обычаю, сложившемуся во время революции, когда боялись ночных вспышек народного волнения. От этого же произошел известный крик «Лампионов!»

¹³⁹ В этом *Павильоне флоры* после ухода из него госпожи Ролан жили сначала Бриссо, а затем Шарлотта Корде, которая провела там два дня.

¹⁴⁰ *Ролан М.* Записки.

¹⁴¹ Отрывки, цитированные Добаном.

¹⁴² Только что произведенные работы Пале внесли некоторые изменения в эту часть Консьержери.

¹⁴³ *Добан А.* Госпожа Ролан и ее время.

¹⁴¹ Дочь госпожи Ролан, Тереза Эвдора Ролан де Ла Платьер, вышла замуж за Шампанью; от него у нее родилась дочь, вышедшая замуж за гражданского инженера г-на Шале.

¹⁴⁵ Оригинал этой записки хранится в Национальном архиве.

¹⁴⁶ А не Робер, как говорили другие. Вот как описывает дом Шарлотты Корде г-н Гастон Лавалле («Кан, его история и его памятники»). Дом, прозванный *Большой обителью*, куда в июне 1791 года Шарлотта Корде явилась просить приюта у своей старой родственницы, госпожи де Бретвиль, был старинным зданием полуготической архитектуры в два этажа, выходивших шестью окнами на улицу. Вход в него был через низкую дверь, которая вела в узкий, длинный коридор; в конце его каменная винтовая лестница поднималась на второй этаж, занятый госпожой де Бретвиль. Помещение этой старушки сообщалось посредством узкого коридора с комнатой на другом конце дома, где жила Шарлотта Корде.

«Комната Шарлотты Корде на втором этаже, в глубине двора, очень мало изменилась: в нее ведет та же каменная лестница, та же дверь служит входом в нее; кроме камина, который занимает теперь меньше места, все внутреннее устройство комнаты осталось тем же, каким оно было тогда: в ней нет ни паркетного пола, ни потолка, ни лепных украшений, и все полно прежней простотой. Впрочем, окно, выходящее на двор, изменило свой вид: раньше оно состояло из маленьких оправленных в свинец стеклышек (витро). Несмотря на их небольшую величину, Шарлотта Корде накладывала на них маленькие картинки и срисовывала их, так как очень любила рисовать. В минуту своего отъезда в Париж она подарила картон со своими рисунками и карандашом пятнадцатилетнему Луи, старшему сыну столяра Люнея, который еще жив и не раз пересказывал этот трогательный случай. Вещи были потеряны им среди неизбежного беспорядка во время переездов или вследствие смерти их владельцев».

Вот другое описание того же дома, которым мы обязаны г-ну Адольфу Юару, члену Академии наук и словесности в Кане: «В эпоху, когда Шарлотта Корде поселилась у госпожи де Бретвиль, «Большая обитель» была старым домом полуготической архитектуры и отделялась от улицы маленьким двориком, мощенным песчаником. У этого здания, построенного в очень отдаленную эпоху, было два этажа; окна их, по три в каждом этаже, выходили на улицу. Входили в него через низкую и узкую сводчатую дверь, которая вела в темный коридор. Винтовая каменная лестница с перилами в виде завитков вела на второй этаж, где располагались комнаты госпожи де Бретвиль, которые сообщались узким коридором с комнатой, занимаемой Шарлоттой Корде. Комната молодой нормандки находилась на конце здания, и чтобы попасть туда, надо было пройти через всю длину двора. В нее вела маленькая каменная лестница. В этой комнате был кирпичный пол, потолка не было совсем, и бревна почернели от времени. Большой камин с выпуклым колпаком представлял собой единственное украшение этого жилища, окошечко которого, все из мелких стекол, выходило на двор, еще более узкий и скучный, чем двор «Большой обители»».

¹⁴⁷ Луи Люнель умер в Кане, как нам кажется, во времена Второй империи. Что же касается дома Шарлотты Корде, то, к несчастью, около 1850 года на его месте выстроен современный дом с белым фасадом.

¹⁴⁸ Я должен упомянуть здесь о любопытном опросе, проведенном в 1893 году Жоржем Монторгейлем по поводу *гостиницы Провидения*, и о спорах, возникших по тому же вопросу уже недавно в «Спутнике изыскателей и любознательных». Должен сознаться, что расследования моих ученых собратьев не привели к одинаковому результату с моими.

¹⁴⁹ Дом 14 по улице Герольд. Теперь от этого здания ничего не осталось. Оно разрушено уже после того, как были написаны эти строки.

¹⁵⁰ *Корде д'Арман*. В семье героиню называли обыкновенно *Мария*, а не Шарлотта.

¹⁵¹ По сведениям «Национального альманаха» за 1793 год. Часто ошибочно писали: Дюперре, д. 45, улица Сен-Тома дю-Лувр.

¹⁵² Странная вещь — этого торговца не разыскивали: по крайней мере, мы не встречаем его имени ни в бумагах процесса девицы Корде, ни в многочисленных работах, посвященных этому сюжету. Судя по адресной книге национального дворца, мы предполагаем, что Шарлотта купила свой нож у некоего *ножовщика Бадена* (делает и продает все относящееся к его ремеслу), арка 117. Номера арок никогда не менялись.

¹⁵³ А не в одиннадцать часов, как это утверждали некоторые рассказчики.

¹⁵⁴ *Лефев Ф.* Старые дома Парижа.

¹⁵⁵ На выставке Революции в 1889 году появилась акварель, принадлежащая г-ну де Робине. На ней изображался дом с башней, где будто бы жил Марат.

¹⁵⁶ Протокол Жака Филибера Гайяра, полицейского комиссара секции Французского театра.

¹⁵⁷ Кусок обоев из спальни Марата был на выставке Революции в 1889 году в Тюильри. Он принадлежит г-ну Полю Даблену, потому что живописца Лагрене.

¹⁵⁸ А не Пен, как писал г-н Шерон де Вилье.

¹⁵⁹ Во время разрушения дома дверь эта была куплена Викторье-ном Сарду.

¹⁶⁰ Этими газетами были два номера «Друга народа». Альбертина Марат сохраняла их до 1837 года, когда она отдала их полковнику Морену, после смерти которого они перешли в коллекции Ля Бедойера. Этот последний почувствовал отвращение к этим зловещим листам и подарил их отцу писателя Анатоля Франса, которому они теперь и принадлежат.

¹⁶¹ При ней нашли футляр из бумаги под кожу, служивший оберточной ножу.

¹⁶² Гарман (де Ля Мез) утверждает, что эта сцена произошла в Комитете общественной безопасности. Но ничто не дает нам повода думать, что Шарлотту Корде отвезли в Тюильри.

¹⁶³ К этим портретам стоит прибавить данные паспорта Шарлотты Корде. Документ составлен в следующих выражениях: «Пропусти-

те гражданку Марию Корде, родом из Мениль-Имбера, живущую в городе Кан Канского муниципалитета Канского отдела департамента Кальвадос, 24 лет, ростом 5 футов 1 дюйм, волосы и брови каштановые, глаза серые, лоб высокий, нос длинный, рот маленький, подбородок круглый, раздвоенный, лицо овальное...» и т. д.

¹⁶⁴ После выхода первого издания этой книги госпожа Гойер скончалась в Арси 5 февраля 1896 года.

¹⁶⁵ Среди сотен картин, гравюр, эстампов, изображающих казнь Людовика XVI, может быть, лишь одно произведение отличается совершенной точностью. Это картина Гойера, бывшая в 1867 году в Версале на выставке *Общества друзей искусства* города. На этом полотне он явно пожертвовал красотой для истины: доказательством служит то, что он у каждой фигуры старательно поставил номер, соответствующий номеру имени этого лица, написанному на уголке, сбоку картины. Людовик XVI изображен между двух палачей. Один из них является знаменитым Сансоном, и говорят, что это единственный его портрет. Палачи одеты в парадные костюмы. У главного из них на голове белокурый парик, он без шляпы; на нем широкий белый галстук и темно-зеленая куртка. Физиономия его самая обыкновенная, самая буржуазная. В костюмах палачей нет никакой небрежности, на них цилиндры и черные или коричневые куртки. Священник, которого художник обозначил словом *духовник*, одетый как лицо духовного звания, не смотрит на них; он стоит на краю эшафота со стороны телеги, держа в руке белый носовой платок. Одно лишь лицо на этой картине имеет действительно низкое и подлое выражение — это лицо возницы, правящего лошадьми телеги, который глядит с высоты козел. Его длинный нос, его глаза, похожие на глаза хорька, вероятно, поразили художника, и он запомнил и воспроизвел их.

¹⁶⁶ Действительно, Гойер написал картину «Смерть Марата». Кажется, она была выставлена в Салоне в 1795 году.

¹⁶⁷ Говорят, что госпожа Ришар, жена сторожа Консьержери, сохранила остальные волосы Шарлотты Корде.

¹⁶⁸ *Дидевиль А.* Старые дома и молодые воспоминания.

¹⁶⁹ См.: Фигаро. 1885. 15 июля.

¹⁷⁰ 18 августа 1886 года.

¹⁷¹ Мы говорим *довольно* верно воспроизведенной, и вот почему: прекрасная сцена в музее Гревен изображает Шарлотту стоящей у ванны, где лежит только что убитый ею человек. Из двери столовой в ванную комнату на зов умирающего спешат Симона Эврар, комиссионер Лоран Ба и другие люди. В этом есть неточность. Нанеся удар, Шарлотта успела выйти из ванной, пройти через столовую и переднюю. Без сомнения, она хотела бежать. Лишь в прихожей ее схватил Лоран Ба, бросился на нее и задержал, пока Симона и другие женщины спешили на помощь к Марату. По крайней мере, так это видно из показаний разных свидетелей.

¹⁷² См. «Неизвестное о Марате» д-ра Кабанеса.

¹⁷³ В Париже в настоящее время живет внучатый племянник Друга народа, который, как и он, носит имя Жан Поль Марат. Он служит в одном банкирском доме.

¹⁷⁴ *Лефев Ф.* Старинные дома Парижа.

¹⁷⁵ Записка Шарпантье в администрацию владений, о которой говорит г-н Робине.

¹⁷⁶ *Лефев Ф.* Там же.

¹⁷⁷ Лефев не говорит, в каком доме Школьной набережной находилось Парнасское кафе. Словарь Ля Тина, а также Бери и Дюфе дают нам это указание: «В доме 8 помещается Парнасское кафе, которое выходит на Школьную набережную и на улицу Священников Сен-Жермен л'Оксерруа. Имя свое оно получило от находящегося по соседству старинного кафе, которое теперь называется *Кафе Нового Моста*». Ля Тина писал это в 1812 году. «Коммерческий ежегодник» за тот же год указывает, что Кафе Нового Моста помещается в доме 10. Следовательно, в доме, который теперь обозначен этим номером (нумерация не изменялась), и состоялась свадьба Дантона.

¹⁷⁸ *Мишле Ж.* Женщины революции.

¹⁷⁹ *Руселен де Сент-Альбен А.* Исторические очерки.

¹⁸⁰ Там же. Тот же автор сообщает наблюдение, подтверждаемое значительным количеством довольно поразительных примеров, что большинство лиц, игравших видную роль в революции, перенесло сильную оспу и носили глубокие следы от нее. Мирабо, Дантон, Робеспьер, Камилл Демулен были, выражаясь вульгарно, совершенно рябыми. Это обстоятельство, прибавляет он, служит указанием, что у этих людей был язвительный и энергичный характер, которому нужно было разразиться бурным порывом и который возрастал в тот день, когда их умственное напряжение достигало наибольшего развития.

¹⁸¹ Напротив *«Двух ворот»*. — Национальный архив. Бумаги комиссаров суда.

¹⁸² Каталог выставки «Французская революция» в 1889 году включает № 897, портрет г-на Сольдини, предка жены Дантона; № 898, портрет г-жи Сольдини, прабабки жены Дантона, постели Виже из коллекции доктора Робине.

¹⁸³ Национальный архив. Документы, изданные г-ном Робине.

¹⁸⁴ Запись, найденная г-ном Кампардоном в «бумагах комиссаров Шатле» (Национальный архив) и процитированная Жюлем Кларети в труде «Камилл Демулен, очерки о дантонистах».

¹⁸⁵ По крайней мере, так это явствует из очерков Жюля Кларети. Мы не отвергаем этой версии, хотя, по нашему мнению, если Камилл и жил в Торговом дворе, то очень недолго. Его квартира была на площади Одеон, над современным *«Кафе Вальтер»*.

¹⁸⁶ Дом, где родился Дантон, больше не существует, на его месте построена школа.

¹⁸⁷ Имя Дантона принадлежит теперь г-ну Робину, лесоторговцу из Арси.

¹⁸⁸ См. об этой личности прекрасный и интересный очерк г-на Эжена Вельверта «Член Конвента Куртуа».

¹⁸⁹ *Леба Ф.* Энциклопедический словарь: Франция.

¹⁹⁰ Письмо, приведенное г-ном де Бомон-Васси, в его *«Секретных мемуарах XIX века»*.

¹⁹¹ Дантон также 8 августа вернулся из поездки в Арси-сюр-Об.

¹⁹² *Кларети Ж* Камилл Демулен.

¹⁹³ Он был избран 222 голосами против 62 (Ф. Леба).

¹⁹⁴ У нас перед глазами купчая, заключенная по этому поводу.

¹⁹⁵ Этим любопытным документом мы обязаны любезности г-на Люилье из Арси, сообщившего нам много неизвестных подробностей относительно пребывания Дантона в его родном городе. Мы просим его принять здесь нашу благодарность.

¹⁹⁶ Теперь площадь Рынка.

¹⁹⁷ Бывший священник д'Эрбисс.

¹⁹⁸ На месте ее был выстроен трибунал.

¹⁹⁹ Оба эти дома еще существуют.

²⁰⁰ Лефев ошибается, когда утверждает («История улиц Парижа»), что Дантон жил в доме, принадлежавшем Дюселье. Этому последнему принадлежала лишь середина Торгового двора, а не дом, выходивший на улицу Кордельеров. Мы могли убедиться в этом, просматривая бумаги Дюселье, любезно предоставленные нам его потомками, господами Фежер-Дефор. Ошибка Лефева произошла, должно быть, оттого, что Дантон некоторое время жил в доме, через который был вход в Торговый двор с улицы Вье-Комеди: этот дом действительно принадлежал Дюселье. Но другой большой дом, тот, что выходил на улицу Медицинской школы, имел на фронте ворот, находящемся теперь у Викторьена Сарду в Марли-ле-Руа, инициалы своего владельца А. Ж. (Жирардо?).

²⁰¹ Эта комната действительно была больших размеров. В 1876 году, когда ее разделили перегородкой, из нее вышло две спальни.

²⁰² Это происшествие описывала также госпожа Жели-мать через некоторое время после смерти Дантона.

²⁰³ «Старая мамаша Жели, которая всегда была очень набожной, часто говорила деду с материнской стороны, господину Дему: «Ах, кузен мой, я по крайней мере совершенно спокойна за судьбу нашего бедного Дантона. Аббат де Керавенан (неприсягавший священник, венчавший его) провожал его, когда он шел на казнь, и он воспользовался минутой, когда Дантон взглянул на него, и дал ему предсмертное отпущение грехов». — *Кларети Ж* Камилл Демулен и дантонисты. С. 365.

Мишле начинает рассказ о свадьбе Дантона так: «Дантон женится вторично на девушке из роялистской семьи, и венчает его католический священник». В нем он говорит об исповеди члена Конвента. Могут заметить, что у Мишле часто не хватало документов для подтверждения его слов. Это верно. Но здесь историк должен был старательно ознакомиться с поступками своего героя. К несчастью, Мишле часто приводит факты, иногда удивительные, не указывая источников. Таково, например, место, в котором он рассказывает, что Дантон, вернувшись из Бельгии после смерти Габриэль Шарпантье, велел вырыть из могилы свою жену, чтобы еще раз увидеть ее. Эта мрачная картина слыла плодом воображения великого историка. И что же? Нет ничего более достоверного. В каталоге Салона 1793 года в отделе скульптуры можно прочесть следующее: «*Бюст гражданки Дантон, вырытой из могилы через неделю после погребения; маска эта снята с лица покойной гражданином Дезеном,*

глухонемым». Правда заключается в том, что Мишле, конечно, знал и расспрашивал Луизу Жели, ставшую госпожой Дантон. От нее он узнал многое, о чем рассказал, не желая говорить, откуда он почерпнул эти сведения. Вот почему он не подкреплял свои утверждения никакими ссылками.

²⁰⁴ У Габриэль Шарпантье от Дантона было трое детей: Антуан, Жорж и Франсуа. Последний еще младенцем умер в Арси. Утверждали, что Луиза Жели во время казни мужа была беременна, но это басня. Опись имущества, составленная после смерти члена Конвента, не содержит в себе никакого намёка на «попечителя для младенца, находящегося в утробе». Никогда господам Антуану и Жоржу Дантонам, сохранившим некоторые сношения с их мачехой, не пришлось делиться с ребенком от второго брака, и они всегда утверждали, что его никогда и не было. Отец Дантона также был два раза женат, и его вторая жена, Мари-Мадлен Камю, осталась беременной после его смерти. Она родила ребенка, прожившего лишь недолгое время. Член Конвента родился от второго брака, и когда он умер, у него оставалась лишь одна сестра, скончавшаяся в 1814 году начальницей госпиталя в Арси. Это о ней говорит Бальзак в своем труде «Депутат Арси».

²⁰⁵ Сведения, доставленные профессором Тенардом. — См.: *Олар А.* Общество якобинцев.

²⁰⁶ Семь *братьев-проповедников* явились в 1217 году в Париж, поселились там и основали часовню во имя святого Якова. От нее получила свое настоящее имя улица Сен-Жак, раньше называвшаяся *Большой улицей*, или улицей *Сен-Бенуа*. В эпоху революции *братьям-проповедникам* принадлежало в Париже три дома: монастырь на улице Сен-Жак, от которого они получили прозвище *якобинцев*; другой монастырь, на улице Сент-Оноре, о котором мы и будем говорить в этой главе, и дом для послушников на улице Сен-Доминик, превратившийся в церковь Святого Фомы Аквинского.

²⁰⁷ *Тьерри О.* Путеводитель для путешественников и иностранцев, 1787; Парижские древности, 1791; *Брис Ж.* Описание Парижа, 1727.

²⁰⁸ *Леба Ф.* Живописная Франция.

²⁰⁹ Заседание 30 января 1791 года. Речь Ж. Б. Луве.

²¹⁰ «Г-н Колло д'Эрбуа заметил, что писатели, работающие по ночам, не могут обойтись при этом без чашки кофе. Г-н Луве сказал, что охотно простил бы такой проступок автору *«Альманаха отца Жерара»*». Протокол заседания 30 января 1792 года.

²¹¹ Национальные древности.

²¹² От 21 ноября 1790 года.

²¹³ Известно, что в 1791 году в помещении якобинского монастыря размещалось еще Общество особ обоего пола; но все заставляет нас предполагать, что это то же самое Братское общество.

²¹⁴ Заседание 19 октября 1791 года.

²¹⁵ Заседание 4 декабря 1791 года.

²¹⁶ Скульптор Дюфурни подарил обществу бюст Франклина, сделанный им с натуры.

²¹⁷ Заседание 29 января 1792 года.

²¹⁸ Теперь рынок Сент-Оноре.

²¹⁹ Большая энциклопедия.

²²⁰ Лефев Ф. История Парижа, улица за улицей, дом за домом. Т. II. С. 440.

²²¹ Прибавим, что всегда, когда один из современников революции говорит о Клубе кордельеров, как, например, Мерсье или Делор, он указывает, что местопребыванием его был именно монастырь, а не иное какое-либо помещение. Книга Русселя д'Эпиналя, написанная в 1793 году, не оставляет на этот счет никаких сомнений.

²²² Тьерри О. Путеводитель любителей и иностранцев. 1787 год.

²²³ Теперь она закрыта и, вероятно, вскоре будет разрушена.

²²⁴ Разрушенный в 1889 году.

²²⁵ Она была длиной 320 футов и шириной 90 футов.

²²⁶ «Напившийся допьяна», прибавляет Дюлор, чтобы сделать анекдот более веселым. Жермен Брис, рассказавший об этой истории, ни одним словом не упоминает о том, что неосторожный монах был пьян. А Дюлор, вероятно, заимствовал эту историю у него.

²²⁷ Жермен Брис.

²²⁸ Это единственная постройка монастыря, стоящая еще и в наше время. Теперь в ней хранятся коллекции музея Дюпюитрен, но внутри она несколько изменилась. В старину она разделялась в длину столбами, поддерживавшими пол дортуара послушников. Нечто вроде ниши, устроенной среди контрфорсов левой стороны и несколько возвышавшейся над залом, служило кафедрой для чтения молитв во время трапез.

²²⁹ Эта мраморная доска очень маленького размера сохранилась и находится в музее Карнавале.

²³⁰ Лишь устройство городских скотобоев очистило Мясную улицу.

²³¹ См. выше: Три дня Шарлотты Корде.

²³² Лефев в своей «Истории улиц Парижа» утверждает, что тело Марата было временно выставлено в амфитеатре церкви Сен-Ком (теперь Школа живописи), пока церковь Кордельеров готовили к его приему. Я нигде не смог найти указаний на этот факт.

²³³ «Не посмели выставить напоказ его гнусное лицо, так как он всегда отличался мерзким безобразием, и ему никак не могли закрыть глаза, которыми он, всегда косил. Точно так же не могли закрыть и его рта, и пришлось даже отрезать ему язык, который торчал изо рта. Но как ни старался живописец Давид, он никак не мог привести Марата в такой вид, чтобы тот не представлял собой отвратительного, гнусного зрелища, и потому решили не показывать его совсем. Так как все же поверх трехцветной драпировки, приподнятой сбоку, видна была часть правой руки, державшей стальное перо, и нашлись люди, пожелавшие приложиться к этой мертвой руке и аллегорическому перу, которые, естественно, считали принадлежащими Другу народа, то произошел беспорядок, и эта поддельная рука упала вместе с проволокой, на которой держалась... Тогда стало ясно, что рука эта взята от другого трупа, а не у Марата. Газеты не решаются говорить об этом...»

Эти любопытные подробности сообщают нам редакторы мемуаров (апокрифических) госпожи Креки. Конечно, мемуары эти не заслуживают никакого доверия. Это — сборник анекдотов, большей ча-

стью чрезвычайно пикантных и рассказанных превосходно, но с таким пренебрежением к исторической правде, что из них невозможно извлечь ничего существенного. Мы все же привели этот отрывок, который, может быть, представляет собой эхо сплетни, родившейся в день похорон Марата.

²⁵⁴ Бужар А. Марат.

²⁵⁵ Вот счет расходов по сооружению памятника и иллюминации сада; из них видны различные подробности, которые пополняют наш очень краткий рассказ:

«Мартену, скульптору, за сооружение памятника — 2400 л. 5 с.

Блену, свинцовых дел мастеру, за гроб — 315 л.

Можино, каменщику, за устройство могилы — 108 л.

Леграну, за устройство трельяжа и смету — 226 л.

Газеру, каменщику, за переноску материалов и других предметов — 58 л. 18 с.

Госсу, столяру, за предметы, относящиеся к иллюминации — 104 л.

Дуассье, обойщику, за обои — 108 л.

Дитберло, архитектору, за понесенные им расходы — 65 л. 15 с.

Питру, за поставку уксуса и т. п. — 30 л. 16 с.

Консидеру, лимонадчику — 16 л. 16 с.

Берже поденной платы — 12 л.

Дюбоку за поставку вина — 11 л. 9 с.

Тенетену за поставку отрубей — 12 л.

Милье, бакалейному торговцу — 6 л. 10 с.

Боберу, виноторговцу — 7 л. 10 с.

Майлу за поставку уксуса — 4 л. 16 с.

Поденной и понощной платы — 42 л.

То же — 11 л.

Артелям и отдельным лицам по 2 л. — 104 л. 20 с.

Поденно и на чай — 13 л.

За поставку турецкого атласа — 35 л.

Лотье, бакалейному торговцу, за поставку факелов, лампионов, восковых витых свеч, закупленных у разных бакалейных торговцев, — 1904 л. 16 с.

Данани, комиссару, за разные сделанные им затраты — 46 л. 12 с.

К этой сумме следует прибавить гонорар для С. Фуке, проверявшего все счета и наводившего нужные справки для исполнения поручений секции, — 60 л.

Общий итог того, что следует уплатить кроме счета, еще не полученного за бальзамирование тела Марата, — 5608 л. 2 с. 8 д.»

Документ напечатан доктором Кабанесом с подлинника, хранящегося в Национальном архиве.

²⁵⁶ Эта церемония должна была сильно поразить народное воображение, так как через недолгое время ее уже показывали в театре. Г-н Ватель в своей драматической библиографии Шарлотты Корде приводит название этой пьесы: *«Друг народа, или Смерть Марата, историческая пьеса в одном действии, за которой следует картина его погребальных торжеств. Поставлена впервые на сцене театра “Увеселительное варьете” на бульваре Тампль 8 августа 1793 года гражданином Гассье Сент-Амандом»*.

Драма эта заканчивалась картиной чрезвычайно странных похоронных торжеств. Четыре античных канделябра, наполненных ароматами, курятся на четырех концах театра. Шествие воинов и женщин, хор римлян, несущих статую Брута... тело Марата на пышном ложе. Гражданка Эврар, покрытая черной вуалью и сопровождаемая двумя женщинами, несет его сердце в чаше.

Хор (поет на мотив Менгоцци «Я предаюсь»):

О, жестокая судьба!

Варварский клинок

Погрузил Марата

Во мрак ада.

(Барабанный бой.)

Пусть в ту же минуту

Будет наказан смертью

Совершивший

Это преступление.

Гремит гром, и розы дождем падают на гроб; тогда слышится нежная музыка. Монолог Свободы, возлагающей венец на главу Марата. Слава трубит в рог. Бьют поход.

²³⁷ Бужар А. Марат. Я не смог отыскать в архивах Мебельного хранилища следов порфировой урны, в которую было положено сердце Марата.

²³⁸ Тридон Ж. Эбертисты.

²³⁹ Лертюлье. Знаменитые деятели революции.

²⁴⁰ «Воспоминания о конце XVIII и начале XIX века», или «Записки Р. Д. Ж».

²⁴¹ Ее звали Мария Гупиль. Она была гильотинирована через несколько дней после казни Эбера, в одно время с Люсиль Демулен.

²⁴² Большая энциклопедия. Глава «Кордельеры».

²⁴³ Прекрасная коллекция рисунков М. Дестальера, недавно приобретенная Национальной библиотекой, содержит несколько рисунков, изображающих различные виды этого разрушения.

²⁴⁴ Эта статуэтка была отдана в музей Карнавале.

²⁴⁵ С того времени, как были написаны эти строки, старинный вход в Консьержери перестроили, чтобы сделать там буфет для адвокатов.

²⁴⁶ См. «Записки» графа Беньо. Толпа оставалась верной этим зрелищам еще долго после 9 термидора. Аббат Соломон, схваченный в 1797 году, был встречен ею так же, как и Беньо в 1793 году.

²⁴⁷ Эта славная женщина служила после революции кухаркой у маркизы де Креки.

²⁴⁸ Этой перегородки более не существует, но до постройки буфета следы ее виднелись на плитах пола.

²⁴⁹ Фонтан этот существует до сих пор.

²⁵⁰ Национальный архив. М. 669; цитировано Л. Леграном.

²⁵¹ «Мышеловка», если судить по описаниям современников, представляла собой лабиринт камер и залов, стоявший на том месте, где теперь находятся зал Стражи и зал Парижской улицы.

²⁵² Статья Жоржа Монторгейля в «Эклер» (1892. 3 февраля).

²⁵³ С 17 брюмера II года епископский дворец опустел, так как Гобель отрекся от своего сана.

²⁵⁴ Национальный архив. Ф. 15. Д. 259; документы, обнаруженные Леоном Леграном в его подробном и основанном на документах очерке «О Национальной больнице в архиепископстве».

²⁵⁵ Национальный архив. Ф. 16. Д. 601. Письмо, подписанное экономом Райе и тремя докторами — Нори, Баяром и Тери.

²⁵⁶ Национальный архив. Ф. 16. Д. 601. Рапорт о том, что произошло в жерминаля в госпитале бывшего здания архиепископства.

²⁵⁷ Национальный архив. Ф. 16. Д. 601. Письмо Байяра к Гранпре, б жерминаля, 10 часов вечера: «Я думал, что при таких обстоятельствах следует прибегнуть к мерам кротости и подождать; поэтому я предложил отложить составление списка».

²⁵⁸ *Л'Эпинар П.* Неизвестное человечество.

²⁵⁹ Что бы ни говорил Парис де Л'Эпинар, но предание утверждает, что ей не пришлось подвергнуться медицинскому осмотру.

²⁶⁰ Жорж Монтрей.

²⁶¹ Это ясно указывает, что не в этом последнем помещении произошло *дело с гвоздикой*. Знаменитый кавалер Ружевиль видел королеву 30 сентября в камере, где она содержалась со времени прибытия из Тампля; камера эта называлась *залом Совета*. Где она находилась? Конечно, недалеко от канцелярии, так как с целью отдалить королеву от входа ее после «дела с гвоздикой» перевели в другое помещение. Кроме того, по словам Розали Ля Маршер, вход в зал Совета был в конце одного перехода и окно его, очень низкое, приходилось почти на уровне женского двора. В Консьержери имеется всего одна комната, отвечающая всем этим условиям, — это погреб современной тюрьмы.

²⁶² «Сегодня, 11 сентября 1793 года, мы, администратор полиции, согласно сделанному в этот же день постановлению, отправились в тюрьму Консьержери, чтобы выбрать там помещение для заключения в нем *вдовы Капета*, иное, чем то, в котором она содержится теперь. Прибыв туда, мы осмотрели все комнаты этого учреждения и остановились на комнате, где помещается аптека гражданина Гийома Жака Ангуана Лакура, аптекаря вышеупомянутой тюрьмы» и т. д. — Национальный архив. W. 397.

²⁶³ Национальный архив. Там же.

²⁶⁴ Г-н Добан тщетно старался найти место, где помещалась эта больница. Он решил, что она находилась в той части тюрьмы, которую окончательно переделали во время работ г-на Дюка. Это очевидное заблуждение, так как по соседству с ней помещалась аптека, выходившая окнами на женский двор. К тому же Добан, хотя и считает, что *Беньо отличается безукоризненной точностью, по крайней мере в описаниях помещений*, тем не менее как будто совсем не справлялся с его воспоминаниями, несмотря на свои уверения, что он проверял их как только мог. В довершение всего он впал в грубую ошибку, описав темницу королевы совершенно непохожей на гравюру, к которой относится это описание.

²⁶⁵ Записи расходов вдовы Капета. — Национальный архив. W. 121; опубликованы г-ном Кампардоном.

²⁶⁶ Национальный архив. W. 534. Документ, опубликованный Кампардоном.

²⁶⁷ До 1870 года в Музее монархии можно было видеть старый башмак, упавший с ноги королевы в ту минуту, когда ее втокнули на эшафот.

²⁶⁸ В инвентаре упоминается еще и о другом предмете интимного свойства, снабженном всеми необходимыми принадлежностями.

²⁶⁹ На улице Арси, по словам графа Робинано.

²⁷⁰ Находящаяся в музее Лилля картина Буальи «Триумф Марата» изображает эту дверь, снабженную деревянным тамбуром со стеклами, с надписью над ней «Революционный трибунал». Этой картиной, представляющей, вероятно, точное изображение внешней обстановки, следовало бы руководствоваться при описании входа в Революционный трибунал. Она во многом отличается от знаменитой гравюры Дюплесси-Берто, о которой мы будем впоследствии говорить.

²⁷¹ Тот двор, откуда теперь устроен вход в Консьержери. Расположение зала осталось таким же, и лишь в длину его укоротили на четверть.

²⁷² Г-н Добан уверяет, что до сих пор на стенах первого двора Консьержери сохранились следы готических арок, которые образовывали трибуны для публики в зале Равенства. Это заблуждение: эти следы — не что иное, как заделанные ныне арки, выходившие из зала Потерянных шагов в вестибюль зала Свободы.

²⁷³ В «Париже в веках» заслуживают внимания следующие строки главы, посвященной Дворцу правосудия: «Равно как и королеве, которой пришлось лишь подняться по начинавшейся у ее дверей лестнице и пройти по залу Потерянных шагов, чтобы предстать перед трибуналом, жирондистам, чтобы предстать перед судьями, не надо было проходить по подземному лабиринту Консьержери. В глубине часовни, служившей местом их заключения, находилась дверь, теперь закрытая исповедальной; она вела на другую, ныне уже несуществующую лестницу». Может быть, это правда? Планы старинного дворца действительно указывают на лестницу вблизи часовни, по которой можно было подняться в галерею Маршана. Другая лестница обозначена на них почти напротив камеры Марии Антуанетты. Но в таком случае лестница, которую теперь называют *Лестницей королевы*, не заслуживает этого названия.

²⁷⁴ Три рубашки, которые он уже раньше просил.

²⁷⁵ Отрывки из писем, которые мы будем цитировать, взяты из брошюры, опубликованной г-ном Жоржем Лекоком. После смерти вдовы Фукье-Тенвиля вещи и бумаги ее мужа, хранившиеся у нее, были проданы с публичного торга. Из этого драгоценного источника почерпнул свои сведения Жорж Лекок.

²⁷⁶ *Норуэ Ш.* Любопытный. 1885.

²⁷⁷ Один Фукье-Тенвиль, маклер по продаже вина, умер в Вожира-ре в 1849 году. Вероятно, это был один из сыновей обвинителя. Другой умер в Париже в 1874 году. Без сомнения, фамилия эта существует еще и теперь.

²⁷⁸ У этой бедной женщины осталась от дочери Анриетты рента в 200 франков. Кроме того, 200 франков пенсии давала ей Парижская палата присяжных поверенных, и пока ее здоровье позволяло, она зарабатывала себе на жизнь.

²⁷⁹ Г-н Вальфердин приобрел на этом аукционе письма и бумаги, имеющие немалый исторический интерес.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Анатолий Левандовский. Хорошо забытое старое</i>	6
Предисловие	13
<i>Глава I. У РОБЕСПЬЕРА</i>	17
1. Аррас и Версаль	17
2. Дом Дюпле	24
3. За кулисами апофеоза	35
4. Развязка	48
<i>Глава II. ТЮИЛЬРИ</i>	58
1. Двор в октябре 1789 года	58
2. Манеж	65
3. 10 августа	76
4. Конвент в Тюильри.	86
5. Комитет общественного спасения.	102
<i>Глава III. АББАТСТВО</i>	112
1. Избиение священников	112
2. Топография событий	123
3. Майяр	129
4. Кармелитский монастырь	141
<i>Глава IV. САЛОН ГОСПОЖИ РОЛАН</i>	147
<i>Глава V. ТРИ ДНЯ ШАРЛОТТЫ КОРДЕ</i>	171
1. Гостиница Провидения	171
2. Дом Друга народа	179
3. Платье, волосы и череп	187
4. Ванна Марата	198
5. Эпилог драмы	204
<i>Глава VI. У ДАНТОНА. АРСИ И ПАРИЖ</i>	209
<i>Глава VII. КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ</i>	238
<i>Глава VIII. КЛУБ КОРДЕЛЬЕРОВ</i>	253
<i>Глава IX. КОНСЬЕРЖЕРИ</i>	275
1. Тюрьма Дворца правосудия	275
2. Темница королевы	290
3. У Фукье-Тенвиля	302
Примечания	313

Ленотр Ж.

Л 46 Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции / Пер. с фр. Н. А. Тэффи, Е. А. Лохвицкой; Вступ. статья и науч. ред. А. П. Левандовского. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 335[1] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 5-235-02936-4

Великая французская революция — одна из ярчайших страниц в истории человечества. Главные ее события происходили в Париже, где народ взял штурмом Бастилию и низвергнул монархию, где с трибуны Конвента провозглашались принципы свободы, равенства и братства, где революционеры истребляли друг друга в кровавой борьбе за власть. В конце XIX века известный французский историк Жорж Ленотр впервые попытался реконструировать парижские эпизоды революции, кропотливо воссоздавая колорит того времени, включая планировку домов, мебель и одежду парижан. На его страницах оживают Робеспьер и Дантон, королева Мария Антуанетта и безвестные санкюлоты. Книга Ленотра стала во Франции классической и много раз переиздавалась. На русский язык ее впервые перевели в 1895 году известная писательница Надежда Тэффи и ее сестра Елена Лохвицкая. Для настоящего издания этот перевод существенно обновлен и снабжен комментариями.

**УДК 94(092)(44) “16”
ББК 63.3(4Фра) 511**

Ленотр Жорж

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПАРИЖА ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **В. В. Эрлихман**

Художественный редактор **Е. В. Кошелева**

Технический редактор **В. В. Палкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Л. М. Марченко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 06.06.2006. Подписано в печать 02.10.2006. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 17,64+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 64496.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dsei@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02936-4









СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Е. Лаврентьева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ДВОРЯНСТВА
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ.
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ

С. Охлябинин

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОЙ УСАДЬБЫ
XIX ВЕКА

Б. Григорьев, Б. Колоколов

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ ЖАНДАРМОВ

Р. Мантран

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СТАМБУЛА В ЭПОХУ
СУЛЕЙМАНА
ВЕЛИКОЛЕПНОГО

А. Бондаренко

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНИХ КЕЛЬТОВ

ISBN 5-235-02936-4



9 785235 029361 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ